И. СЕЛЬВИНСКИЙ 4

И
Сельвинский

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1973

И. СЕЛЬВИНСКИЙ

собрание сочинений в шести томах

издательство
„художественная
литература"

И. СЕЛЬВИНСКИЙ

ТОМ

4

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАМЧАТКЕ
УМКА БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ
АРКТИКА

МОСКВА
1973

Р 2
С 29

Редакционная коллегия:
В. А. КОСОЛАПОВ, А. А. МИХАЙЛОВ,
С. С. НАРОВЧАТОВ, Л. А. ОЗЕРОВ,
О. С. РЕЗНИК, М. Б. ХРАПЧЕНКО

Примечания
О. Резника

Оформление художника
Е. Ганушкина

7-4-2
Подп. изд.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАМЧАТКЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

«Камчатка»... Далекая зимняя парта,
Солидный двучленный клуб.
Там
под ландкартой
бубновая карта,
А все остальное ни в зуб.

Там второгодники-авторитеты
Царят, календарщину смыв.
Это действительность. Жизнь — вот это.
А география — миф.

Но вот, напомня про мглу и про ливень,
Над морем, черным, как тушь,
Растет за четвертым Курильским проливом
Сизая масса туч.

И, медленно движась туманным наплывом,
Гранясь в линейный смысл,
Встает за четвертым Курильским проливом
Синий, как туча, мыс.

Он шумно качается в вое, в буе...
(Агент подсчитал уже фрахт.)
Камчатка действительно существует —
Лиловый гранитный факт;

Камчатка — действительно твердый берег!
(«Отдать якоря!» — приказ.)
И я открываю ее, как череп,
Как Лермонтов — Кавказ.

ГЛАВА I

Начнем снизу вверх. Камчатка-река
Начинается, собственно, в море:
Уже за версту от песчаного взгорья,
Где входит вода в заливные рога,
Вы встретите пресноводную рыбу,
Вы можете чай вскипятить,
Покуда за вами катер не прибыл
Часам примерно к пяти.

Кстати, два слова: на Черном море,
Едва показывается пароход,
Баркасы, баржи, магуны, моторы —
Все пускается в ход.
Все вылетает навстречу. Меж тем
Здесь учрежденцы, как бюсты в нише,
Здесь вообще большевистский темп...
Впрочем, об этом ниже.
Итак, простоявши дня два без вести,
Наголодавшись за четырех,
Вы с гневным письмом в редакцию «Известий»
Усаживаетесь в катерок.
На море штиль. Вода — как лекарство.
Туманец покрыл чемоданный запор.
И вдруг перед вами — белый, клыкастый,
Из бешеной пены бурунный забор!
Это легендарные подводные «бары́»,
Гордость Усть-Камчатска.
Рули нацелились, как топоры,
И вот вы начали мчаться.
Сперва нас вынесло носом вверх.
И повернуло назад;
Потом опрокинуло тыл на фасад —
Сбоку пальнул фейерверк;
Потом спеленатой пеной мумии
Штопорный круговорот,
И, наконец, как пробку от «мумма»,
Выхлопнуло вперед!

И снова штиль. А сзади мчатся,
Орут и кроют в сотни ртов...
Но мы ощущаем тихое счастье,
Как женщина после родов.

И вот со дна и там и тут,
Как поздравители от населенья,
Вылезло стадом нечто тюленье —
Лают, плещутся, рядом идут.
Это нерпы. Им бы перчатки
Да пару идей из стандарта «вечных» —
И был бы Илья Петрович Бирчанский.
(Есть такой человечек.)

Здесь океан сужается в устье.
Здесь размещается Усть-Камчатск —
Печальный город уныпья и грусти,
Где ходят туманы из часа в час.
Броди по улицам да жалейся
В роли нео-Печорина.
Домики из серого волнистого железа,
А если из дерева — черные.
Тут же дворик. На крышах сеть,
Связки лососей сушеных;
Спальный мешок еще может висеть,
И — как деталь — на цепи медвежонок.
Тут медвежата — домашний скот.
Сидит себе эдакое сусало,
Жрет помои. А через год
Его, ожиревшего, бьют на сало.

И это все. Не щебечут деревья.
(Ибо их нет.) Не льется песня.
Угрюмо и мрачно стоит деревня,
Или, вернее — желе́зня.
А там, вдали, у небесного края,
Ослепительный великан,
Обок с солнцем в «моргалки» играя,
Висит в высоте Ключевский вулкан.
Это знакомый. Школьная мета:
Кол, полученный сдуру.
(Век не забуду — пять тысяч метров!)
Это почти культура.
Льдистый конус в белом и синем.
Снизу воздух, как неземной.

А здесь заунывье. Лысеющим инеем
Скучная тундра лежит предо мной...

Закрывшая волны унылая тундра.
Моря нет. Но мачта видна.
И странно видеть — странно и трудно,
Как ходит по суше корпус судна.
Вокруг увязает колхозное стадо,
Есть княженику со вкусом икры;
Пастух на коне — прямой конквистадор —
В черной маске от мошкары.
И дико вспомнишь о книге, как вещи,
И оттого еще тяжелей,
И странный день, похожий на вечность,
Стоит в апатической тишине.

ГЛАВА II

В Усть-Камчатске меня повезли
Читать на рыбный завод.
Пал я духом. Сотни верзил
Во всю скулу трещат от зевот.
Что им концертный рояль моих строф?
Им бы гармошку — да будь здоров!
Дай-ка вот этой паре по литру —
Чхать им тогда на мою палитру.

Еще по дороге, как в темечко лом,
Меня просветили касательно публики:
«Прут сюда люди за «длинным рублем»,
Только и звону: рублики.
Камчатка — это советский Клондайк:
Авантюристы, рвачи, шкеты!
Дай монету, хоть голодай,
А он рванул — и айда покеда.
Выедет, знаете, на материк,
Все пропьет в «Золотом Роге» [1].
И снова здесь. От таких матерых
Сворачивай с полдороги».

Я очень люблю Электрозавод.
Он мне дороже вуза.
Я помню запах его грозовой,
Запах революции;

---

[1] «Золотой Рог» — ресторан во Владивостоке.

Его аршином я мерю тела,
Он для меня как глобус республики...
Тут же — все та же старинная тля:
Рублики.
Стало быть, что же? Электрозавод —
Это так себе? Экспериментик?
Стало быть, наш государственный свод
Держится на моментах?
Нет, тут все-таки что-то не так.
Соловья басенками не кормят.
Клондайк-то он, может быть, и Клондайк.
Допустим, что это факт. Но корни?
Что ж. Посмотрим. Занавес! Воду!
Уж познакомимся толком:
Любой работник Электрозавода
Обязан быть социологом.
Встает председатель. Камчаткой оброс,
Глядит угодпичком на посадьях:
«Сиводни в повестке единый вопрос:
Читает московский писатель».
Москвою, Харьковом, Ленинградом
Вымуштрованный, как премьер,
Я вдруг призадумался. Мучаюсь рядом.
Что ж им прочесть, например?
В глазах каруселью прошла пантомима,
Лучшие марки летели в брак:
«Юность» — мимо, «Рапорт» — мимо,
Мимо — страданья молодого бобра,
«Вор», эпиграммы, детские зайки,
«Жили два брата», «Пушкин — Ней»,
С гиканьем и топаньем про «Ехали казаки»,
«Трой-ка, гей, цы-ганских коней»...
Вся непобедимая золотая гвардия,
Все кирасиры эстрадных битв —
Все это струсило, смылось. На карте
Остался один лишь быт.
Быт... Бывало, сквозь детские визги
Окатишь тяжесть усталого лба,
И вдруг телефон: «Товарищ Сельвинский,
Может быть, написали бы, а?»
Ворча, пройдешься по рифмам полтура,
Подпишешься нераскаленным пером —
И вот уж готова ночная халтура,
Пока из аптеки доставят бром.

Есть у меня такая агитка:
«Мы переделываем мир».
В меру кричащая, в меру прыткая —
Мир — жир — лир — дыр...

Нет, не она моей музы гордость.
Не из алмазного фонда она.
Но тут, как хлеб в осажденном городе,
Патетически взмыла ее цена.

Как я обрадовался, признаться!
Грудью укрыл ее, как броней.
Во всю глубину грудных резонансов
Рокот басов ее голос пронес.
И он зазвучал таким профундиссимо,
В нем прозвенела такая страсть,
Как будто лозунги коммунизма
Были объявлены в первый раз!

Купол оваций рухнул, казалось,
Агитка прошла. А за ней
С гиканьем и топотом про «Ехали казаки»,
«Трой-ка, гей, цы-ганских коней»!
Они прошибали запах сивухи,
Все эти паузы, синкопы, ключи,
И каждый слушал странные звуки,
И где-то под ложечкой пели ручьи.
И я утверждаю без всякой позы,
Что видел с эстрады: вон-вон сквозь жилет
С треском вскрывал изумленные розы
Каждой струнки флажолет.

Они бы теперь обошлись и без темы:
Бури и звоны, будил, клубясь,
Этого темпа, этого тембра
Колоратурный бас.

Бывают такие мгновенья у массы,
Такое из сердца литье,
Когда любые обличья и маски
Она переладит в свое лицо.
Тогда прочитай ей хоть «Птичку божью»,
И «Птичка» пройдет, как бризантный удар

По всем паразитам, по тлям, по убожью,
Не знающему ни забот, ни труда.

Уж и не помню, как это зовется:
Вдохновенье или подъем,
Но вижу — рвутся электрозаводцы,
И мне только стоит крикнуть: «Пойдем!» —
И вижу сквозь эти ершистые лица,
Сквозь сахалинские эти глаза —
Огнями сияет наша столица,
Хлещет революционная гроза.
И прыгают в памяти: «рвач», «забияка»,
«Авантюризм», «советский Клондайк»...
Еще не пойму, где зарыта собака,
Но уже знаю, что это не так!

ГЛАВА III

От Усть-Камчатска река плывет
Унылым побережьем.
Вулкан оснеженной каплей вод
Сквозь тучу еле брезжит.
А в общем что ж? Река как река:
Слева берег, справа берег.
Но вдруг подымаются берега,
Но вот они в облачных перьях.
Слева кряж. Справа кряж.
Хребты вылезают, как ящеры.
И, выгибая крестцовый хрящ,
Камчатка являет свое настоящее.

Река разливом в три километра
Вмиг вливается в коридор —
В узкое сердце, в жильные недра
Кряжей, прыгающих чехардой.
Бурная зелень. Птичий щекот.
Горной готики строгий канон.
Это здесь называется «Щеки»,
Но я бы назвал — «Голубой каньон»,
Но я бы, от масляных красок млея,
Еще бы назвал «Зеркальной аллеей»
Или, в скульптурную кладку вринясь,—
«Каменный зверинец».

Действительно: вон залег на подвес
Из рыжего камня ушастый медведь.
Вон в районе возможных дач
Пал мускулисто-скалистый пантач[1].
А эти ворота, где тихо-тихо,
Где заключительный горный размах,
Должны б называться приказом ВЦИКа:
«Поединок двух росомах».

И снова ясность на три километра,
И снова обычный зеркальный прокат...
Но нет, позвольте: река незаметно
Стала плыть в четырех берегах:
Справа и слева привычно и просто
Законное буйство пышных кулис,
Но посредине за островом остров
Декоративной клумбой вились.
Точно не лес, а парк у Версаля,
В цветистых огнях королевский сад.
И чудится: в играх судьбы вершая,
Атласный век возвратился назад;
И кажется: вот-вот статуя фавна
Блеснет усмешкой в медном литье
Или сверкнет, изваянная Павлом,
Группа мраморных лебедей.
Нет, никогда еще мы не видали,
Где бы ни плыли от камня круги,
Такой законченно феодальной,
Такой идеальнодворянской реки.
Ни приседанья фрейлины Роны,
Ни рыцарские реверансы Риона,
Ни позы Невы, не знающей дна,
Ни в четырех коронах Дунай...
Да нет, их почерк мужицки крив,
Если сравнить с ними этот надменный,
Этот возбуждающий классовую ненависть,
Сей аристократический гриф.
Но вдруг... И сердце как шкурка заячья.
Просто. Навек. Замлеть.
Мы вливаемся в нечто, совершенно потрясающее,
В самое изящное, что есть на земле:

---

[1] Пантач — олень. *(Это и последующие примечания автора.)*

Огромный плацдарм циркулем кружится,
Залит сиятельною водой,
А от него, как тенистые улицы,
Льются протоки вкосую и вдоль.
Это парижская Place Etoile,
Это водное солнце
В стрелах блещущих, как сталь,
И кажется, будто их до ста.
А по окружью в разбег очей —
Кулисы, кулисы, кулисы.
Эта площадь сделала б честь
Любой мировой столице.
И чалый орлан, с хребта налетев,
Уронит образ таких благолепий,
Что можно, целясь в двойник на воде,
Пронзить белоплечего в небе.

ГЛАВА IV

Ночью река — сплошная опасность:
Капризен фарватер, слепой поводырь.
А утром опять — прозрачная ясность,
Волшебная ясность этой воды.
Итак, вылезаем. Березка, осина.
Вот зачадили костры.
Картавит чайник. Шипит лососина.
Шумно. Каждый желает сострить.
(Острота, конечно, простая случайность,
Нечаянный блик двупланных идей.
Но эту случайность обычно встречаешь
Только среди остроумных людей.)
Зевнув, укладываюсь на отдых,
Но буквы бегают, как муравьи.
Захлопнул книгу и средь муравы
Слегка размечтался, задрав подбородок.
Обычный месяц, есенинский, рыжий,
Цветным петухом сидел на сосне.
Но, может быть, я неотчетливо вижу?
Что-то нервирует. Как в полусне.
Нет, почему он так мал? Точно карлик.
И так приближен. Впрочем, я гость.
Пробую голову: уж не жар ли?
И неожиданно глянул вкось.

Там, в высоте, ни далеко, ни близко,
На ощупь гладка, на язык солона,
Сияла дебелая, белолицая,
Вынянчившая нас Луна.
Так и блистали почти что вместе
Всем своим номиналом сполна
Мелкий медный разменный месяц
И серебристый целкаш — луна.
Как же это? Что же это? Перст? Или вовсе
Соревнованье с Юпитером нас?
Оно конечно: там целых восемь,
А у Земли одна лишь Луна-с.
Одно неясно: на чьем же заводе
У нас отливали эдакое вот?
Лег я на шкуры. Весь — как на взводе.
Вдруг под подушкой слышу: завод!
Завод, понимаешь! Ни много, ни мало —
В пять миллионов рабочих! Не лгу!
И тут только я обратил вниманье
На разбегавшийся издали гул:
Это вулкан огнедышащим пугалом
Выпихивал все свое существо,
А так как в небе все кажется круглым,
То я и воспринял как месяц его.

Каждую ночь на севере бой.
Сопка орудием дальнего действия
Палит бомбы, дым и вой
С неукротимостью юного девства.
Рядом с ней храпят старички:
«Толбачик», «Шевёлуч», «Иван Теодорыч».
Этим вулканам бы гроб, да очки,
Да кое-какую пенсишку на хворость.
Днем поглядишь — охватит испуг:
Кто сказал, что они затихали?
(Мошенник зацепит облачный пух
И выдает за свое дыханье.)
Иной, под стать молодым панычам,
Кое-как курится понемногу.
Но по ночам... Увы, по ночам
Они уж давно ничего не могут.
И бедная дева брызжет огнем
И метит боженьке в бороду, в зубы!

Да-да! Она знает: есть море! И в нем
Живет знаменитый красавец Везувий!
Так пусть пригрохочет латинский атлет!..
И не втемяшить ей, что об этом
Мечтают уже миллионы лет
Ее же кузины — Гекла и Этна.

ГЛАВА V

Село Ключи у подножья вулкана —
Будущая Помпея.
Живи, покуда тебя не взалкала
Геологическая эпопея.
Так в стеклянном гробу зоопарка
Прыгают кролик и кролица,
Покуда боа, разметавшийся жарко,
Не взволновал свои сонные кольца.
Когда Крылову сказали, что рама,
Висящая над канапе, упадет,—
«Пустяк,— говорит,— упадет не прямо,
Но в некий угол. А именно: в тот».
Так и здесь. Полагают ребятки,
Что лава стечет в район кабана,
И строится на реке на Камчатке
Величественный Ключевской комбинат.
Мне не к лицу быть старушкой в избушке,
Но как-то невольно вспомнился Пушкин
«Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю».

Но как бы там ни было — комбинат
Действительно грандиозен.
Медведь на цепи зовет пестунят,
Вокруг рыжеет железная осень,
А рядом, янтарной тесиной горя,
Полным набором комплекта
Стоит геометрия. И заря
Глядится в стеклянные клетки.
И в ней, остекленной, в этой связи
Листьев на эстакаде —
Социализм звонко сквозит,
Словно собор в стакане.

Бондарный, ящичный корпуса,
        Всё итальянские глазки.
Четыре динамо. Хоть тут же пускай
        Станки с нашлепкою «Глазго»
Но все это мы уж читали с тобой
        В «Электрозаводской газете».
Сажусь на коня. За мною гурьбой
        Идут деловитые дети.
«Клуб у вас есть?» — «Да нету».— «Кино?»
«Нету». Гм... А страна боевая.
«Папенька небось хлещет вино?»
        «Не. Вина не бывает».
Меня поражает обилье ребят.
        Как же так? Говорили,
Что налетают, карман теребят
И снова — айда. Эскадрилья.
Но где, когда, какой аферист,
Меняющий на галопы рысь
И переходящий в карьер напоследок,
Таскал за собою деток?

Шпорю коня. Выношусь за околицу.
Перебираю бурный брод.
В горы уходят дорожные кольца.
Конь упирается. «Но, ты! Вперед!»
Он нипочем. Косится истошно,
Рвет на дыбы. Схожу поглядеть:
Тухлым яйцом вытекает источник.
Сбоку шатер. Не видно людей.
Сажа квадратиками, словно гравий.
Банный пар вокруг шатра.
Кое-где из трещин окраин
Курево с запахом нашатыря.
Я было — стремя. Но вдруг за прикрытьем
Палых деревьев и грузных веток,
Смотрю: сидит себе с мелким корытом
Эдакий тихонький человечек.
Кричу наугад: «Алло, дядя Ваня!»
А он мне: «Цыц!» Гляжу меж ветвей:
Вижу — в сернистой луже, как в ванне,
Кротко сидит пожилой медведь.
Чуть не прыснул! Зубы стиснул...
Что за обычаи! Красота!

Бурый-то лечится от ревматизма,
А человечек в очередь стал.
Что ж. Подождем. Небось не Испания.
Чего не увидишь у этих широт!
Время исходит. Вот мы и в бане.
Теперь уже мишка занял черед.

В бане, распарившись, люди родней.
В бане, хоть оно душно,
С паром вылазит, слежавшись на дне,
Ясное благодушие.
Вот уже мой лысач захрипел.
Стар. Ослабела гайка.
«Дай, говорю, состругаю хребет».
«Что ж, говорит, состругай-ка».
«Сам-то откуда?» — «Самарские мы».
«Ага. Ну, как на Камчатке?»
«Что ж, сынок: от сумы да тюрьмы...»
«Плохо?» — «Да уж не сладко».
«Голодно, что ли?» — «Нет, отчего ж:
Рыбы достаток».— «Так в чем же дело?»
«Да человек-то, красавец, не вошь.
Сам понимаешь: не камень тело.
Я, вишь, работаю на «молю» [1],
Вот по сих пор в воде.
В месяц тышшу рублев намелю.
Ну, а куда их, касатик, деть?
Деть-то куда? При посредстве пайка
Весь расход — сорок три рубли. .»

Но я уже бросил его бока,
Я уж поймал блик:
Вот оно, где собака зарыта!
Нет, он не шибер, не бизнесмен.
Он прочно приехал, привез корыто,
Жену да бельишка несколько смен.
Так. Ну, а дальше? Копить на авось?
Стоит ли труда?
Он уже чувствует, что не туда
Гнется земная ось.

---

[1] Моль — сплав леса.

Он уже понял, что собственный дом,
Собственный плуг, собственный хлев
Время побило, как в поле хлеб
Бьет ледяным дождем.
Жаль ему старого, своего,
Новое слюбишь не сразу.
Но у него хоть и не боевой,
Однако практический разум.
Я говорю не о кулаке.
Кулак не скоро сменит дорожку.
Иной и помрет, зажмя в кулаке
В конце концов бесполезную трешку.
А этот прибыл с женой и дитем,
С полным доверием к жизни.
Он открывает камчатский том
Не для того, чтобы высчитать «бизнес».
Его мечта — быть солидным рабочим.
За день устать, а потом
Прийти в погребок, где из банных бочек
Рыжая брага льется в бидон.
Там посидеть, покурить, покалякать,
Послушать баяна, сходить в кино.
А нету? Что ж. Он обратно в окно.
Вот где зарыта собака.
И это рабочий с неразвитым вкусом —
Это «единый из малых сих».
А есть и такой, что потерся по курсам
И брал на язык английский язык.
Это уже новаторский стиль,
Выпошенный совершенно:
Он любит спорт, он любит стих
И международное положение.
Из этих кадров можно бы высечь
Славные имена!
А мы ему в зубки тысячи тысяч:
На, голубчик, на!
И он собирает и смотрит вкось...
Но вдруг догадывается: «Эва!»
И в «Золотой Рог» является гость,
Кидая червонцы вправо и влево.
Тут он разменивается в восторге:
Эх, запузыривайте, соловьи!
Так вырастают на Дальнем Востоке
Деклассированные слои.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стеклом и тесиной блестя и горя,
Одета в шотландскую клетку,
Стоит геометрия среди корья
Полным набором комплекта.
Стоит коробкой экспортных конфет.
Но я бы обкому сказал:
А что вам стоило в этот комплект
Включить гимнастический зал?
Он же и клуб на тысячу мест.
Вы поглядите вокруг:
Лес есть. Тяга есть.
Масса рабочих рук.
А что вам стоило в этот трест
Пустить комсомольский дух?
Опыт есть. Силы есть.
Масса юных рук.
А тут хандрят боевые мужчины
«Во глубине камчатских недр».
Есть наконец вниманье к машине,
Но к человеку внимания нет.
Кому не по нраву, тот и не слушай.
Кому надлежит, тот разумей.
Есть у меня и глаза и уши —
Вот мое резюме:
Чтобы. Все эти. Тенденции. Шаткие
Не подавать в лакировочном глянце,
Чтобы рабочий класс Камчатки
Не был «камчаткой» в рабочем классе,
Чтобы кровей придать математике,
Чтоб рос молодняк
ни под плюш, ни под плющ,
Чтобы в холодных теченьях Камчатки
Паром забил комсомольский ключ —
Открыть лирические цеха,
Пафос которых заперт!
Таков секретариату ЦК
Мой поэтический рапорт.

Узкое
Декабрь 1932 г.

УМКА БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

Действующие лица

Кавалеридзе — секретарь Чукотского райкома.
Нина — его жена.
Пешкин
Ванина Маляша } члены райкома.
Каменват — студент Ленинградского института народов Севера.
Соловьев — радист, комсомолец.
Бокова — врач.
Мещерский — член Хабаровского крайкома.
Чайвуургын — черный шаман.
Тинь-Тинь — его дочь.
Умка Белый Медведь — ее муж.
Нэнэ — отец Умки.
Кайгуа — мать Умки.
Аттыкей
Кирик
Коравий } чукчи-зверобои.
Реумреу
Ояда — шаман.
Эдвард Блэк — капитан шхуны «Леди Блэй».
Бэйббл — кок.
Джим — матрос.
Судомойка.

Действие происходит на Чукотском полуострове в начале 30-х годов.

ВСТУПЛЕНИЕ

Возьмите в руки, родная моя, глобус (эс) [1] голубой
И путешествуйте карандашом, огибая рябой прибой;
И путешествуйте карандашом в северные моря,
Где траурным кораблем враспах летит тоска моя...
Где носом к носу, как два петуха, гребни пургою промыв,
Чукотка с Аляской рвутся в бой, но их разделяет пролив;
Где много дней солнца нет, и часто луны нет;
И тюленьи отдушины вихрь вмиг зализывает, как след;
И только изредка, в те часы, когда отойдет пурга,
В полгоризонта Великий Олень зажигает свои рога.

Здесь много дней солнца нет. Здесь край ледяной синевы.
Здесь живут голубые песцы, обаятельные, как вы...
Здесь под перьями зари, чернеющей на лету,
Гренландский медведь с жировым горбом
идет в Россию по льду.

Здесь моржи, заплывая весной, подымают свадебный вой
И, как боксеры, дерутся в кругу бивнями и головой.
Здесь ребра кита и его позвонки находят посмертный
приют
И недопёски у китобоев градусники крадут.

Вот тут-то, в дымных дырищах, похожих на шарабан,
Покрытых кожами моржей, гулкими, как барабан,
В округлых ярангах, лишенных окон
и дверь которым чужда,
Обитает народ — наивный, как миф,
и опытный, как нужда.
Немало буйных кораблей к себе привлек этот край,
Чтобы, как нежную виолончель, послушать песцовый лай;

---

[1] «Э с» — означает паузу; произносить про себя.

Чтобы скорей вернуться домой к матери — видит бог!
Чтоб умереть, поймав ненароком удар клыка в бок;
Чтобы за пенье мокрых вант и трудный скрип рей
Перечеканить в серебро серебряный мех зверей;
Чтобы за пару дешевых серег и всякий шурум-бурум
Больших Медведиц звездами набить корабельный трюм.

А чукча глядел, и на лбу его собиралась угрюмая морщь,
И был ему ближе белых людей любой одичалый морж,
И ждал он ветра, который бы мог
разбить этот белый плен.
Как белые льды расшибает шторм у бухты Уэлен.
И ждал он северных ветров — но вот примчался норд:
Норвежский бриг
скупает собак,
льдинами затерт.
И ждал восточных он ветров — но вот примчался ост:
Американский
пароход
зубочистки ему привез.
И южных выждал он ветров — но вот примчался зюйд:
Японские шхуны вкрадчиво с опиумом ползут.
И ждал он западных ветров — но вот примчался вест:
И русский клипер
вышел из дрейфа
с пушками наперевес.
Так ждал он зря. Но снова ждал! Душа вся извелась...
Но только не знал, что ветер такой
зовется — Советская власть.

АКТ ПЕРВЫЙ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Шхуна «Леди Блэй» входит в бухту Святого Евлампия. Капитан **Эдвард Блэк**, в желтом макинтоше из моржовых кишок, стоит на баке. Кок **Бэйббл**, **Кавалеридзе**, **Нина** и **Каменват** — у борта. Чукотские сопки медленно проходят за мачтами. **Судомойка**, лет двадцати, в очень короткой юбочке и коричневых резиновых сапогах, небрежным жестом бросает швабру за борт и полощет ее, опуская и подтягивая на веревке.
Поет песню.

Шотландская песня

Девочка на бере-
Девочка на бе-ре?
Девочка на берегу
Собирает раковины.
Беленькие, сере-
Беленькие, се-ре?
Беленькие, серенькие,
Пестрые, караковые.

Она, их пронзая,
Она, их пронза-я?
Она их пронизывает
Ниточкой оранжевою,
И сидит у мая-
И сидит у ма-я?
И сидит у маяка,
Никого не спрашивая.

А мальчишка Джонни,
А мальчишка Джон-ни?
Станет околдованным
Этакой безделицею.

И не будет пони-
И не будет по-ни?
И не будет понимать,
Что такое делается.

Девочка на бере-
Девочка на бе-ре?
Девочка на берегу
Собирает раковины.
Беленькие, сере-
Беленькие, се-ре?
Беленькие, серенькие,
Пестрые, караковые.

(Вытаскивает швабру. Бьет ее о борт корабля и уходит, небрежно шаркая сапогами.)

Блэк

Алло, джентльмены!

Голоса

Алло, мистер Блэк!

Кок
(кричит чукчам)

На палубу не лазить, поняли?

Блэк

Стоп!

Джим
(в рупор)

Стоп!

Блэк

Двух человек —
К трапу.

Джим

Есть.

Кок

А флаг-то вы подняли?

Блэк

Дюжину флагов!

Корабль поднимает цветные вымпела.

С приездом, мисс!

Нина

Арсёнок, смотри: звезда — как лампа.

Кавалеридзе

Это и есть знаменитый мыс?

Каменват

Да. Губа Святого Евлампия.

Нина

Ах да, Каменват, это ваша родина?

Кавалеридзе
(смеясь)

Теперь он для них, пожалуй, пародия...

Нина

А дети-то, дети: стая зверят!

Блэк

Якорь!

Нина

Мыс... Он довольно страшен.
А по-какому здесь говорят?

Кок

В общем, как будто на «бизнес-рашен».
Это такая несложная смесь
Из русского, английского, чукотского.

Нина
(искоса взглянув на кока)

Сэр! А какими судьбами вы здесь?
В вас сочетанье светского и скотского.

Кок расшаркался перед ней глубочайшим реверансом.

Кок

Вы проницательны, как Чека!

Кавалеридзе
(сухо)

Русский?

Кок

Ну что ж. Бывал я и русским.

Кавалеридзе

То-то от вас отдает французским.
Морской офицер?

Кок
(тот же реверанс)

Mille pardon! Пока!
(Уходит.)

Нина
(мечтательно)

Это называется: «за северным кругом»...
Мы спустимся, да? К этим старухам?

Каменват

Однако то не старухи, а чукчи.

Нина

А что это у них? Они носят паршу?

Кавалеридзе

Нина! Я очень тебя попрошу:
Будь елико возможно чутче.

Нина

Пажаста, без замечаний! «Муж»!
Ты мучишь меня от самой Японии.
Чтоб я этого больше не слышала. Поняли?

Кавалеридзе
(примирительно)

Музыка играет туш.

Блэк

Подмести палубу!

Джим

Есть.

Блэк

Мисс!
Спускаясь по трапу, держитесь прямо.

Нина

Послушайте, что за фривольная мысль?
Вы сорок раз повторяете «мисс»,
А я уже год как дама!

Блэк

Простите, миссис...

Нина

Итак, ко́мандор,
Мы расстаемся?

Блэк

Увы.

Нина

Очень жалко.
Хотя эта шхуна была такой валкой,
Но вы... Но о вас...

Кавалеридзе
(с ревнивой ноткой)

Запахни манто!

Нина
Я буду вас помнить всю жизнь, капитан!
Весь этот облик бездомного, сирого
Летучего Голландца в сорочке зефировой...

Блэк
(смеясь)

Покуда Москва признаёт капитал,
Я могу еще здесь, дорогая, крейсировать.

Нина

Так, значит, наша разлука не вечна?

Блэк

Напротив.

Нина

Итак?

Блэк

Madame, я ваш раб!
Джим! Помогите вынести вещи.

Нина

Боже! И это, по-вашему, трап?

Кок
(снова появляясь)

Угу.

Нина

И по нем-то вниз?

Кок

Безусловно.

Нина

Но это же самые вульгарные бревна.

Кок
(ухмыляясь)

Через год pour les dames оборудуем лифт.

Нина

Кок, вы невежа.
(Просматривает свои книги.)
Стивенсон, Свифт,
Даниель Дефо... Передайте Джиму,
Чтоб он...

Кок подает ей руку, помогая ступить на трап.

Мерси. Арсёнок, ты здесь?
А-арс! Арсюша! Где ты? Скажи ему,
Что в нашей каюте шестнадцать мест,

А все осталь... Так я и знала: пятна.
А все остальное в трюме. Понятно?
(Исчезает за бортом.)

Со всех сторон на шхуну вылезают чукчи в летних камлейках, отороченных волчьим мехом. Среди них выделяется Чайвуургын, в великолепной парке из белого оленя с пыжом. Седая борода его состоит из отдельных длинных волос, напоминающих струны.

Блэк

Здравствуйте, мистер Чайвуургын!
Рад вас видеть.

Каменват

Алло! Реумреу!

Реумреу бросается к нему, за ним — мальчишка-подросток и несколько чукчей. Они окружают студента, теребят его европейскую одежду, прыскают, хохочут.

Хо! А это, никак, твой сын?
Коло майнгын! [1] С корабельную рею!

Блэк

Добрый вечер, мистер Коравий!
А с вами кто?

Кирик

Я Кирик.

Блэк

Ах, так?

Чайвуургын

Он прошлый год ходил на корабль.

Аттыкей

O, yes. Он продал один лахтак [2].

Блэк

Приветствую вас, Аттыкей. О, боже:
Да это ведь Умка Белый Медведь!

---

[1] Какой большой! *(чукотск.)*
[2] Лахтак, или морской заяц,— разновидность тюленя.

Умка
(указывая на Тинь-Тинь)

Его мой женка Тинь-Тинь.

Блэк

Ну, что же...
Джимми! Конфеты и прочую снедь.
Ну как? Ра пынгль? Что слышно на свете?

Коравий
(грустно)

Какко мэй!

Реумреу

Очень скудно.

Аттыкей

Плох.

Реумреу

Морж не ходил.

Аттыкей
(указывая на Чайвуургына)

Ходил на эти,
А к нам не ходил?

Реумреу
(печально)

Очень плохо.

Коравий

Ох...

Чайвуургын

Да. Это верно. Нынче весною
На моя бухта Клыкастый ходил.
Не сплошняком. Сетью сквозною.
Худо прибывающий ходил.

Коравий
(считает по пальцам)

Да... Он имеет эннен, нгирек,
Еще — нгрок и еще — нграк [1] —

---

[1] Один, два, три, четыре *(чукотск.)*.

Полную кисть руки двадцаток —
Такой длинины моржовый клык.
И еще его дочка — мисс Киткитык,
Кожа of мемыль. Of этих усатых...

Чайвуургын

Тюлень! Да. Тюлень.

Коравий

The seal. Да, вот.

Чайвуургын

Он тоже на моя бухта живет.

Кавалеридзе

Мистер Блэк, минуточку.

Блэк

Да?

Кавалеридзе

Кто эта струнная борода?

Блэк
(усмехаясь)

Этот? О! Этот струннобородый —
Родоначальник целого рода
И, кроме того, знаменитый колдун.
Мистер Чайвуургын только дунь —
К ногам, как собака, кинется ветер,
И, точно корова, придет туман...
Мистер — первый шаман на свете.
Не правда ли?

Коравий

Yes. Он черный шаман.

Кавалеридзе

Черный?

Кирик
(утвердительно)

Ы-ы.

Кавалеридзе

А красные — хуже?

Блэк
(с тонкой улыбкой)

Как вы неграмотны, гос-споди.

Чайвуургын

Блэк!
Микин ораве́тлян? Чей человек?

Блэк

Право, не знаю. Турист досужий.
Итак, досточтимый Чайвуургын,
Что там еще?

Чайвуургын

Коло! This minute!

Аттыкей выбрасывает к ногам Блэка шкуру белого медведя.

Блэк

Ага! Медведица тона пурги.
Обратите внимание: нос-то. Вынут!
Это чтоб мертвый медвежий дух
Не мог убийцу поймать на нюх.

Умка, озираясь на Чайвуургына, подходит к Бэйбблу, Реумреу — к Джиму. Чайвуургын делает вид, будто не замечает этого.

Умка
(коку)

Виски ешчь?

Джим
(Реумреу)

А лисица есть?

Умка

Ешчь.

Кок

Давай.

Умка и Реумреу вытаскивают из штанин каждый по песцу и получают взамен по бутылке виски.

Умка и Реумреу
(вместе)

Ето very мало.

Кок

Как? За песца? Великая честь.

Джим

Подумаешь, тоже. Ну, нá еще сала.

Каменват
(подойдя к ним)

Пошто сало? Не надо сало.

Кок

Да меха-то нету! Вот крокодил.

Реумреу

Во.

(Достает второго песца.)

Джим

У него перекушена шея.

Умка

Ну, виски надо!

Блэк

Дайте в кредит.

Кок

Кредит портит отношения.

Умка и Реумреу с досадой поворачиваются, собираясь уйти.

Джим

Куда ж тебя, чучело, отнесло?

Кок

Ишь чего, дура, вообразила!

Джим

Давай, так и быть!

Кок

Куда ни шло!

Джим

Пей мою кровь, образина.

Дают им еще по бутылке. Аттыкей швыряет к ногам Блэка все новые и новые связки лисиц, песцов, волков, полярных зайцев.

Чайвуургын

The volf. The haze. Осеннего лова.
Аттыкей! Минки рикукэт?

Кавалеридзе

Рикукэт? Это что за слово?

Каменват

Лисица.

Блэк
(играя шкурами лисиц)

Глядите, каков букет!
Как он ярится, горит, играет
Багрянцем, пурпуром, чернотой...
На этой прыщут искры. На той —
Блеск бежит от края до края.
А там что? А-а! Мистер Песец,
Карманное издание Арктики...
Алло, Джим! Ну-ка, ударьте-ка!
Пусть он заходит.

Джим берет шкуру за мордочку и ударом о воздух встряхивает ее.

(Восхищенно.)

Каков подлец!
Это, пожалуй, с острова Айон.

Аттыкей

О, yes. Мы там были третьёва дня.

Кавалеридзе останавливаст Аттыкея и указывает на Чайвуургына.

Кавалеридзе

Слушай, друг: это твой хозяин?

Блэк

Тут нет хозяев. Тут все родня.

Кавалеридзе

Кто он тебе? Говори, не глядя.
Смотри на меня. Это кто?

Аттыкей

Эндиу.

Кавалеридзе
(Каменвату)

Что он сказал?

Каменват

Эндиу — значит дядя.

Кавалеридзе
(Аттыкею, отходя)

Приедешь в факторию. Чай выдаю.

Блэк
(нервно)

Джим! Мистеру Чайвуургыну
Выдать цейлонскую корзину
Черного чая.

Чайвуургын

Yes. А патрон?

Блэк

Ящик. И десять ножей притом.

Чайвуургын

Реумреу. Возьми пять пачек.
Аттыкей также. Однако спрячь их.
Умка. Тебе я дарить целых семь.
Коравий — три. Итого — всем.

Чукчи принимают товары и укладывают меха. Пешкин и Маляша Ванина, поднявшись по трапу, глазами ищут Кавалеридзе. Умка и жена его Тинь-Тинь любознательно останавливаются перед грузином. Они смотрят на него, он — на них. Внимание Кавалеридзе обратил на себя зеленый целлулоидный козырек на лбу чукчи.

Кавалеридзе

Слушай, друг. Этот фокус-мокус...
Что с тебя взял мистер Блэк?

Умка

White fox.

Каменват
(подсказывая)

Белую лисицу.

Кавалеридзе

Так вот что, товарищ:
Когда ты придешь ко мне в «интеграл» [1],
Я отпущу тебе столько товару,
Сколько ты за лису не брал!

Пешкин и Маляша Ванина подходят к Кавалеридзе.

Пешкин

Приветствую.

Кавалеридзе
(подняв брови)
Здравствуйте!
Маляша
Мы из райкома.

Кавалеридзе

А! Чудесно. Будем знакомы.
У меня с вами бо-ольшой разговор.
Вот: изучаю местные язвы.
Вы, значит, кто?

Маляша

Я агитмассовый.

Кавалеридзе

Так! А вы?

---

[1] «Интегралами» на Чукотке и Камчатке назывались магазины производственно-потребительской кооперации.

Пешкин

А я Пешкин. Заворг.

Кавалеридзе

Район большой?

Пешкин

Да примерно с Данию.

Кавалеридзе

Кооперирован?

Пешкин

Двадцать один процент.

Кавалеридзе

Как же вы думаете строить здание,
Если у вас фундамента нет?

Пешкин

Но это ж огромный процент!

Кавалеридзе

На бумаге.

Пешкин

И в жизни.

Кавалеридзе

А в жизни — капитан Блэк.
У вас под носом пиратский набег,
А вы занимаетесь белою магией:
Цифры, бумага, бумага, цифры.

Маляша

У него договор.

Пешкин

Полномочья Москвы.

Кавалеридзе

Оттого что он лучше работает, чем вы:
Он знает дело во всей специфии.

Пешкин

Мы тоже знаем дело не хуже.

Кавалеридзе

Этого не видно.

Пешкин

В штормы, в стужи
Наши фактории свозят меха
За множество километров.

Кавалеридзе

Ха!

Маляша

На ветре — что в малице, что без малиц.
Иного льдом, как корой, обернет.

Кавалеридзе

Когда у певца не хватает нот,
Он подымает палец.
Ну что вы болтаете? Льдом, корой.
Капитан Блэк! Вот это герой.
Он без всякого аппарата
Снимает лучший пушной урожай!
Но ты, пожалуйста, не воображай,
Что мы не одолеем этого пирата.
Я думаю, надо послать в окружком
(Копии: Владивосток и столица)
Такую депешу: «С пушниной творится
Рвачество. Настойте на том,
Чтоб сделку Блэком, а также другими
Не пролонгировали новом году.
Дело с пушниной на полном ходу!»
Заверьте... Как его там? Главпуш?
«Успех гарантирую. Номер. Имя».
(Хлопает Пешкина по плечу.)
Музыка играет туш.

Пешкин

Вы слишком решительны.

Маляша

Больше!

Кавалеридзе

О да,

Это, наверно, беда лихая.

Пешкин

Вы не знаете быта.

Кавалеридзе

Слыхали. Вода.

Маляша

Условий не знаете.

Кавалеридзе

Вода. Слыхали.

Пешкин

А я вам скажу — вы пойдете на дно.
Подумайте: где ваши средства?

Кавалеридзе

Средства? Вот: косматое сердце.
(Хохочет.)
Нет, серьезно: я знаю одно —
Эдварда Блэка взáшей.
Зачем нам чужие расходы несть?
Зверь есть? Охотник есть?
Значит, пушнина может быть нашей.
А раз она может — значит, должна.

Маляша

Ей-богу, он мне нравится.

Кавалеридзе
(с комическим испугом)

Тсс... жена!

Тинь-Тинь бесцеремонно отодвигает Маляшу и подходит к Кавалеридзе вплотную.

Тинь-Тинь

Цаво куриишь?

Кавалеридзе

Сухумский букет.

Тинь-Тинь

Хорос табак?

Кавалеридзе

Не слышишь по духу?

Умка

А угощашь?

Кавалеридзе

Почему нет?
Прошу. Это с медом. Ты только понюхай.

Курят.

Тинь-Тинь

А ето цаво?

Кавалеридзе

Обычная вещь.
Трубка.

Умка

The pipe. Кака така ешчь?

Кавалеридзе

Кавказская. Из виноградного дерева.
На ней когда-то висела гроздь.

Умка

А ето мой трубка. Of моржа кость.

Кавалеридзе

Хорошая, да.

Умка

Кури теперь его.

Кавалеридзе

Зачем?

Умка

Кури его. Он поет песнь.
(Надув щеки, свистит в чубук, вызывая из него какие-то сипящие звуки.)

Кавалеридзе

У меня ж своя.

Каменват

Не хочешь сменять ли?

Кавалеридзе

Нет, дорогой мой. Я не купец.

Умка
(недовольно)

Пошто рушские такие неприятели?

Кавалеридзе

Кто — неприятели? Ах ты, друг!
Разве так можно сразу?
Видишь ли... Это Полярный круг.
Все это очень чужое Кавказу.
А я, понимаешь, кавказец. Так?
Первое время мне будет тоскливо.
Тогда окунусь я в сухумский табак
И в дымке увижу туман у залива...
Не вправду, конечно, а так — в полусне.
Синее море... Белеющий парус...
И мне станет легче. На сердце. Мне.
Понял?

Умка

Ну да. А трубку подарис?

Кавалеридзе

Но как же могу я тебе подарить,
Когда ее виноградный запах —
Это как связь. Это как нить.
Без этого я как будто бы заперт
Средь ваших сопок и ваших льдин.
Ведь я же тут из кавказцев один!
Один, понимаешь? Возьми стеклярус,
Бусы какие-нибудь, янтари —
Все, что хочешь, у Блэка бери.
Я заплачу.

Умка

А трубку подарис?

Кавалеридзе

М-м... Какой он упрямый, а?
Ему только мою надо.
(Умке.)
Возьми у него. У него Канада.
Я уплачу. А это — моя.
Моя! Ну, вот я сначала начну.
Можно тебе объяснить это?

Умка
(утвердительно)

Ну.

Кавалеридзе

Зачем мне чубук из рыбьего зуба?
Когда я пускаю синие клубы
Из этой штукенции... Понял? Да?
Я вижу свои — вот такие — года,
Море у бука или у дуба...
(Не это море, а синее. Наше!)
Понял? И жизнь становится краше.
(К своим.)
Как будто бы я над Кавказом витал,
Как будто Важа Пшавела читал,
А то послушал певца из Ларса.
(Умке.)
Нет, дорогой. Ты не лайся.
К тому же, клянусь тебе, трубка твоя
Не хуже моей. Она даже лучше:
Прямая, как луч. У меня покруче.
Просто кривуля. Как тело червя.
Тьфу! Такую приличный народ
Разве позволит совать себе в рот?
И потом, дорогой, привыкай к дисциплине:
Раз нельзя — значит, нельзя.
А трубка... Она ведь живая... с теплынью...
Это не что-нибудь вроде гвоздя.

Умка

А трубку подарис?

Кавалеридзе
(страстно)

Ну рад бы душой!
А впрочем... (эс). Хорошо.
Положим. Конец. Этому. Бреду.
Трубка будет твоей!
Но не сейчас. Да не хмурь ты бровей:
Оставлю тебе, как только уеду.

Тинь-Тинь

А ты не обманешь?

Умка

А трубку подарис?

Кавалеридзе

Это ты верно спросил. Wery good.
На всю свою жизнь запомни, товарищ:
Коммунисты. Народу. Не лгут.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Замерзший океан в ледяных торосах, ущельях, цирках и кратерах напоминает пейзаж на луне. Умка, его отец Нэнэ и Чайвуургын, отбрасывая голубые тени, на коротких лыжах идут гуськом меж ледовых утесов.

Чайвуургын

Давай отдохнем.

Нэнэ

Отдохнем, однако.

Усаживаются на снег. Чайвуургын вытаскивает из-за пазухи вяленый медвежий язык, тонкий конец берет в зубы, левой рукой натягивает его, как струну, а правой, вооруженной ножом, ловким жестом снизу вверх у самых губ перерезает мясо и передает медвежатину Нэнэ. Тот, таким же образом отрезав себе кусок, передает остальное Умке. Умка, в свою очередь, передает Чайвуургыну. Медвежий язык несколько раз обходит круг.

Пойду, однако, обдумаю ветер.
(Взбирается на торос. Глядит. Вдруг пристально всматривается во что-то, срывает с плеча винчестер, долго целится — стреляет. Жест досады.)

Чайвуургын

Промазал!

Умка

(лениво)

Нерпа?

Нэнэ

Белый медведь...

Умка одним рывком вскочил на ноги. Несется к торосу, взбегает на вышку, срывая на лету винчестер. Почти не целясь, бьет по скачущему медведю. Всматривается. Удовлетворенно кивнув головой, выбрасывает дымящуюся гильзу.

Чайвуургын

Вперед идите. К медведю идите.

Нэнэ и Умка спускаются вниз. Умка опережает отца, едет по лагунке и снова подымается на седло меж двух торосов. Нэнэ, ковыляя за ним, пробегает мимо Чайвуургына.

(Укоризненно.)

Опять промахнулся, а?

Нэнэ

Промахнулся.

Умка исчез. Нэнэ карабкается по его следам. Вдруг срывается и падает в ущелье. Снег под ним расползается, напитывается водой — и вот на снежном поле зловещей чернью зазияла полынья Нэнэ захлебывается, пытается вылезть... Плавать чукчи не умеют.

(Кричит.)

Умка!

Чайвуургын

Ты что?

Нэнэ

Умка... Умка!

На ледяном седле возникает силуэт Умки. Не мешкая, он прыгает вниз, падает, подымается, бежит к отцу, ложится животом на снег, протягивает в прорубь руки.

Чайвуургын
(бежит к нему, задыхаясь)

Пошто ты, Умка? Неладный чукча!
Разве ты нынче на свет пришел?
Обычай не знаешь? Бога не знаешь?

Умка

Уйди ты!

Чайвуургын

Который сорвался в воду,
Того вытаскивать — грех!

Умка

Уйди ты...

Чайвуургын

Лукавый!

Умка

Это мой тятя.

Чайвуургын

Пусть я побью тебя, русский ты сын!
Законы тундры любить не хочешь?
Чукотский обычай любить не хочешь?

Умка сидит на коленях и громко плачет.

(Ударяет в бубен.)

Пой-пой, мой яр-ар [1],
Провожай в подземну тундру...
Эй вы, ке́ле злые,
Не сбейте Нэнэ с дороги!
(Умке.)
Пусть я побью тебя, русский ты сын!
Законы тундры любить не хочешь?
Пошто ты плачешь? Пургу накличешь!
(Ударяет в бубен.)
Покойный Нэнэ при жизни
Никому худого не делал.

---

[1] Бубен *(чукотск.)*.

Не мешайте же, ке́ле злые,
Пусть идет в подземну тундру.

Нэнэ захлебывается. Пытается ухватиться за край льдины, но руки срываются, обламывая осколки и снег. Тяжелая меховая парка, тюленьи торбаза — все это, намокнув и обледенев, тянет его ко дну.

Умка
(плача)

Атэ[1]. Мой тятя! Пускай не топи!
За льдину держися, руками держися...

Чайвуургын
(поет)

Покойный Нэнэ при жизни
Был чукчанин хороший.
Уйдите же, лютые ке́ле,
Не сбивайте Нэнэ с дороги!

Умка

Ай, он тонет! Атэ! Атэ!
Под лед уходит... Совсем уходит...
Снимай кукашку! Голый останься...
(Снова падает на живот, ловит отца за руки, тащит вверх.)

Чайвуургын
(наступая Умке на руки)

Это, однако, пошто такое?
Пусти его, Умка... Нэнэ пусти!

Разъяренный Умка вскакивает перед шаманом во весь рост, от ненависти воет звериным голосом.

(Испуганно машет на него руками.)
Уйди ты, ке́ле...

Умка

Печенку вырву!
Жилы вытяну! Кровь сожру...

(Бросается к отцу, вытаскивает его на лед.)

Старик мелко дрожит, стуча зубами.

---

[1] Отец *(чукотск.)*.

Иди помогай, пошто стоишь?

Чайвуургын злобно растирает Нэнэ. Умка стаскивает с отца мокрые торбаза, выкручивает их. Затем снимает с себя парку, надевает на Нэнэ и вместе с Чайвуургыном растирает старику ноги.

Чайвуургын
(растирая)

Старый ты стал.

Нэнэ
(покорно)

Однако, старый.

Чайвуургын

Худой охотник. Дороги не чуешь.

Нэнэ

Дороги не чую.

Чайвуургын

Худой охотник.
Помирать надо.

Нэнэ
(как эхо)

Помирать надо...

Умка *(угрюмо)*

Однако, шаман, ты тоже старый.

Чайвуургын

Пошто говоришь, русский ты сын?
Пошто говоришь? Я не охотник.

Нэнэ
(сыну)

Пошто говоришь...

Чайвуургын

Говоришь худое.

Нэнэ
(сыну)

Который шаман постарше — получше.

Чайвуургын
(взволнованно)

Я не добытчик. Я ружья имею.
Аттыкей, Нэнэ, Умку имею,
Пошто говоришь?

Пауза.

Пой-пой, мой яр-ар,
Скажи всю правду про Нэнэ:
Старый становится Нэнэ.
Дороги не чует Нэнэ.
Помирать уже Нэнэ хочет.

Умка
(сердито)

Не хочет Нэнэ, однако.

Чайвуургын
(раздраженно)

Пускай молчи, неразумный ты пес!
Если помрет он нынче,
Когда еще бодро ходит,
То и в подземной тундре
Сможет охотиться Нэнэ,
Не шибко ладóм, но все же...
Из песцов будет шить ярангу,
Каждый день тюленину кушать.
Если ж помрет он поздно,
Дряхлым придет он в тундру,—
Не попасть ему в глаз моржихе,
Не найти ему след медвежий.
Кто кормить будет бедного Нэнэ?
Голодовать будет Нэнэ.
Пой-пой, мой яр-ар...
Помирать уже Нэнэ хочет.

Нэнэ

Однако, хочу.

Умка

Не надо, атэ!

Чайвуургын

Пошто ты дуришь, проклятый!

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Канадский барак. Здесь помещается райком. На стене огромная шахматная доска с картонными фигурками, вверху надпись «Владивосток», внизу — «Бухта Святого Евлампия». Кавалеридзе — на диване в одной сорочке. Бокова выстукивает его. Маляша за письменным столом щелкает на счетах. Каменват перелистывает гроссбух. Пешкин шагает из угла в угол.

Бокова

Ей-ей, товарищ Кавалеридзе,
Вы словно школьник. Надо ж лечиться.
Дышите! Глубже! Так.

Кавалеридзе
(кашляя)

Виноват.

Бокова

Еще! Еще!

Пешкин

Повторяю еще раз:
Быстрота ваших выводов, гончая скорость —
Это от лихости. Каменват!
Скажи ты этому человеку,
Что. У чукоч. Классов. Нет!

Соловьев
(входя)

Примите почту.

Кавалеридзе

Откуда?

Соловьев

Сверху.

Кавалеридзе

Когда принята?

Соловьев

Чуть свет.

Кавалеридзе

А ты так поздно? Эх, болванидзе...

Соловьев

Я думал: как же с утра-то ввалиться?

Кавалеридзе

«Думал-мумал»... Шляпа ты, вот что.

Соловьев

Да я ж спозаранок вьюся, как уж!
Да я же...

Кавалеридзе
(резко)

Музыка играет туш.
Давай сюда почту.

Соловьев сердито бросает почту и уходит.

(Наставительно.)

Сущность нашей работы в том,
Что надо. Сделать. Этот. Райком —
Электромагнитом. И потяжеле!
Вокруг же создать поля притяженья
Из неимущих бедняцких недр,
Из батраков...

Пешкин

Ни неимущих,
Ни батраков среди чукчей нет!

Кавалеридзе
(ехидно)

Уже коммунизм? Без всяких штучек?

Пешкин

Дело не в этом. Наоборот.
Вы как-то все упрощаете. Видите ли:
Так называемый чукотский народ
Находится в той категории развития,
В том состоянье хозяйственных сил,
Когда еще нет деленья по классам,
А есть деленья по семьям: сын,
Деверь, племянник, брат...

Кавалеридзе

Не согласен!..

Пешкин

Что вы мне говорите, чудак?
Без году неделя на Севере — и спорит.
Я ж вам объясняю: по семьям!

Кавалеридзе

Так-так.

Пешкин

Семейный олень пасется в сборе;
Охота ведется семьею; мех
Сперва одевает буквально всех,
Общий чум покрывает кожей,
И только излишек идет на отхожий.

Маляша

Да, и опять-таки в пользу семьи.

Пешкин

Где же тут классы?

Кавалеридзе

Очки сними.

Пешкин

Как все примитивщики, ты перенес
Русский быт на Чукотский Нос.

Кавалеридзе

А ты... ты погиб! Ушел на покой!

Маляша

Ну-ну-ну-ну.

Пешкин

Не знаю, погиб ли я...

Кавалеридзе

Чайвуургын! Кто он такой?
По-твоему, это чукотская Библия?
Патриархальный злак?
А? Авраам, Исаак и Яков?

Бокова

Ну, а по-вашему, кто?

Кавалеридзе

Кулак!

Пешкин

Бред!

Кавалеридзе

Он с русскими неодинаков,
И все ж таки, я повторяю,— кулак.

Бокова

С точки зрения социологии,
Как уж тут ни кричи,
Немыслимо доказать, что в берлоге
Есть бедняки и есть богачи...

Пешкин
(перебивая)

Верно! Товарищу что ни встретится,
То и класс. Наука без мук!
Скажите еще, что нянька-мишук —
Это батрак у хозяйки-медведицы[1].

Кавалеридзе смеется.

Маляша

И все-таки чисто интуитивно
Арсен Николаич, мне кажется, прав.
Чайвуургын! Вглядись в его нрав:
Как он пьет чай! Как считает бивни!
Как он гоняет по пустякам
Того, другого... «Тагам! Тагам!»
Это же феодал!

Кавалеридзе

Вы не правы.
Марксизм давно бы сорвался с круч,
Если б критерием были нравы.
Экономика — вот наш ключ!

Вбегает Соловьев с радиограммой.

---

[1] Годовалый медведь-пестун оставляется часто маткой при себе, для того чтобы нянчить новый выводок.

Соловьев

Братцы! Ответ из Владивостока:
«Конь атакует пешку Е-6».

Маляша

Слоном его!

Кавалеридзе
(иронически)

Вах! Страшная месть!

Соловьев

А пешка погибнет?

Маляша

Нет, постой-ка...
Каждая пешка — будущий ферзь!

Кавалеридзе

А разве всегда нужно быть с доходом?

Пешкин

Надо уйти.

Соловьев
(переставляя на доске фигурку)

Мы этим ходом
У них перед носом захлопнули дверь-с!
(Бежит в радиорубку.)

Бокова
(постукивая по ладони стетоскопом)

Продолжим, товарищ Кавалеридзе.

Нина
(входя)

Ну как?

Бокова

Минутку. Тон глуховат.

Маляша

Лисицы черной — шесть. Серебристой...
Черт возьми. Каменват!
Идите сюда. Почему они вместе?
Надо по рубрикам. Вот же крестик.

Четыре куницы белой души.
Два песца. Росомаха и хорза.

Пауза.

Кавалеридзе

Долго еще?

Бокова

Дышите.

Нина

Дыши.

Бокова

Дайте же выслушать.

Нина

Не ёрзай.

Соловьев
(появляясь)

Скорее! Радиотелефон!

Кавалеридзе

Кто? Мещерский?

Соловьев

Говорит, что он.

Нина
(Боковой)

Пойдемте с нами. Вот незадача!
Теперь до вечера просудачат.

Уходят.

Маляша

Гагара... Ну этой не нужно совсем.
А это что?

«Ода 67

Что же сухо в чарке дно?
Наливай, мальчишка, чарку,
Но запомни лишь одно:
У меня заведено
Ключевою каплей яркой
Жаркое хладить вино».

Послушайте, вы! Заведующий факторией!
Что это за дичь?

Пешкин

Где? Где?

Маляша

Каменват!
Что это такое?

Пешкин

Где? Которое?

Маляша

А дальше-то, дальше,— свят, свят, свят:
«Вороная кобылица,
Честь кавказского тавра,
С головою белолицей,
С гривой мягкой, как трава!
Не косись тревожным глазом,
Боком в воздухе лети,
Трубным ржаньем, громогласным,
Воспевая все пути!
Скоро кончится веселье...
Босоножка, торопись:
Грянут кованою трелью
Колокольчики копытц».

Пешкин
(отвлекаясь)

А ты знаешь, Каменват, что такое — босоножка?

Маляша

Едва ли он понял и общий смысл.

Пешкин

К чему это, а?

Маляша

Вот странная мысль!

Пешкин

Стишки в альбом, как девица?

Каменват
(равнодушно)

Немножко.

Маляша

Да ты не пугайся. Твоя же тетрадь!
Просто нам интересно узнать.

Каменват

Когда я учащийся был в Ленинграде,
То прочитал от один поэт —
Фет:
«У чукчей нет Анакреона».
Тогда я в библиотеку пошел,
Большое количество часу истратил.
Искал-искал, однако, нашел,
Однако, переписал на тетради:
Вона!
Теперь у чукоч есть Анакреона.

Пауза.

Пешкин

Раздвоенность психики. Лучше бы он
Дров наколол. Пора погреться.

Каменват молча уходит.

Маляша

А что такое Анакреон?

Пешкин

Был поэт такой в Древней Греции.

Маляша

Вот оно что... Стало быть, Фет
Писал, что его, мол, у чукчей нет.
А это чукчу взяло за живое?
Чукотский студент из России принес
Творческий дух на Чукотский Нос.
Пешкин! В этом же мировое!

Пешкин

Подумаешь — «мировое». В чем?
«Творческий дух»... Идеалистка.

Маляша

Эмпирик несчастный! Всмотрись в него близко,
Он входит в мир, как борец, плечом!
Он хочет покрыть тысячелетье,
Их отделяющее от нас.
Ведь эти же строки, греки вот эти —
Рассвет арктических масс!
Это теченье...

Пешкин

Ага: Куросиво.

Маляша

Да-да. И где? В полярных полях!

Пешкин

Во-первых, не выражайся красиво:
Лицо у тебя круглое для этого.

Маляша

Пошляк!

Пешкин

Прости. У нас просто разные вкусы и...

Маляша

Хорошо, хорошо. Прекратим «дискуссию».

Входит Кавалеридзе, крайне возбужденный. За ним — Бокова и Нина.

Кавалеридзе

Братцы, по ко́ням!

Пешкин и Маляша
(вместе)

— А что?
— В чем дело?

Кавалеридзе

Приказ.

Нина

Доктор, ну как?

Бокова

Воздержусь от совета.

Кавалеридзе

Организовать кочевые Советы!

Нина

Доктор! Олечка!.. Ты прямо! Без прикрас...
Арсена... Доктор...

Кавалеридзе
(не обращая внимания)

Наши ресурсы,
Как ты там ни верти...

Нина

Доктор!

Кавалеридзе

М-м... Доктор, давайте вердикт:
Видите — женщина интересуется.

Нина

Но только правду!

Бокова

Видите ль... Чукотка
Не очень жалует наших южан.
Боюсь, что у вас *ТБЦ*.

Пешкин

Чахотка?!

Нина

Арсена, милый...

Кавалеридзе
(шутливо)

Вах! Испужал!
А вы, как все доктора, легковерны.

Бокова

Правда, еще далеко до каверны,
Но лучше бы вам перебраться на юг,
Иначе придется скверно.

Нина

Ты слышишь, Арсена?

Кавалеридзе

Что за испуг?
Бросьте ваши глупости. Товарищи, Советы —
Это именно...

Нина

Арсена!

Кавалеридзе

Это...
То самое ленинское звено,
С которым будет возведено...

Нина

Арсена!

Кавалеридзе
(вяло)

Отстань.

Нина

Арсена, слушай.
Скоро зима. Начнутся стужи.
Какой-нибудь месяц до стуж!

Кавалеридзе

Кончила? Музыка играет туш.
Так вот, я говорю, что туземные Советы —
Это ленинское звено,
Ухватясь за которое...

Нина

Сумасшедший!
Пешкин! Маляша! Что это за речи?
Ведь он тут подохнет. Мрак... Теснота...

Кавалеридзе
(вдруг вскакивая и прислушиваясь)

Минутку!

Все испуганно затихли.

Нина

В чем дело?

Кавалеридзе

Тсс... Я сказал же!

Пауза.

Слышишь?

Нина
(шепотом)

Что?

Кавалеридзе
(лукаво)

Тишина-то, а?
Вот так пусть будет и дальше.

Общий хохот.

Нина
(возмутившись)

Ты еще смеешь...

Кавалеридзе

Слушай, Нинок:
Если тебя, беспартийное созданье,
Пустили сегодня на партзаседанье,
Так потрудись же.... Где мой звонок?
Итак, товарищи, туземные Советы —
Это Октябрь Чукотки! Это...
(Свирепо глядя на Нину.)
Как я уж сто раз говорил — звено,
Ухватясь за которое мы вытянем Чукотку...

Нина
(плача)

Арсёнок! Товарищи! Это жуть!!

Кавалеридзе

Ухватясь за которое мы вытянем Чукотку
На новый, социалистический путь.
Ясно?

Пешкин

Да-да. Поменьше агитации.

Нина всхлипывает.

Кавалеридзе

Не возражаю. Мы делим район
На три сектора. Придется покататься.
Возьмем с собой примуса, макарон.

Нина

Боже мой! Это, значит, надолго?

Кавалеридзе

В первый поедем я и Ольга,
Второй берут Каменват и Ванина...
Третий — Пешкин и Соловьев.
(Пешкину.)
И очень прошу вас: без лишних слов.

Пауза.

Я дам вам тезисы и воззванье,
Общую линию и прочье.
Это серьезный поход.
Ваша задача: три делегата.
Но пусть выбирают не из богатых!

Пешкин
(иронически)

Да-да. Желательно из кадровых рабочих.
Помнящих девятьсот пятый год.

Кавалеридзе добродушно смеется.

Соловьев
(появляясь в дверях рубки)

Товарищ доктор! С Медвежьего Острова
Просят совета.

Маляша

Как! Опять?

Бокова

А что там такое?

Соловьев

Ничего острого.

Бокова

Температура?

Соловьев

Кажется, сорок пять.

Бокова

Вот уж, ей-ей — memento mori [1].
Извольте лечить за четыре моря.
(Идет в рубку.)

Пешкин

Но кто, по-твоему, входит в Советы?

Кавалеридзе

Ясно кто: бедняк, середняк...

Пешкин

А Чайвуургынов сживать со свету?

Кавалеридзе
(подумав)

В перспективе, но не на днях.

Смех.

Пешкин

Но как мы выясним, кто из них беден?
При общности чумов, при общности стад
Такие вопросы здесь не стоят.

Кавалеридзе

Стоят!

Маляша

Увольте от ваших обеден.

Кавалеридзе

Стоят, я сказал!

---

[1] Помни о смерти *(лат.)*.

Маляша
(смеясь)

Просто поп с дьячком.

Кавалеридзе

Эх, товарищи! Сбросьте цепи
С собственных мыслей. Наш райком
Является автором следующей концепции.
Прошу вниманья! Вопрос один:
Что! такое! Чайвуургын!
Я очень рад, что, не спавши ночей
И не имея поддержки ничьей,
Все ж таки смог разрешить задачу
Классового расслоенья чукчѐй.
Если ошибся — давайте сдачу.

Прежде всего о фактах, которые
Я наблюдал на корабле:
Чукчи на борт «Леди Блэй»
Грузили меха, как из фактории.
А) Этот мех — ну, десяток скину —
Принадлежал Чайвуургыну.
Но он не охотник. Он слишком лыс.
Б) Зверобой Реумреу и прочие,
Как я заметил, очень не против
Продать от себя парочку лис,
Так сказать, тайно, из-за кулис.

Пешкин

Бред!

Кавалеридзе

Зверобой Реумреу и прочие
Работали как простые рабочие.

Пешкин

Но это все девери да зятья!

Кавалеридзе

Да, да! Эти девери и зятья
Работали как простые рабочие.
Но, сдавши меха и купивши сам,
Сам, я подчеркиваю, чай и патроны,

Чайвуургын с жестом патрона
Тут же их раздарил друзьям.
О! Шаман — человек с головой,
Даром, что кажется дикий.
Он высится на социальном стыке
Систем: натуральной и меновой,
Эксплуатируя обе системы.
Родичи — вот его батраки!
Возможно, что он и роднится с теми,
Кто хочет уйти от его руки.
Нити родства — вот та паутина,
В которой держит рабов феодал.
Он никому из внучат нэ давал
За шкуру хотя бы целковый с полтиной.
Нет, нет, он не скупщик. Он просто — дед.
Дэдушка, а? Дэдуля! Дэдуша!
Но кажьдого внука хватает, душит
И кулаком выжимает душу
Его кулацкий авторитет.

Пешкин

Но он не отказывает никому.
Он нищему даст и угол и жиру.

Кавалеридзе

То есть батрачество служит ему
Буквально за стол и квартиру?
Зять — охотник. А шкуры — его.
Шурин — пастух. А олени — его же.
Один его голос, как хоровой.
Он ездит на всех и дэржит вожжи.
Затем для любимых членов семьи
Чудный дэдушка покупает
Патроны обоймами штук по семи,
Не требуя кооперативного пая.
Это его охотничий цех!
Пастушеский цех свое получает.
Чайвуургын восседает за чаем,
Дэржит вожжи и ездит на всех.
Да, это штука не из простых!
Пойми это, Пешкин. Довольно склоки.
Двух
систем
одногорбый
стык —

Вот он, хребет кулацкой идеологии.
Поэтому ты меня не тузи!
Поедешь — поймешь. Но запомни себе ты:
Социализму нужны тузсоветы,
Но не нужны в Советах тузы!

Входит Бокова.

Маляша
(Пешкину)

Ну как?

Пешкин

Остроумно. Но это же трюк!
Это ж теория ради теории!
Политика ради политики! Друг,
Взгляни на окаменелое взморье.
Ведь рядом полюс! Подумай о льде,
О лунном быте этих людей...
Я чту теорий граненый алмаз,
Лирику плана, героику мысли,
Но верую в одаренность масс,
В их вдохновенные мышцы!
Но где ж эта масса? Нет же людей!
Чукчи — не люди. Это природа,
Проросшая глазом глухая порода
В жилах и фосфоре. В красной руде.
Мы на Чукотке, как на звезде.
Будь осторожен. Твое исступленье...

Кавалеридзе

Большевики отважны, как львы.
Ты помнишь реплику, которую Ленин
Бросил некоему Леви?

Пешкин

Глушь... К чему тут пример твой?

Кавалеридзе

Он сказал...

Пешкин

Этих сопок острожный стиль...

Кавалеридзе

Он сказал, что лисица бывает жертвой
Собственной осторожности.
А ты вот и есть такая лисица.

Ну, давай лапу. Бросим злиться.
Музыка играет туш.

Пешкин

Но глушь. Понимаешь? По буквам: Гриша,
Лена, Устя, Шура — *глушь!*
Белый медведь шаманит на крыше.
Выйдешь — он тебя съест живьем.
Мы здесь в архаической эре живем...
Мне кажется, будто я сам себе пращур...
Мне изредка чудится: вон, через лес,
Глядит огромный панцирный ящер.
Я даже видел лунный блеск
На черепаховом его черепе.
Слышал звон хвостового звена...

Кавалеридзе

Ниночка, друг мой, будь виночерпий —
Дай ему кружку вина.

Пешкин

Вы знаете? Я не мог оторваться:
Гипнотизирует лунный блеск.
Проходит секунда, десять, двадцать...
(Закрывает лицо руками.)

Маляша

С ним это бывает. Это называется
«Материковая болезнь».

Бокова
(Пешкину)

Слушайте! Надо взять себя в руки.
Заполярье — это не ад,
А вы не ребенок, боящийся вьюги.
Я приготовила вам шоколад.
Возьмете его с собою в дорогу.

Пешкин
(подняв голову)

А что в нем?

Бокова

Что? Аскорбин. Камфара.
Немного йода, надежды немного.
Будете принимать с утра.

ЗАНАВЕС

АКТ ВТОРОЙ

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Яранга Чайвуургына. Чукчи стоят в кругу и поют, хрипя и захлебываясь, приседая и дергая плечами, исполняя танец медведя, ухаживающего за самкой. Чайвуургын, в маске, бьет в бубен. Поодаль — капитан Блэк. В центре круга лежит старик Нэнэ, положив голову на колени своей жены — Кайгуа.

Чукчи

Гунэ
Вай,
Гунэ
Вай,
Кайвэ,
Кайвэ
Гунэ
Вай!

Чайвуургын
(шаманит)

В черном яру над речкой
Живет невидимый голос.
Маленькая серая совка
Шаманит в углу меж сучьев.
Дерево дрожит и стонет,
Как бубен под колотушкой,
Лампа ходит. Стены
Имеют собственный голос.
Даже ночная посуда
Имеет мужа, и деток,
И дом, и страну родную.
Шкуры в мешках перешептываются
Тундровыми ночами.
Рога на могилах дозором
Обходят свои курганы.

И сами покойники тоже
Ходят друг к другу в гости.
Все сущее — живет.

Чукчи

Гыч
Гык,
Гук
Гэтт.
Кайвэ,
Кайвэ
Гыч
Гык!

Чайвуургын
(тихо, Блэку)

Какой «пынгитль»? [1]

Блэк

У южного мыса
Видели Кавалеридзе.

Чайвуургын

Коло!

Блэк

Он едет к вам.

Чайвуургын

Пошто?

Блэк

Он стремится
Взять десяток батрацких голов.

Чайвуургын

Пошто?

Блэк

Они будут вашим начальством.

Чайвуургын

Шутка!

---

[1] Слух, новость *(чукотск.)*.

Блэк

Увы, это так.

Чайвуургын

Никто не пойдет.

Блэк

Пойдут. Факт.
И ваше же стадо поделят на части.

Чукчи

Гэк! Гойгок!
Гэк! Гойгок!
Кайвэ, кайвэ
Гэк! Гойгок!

Чайвуургын

Пой-пой, мой бубен
Из пузыря моржихи
С подвязанной на цепочке
Китоусовой колотушкой.
Пусть послушают чукчи
Из Пóутэна, Уэлена,
Нуньямо и Яндагая.
И пусть расскажут про Нэнэ,
Про нашего старого Нэнэ,
Какой был хороший Нэнэ,
Когда еще был при жизни,
И чем он в мире отличился.

Чукчи

Гунэ
Вай
Гунэ.
Вай
Кайвэ,
Кайвэ
Гунэ
Вай!

Чукча первый

Я расскажу про храброго Нэнэ.
Когда на стадо моих оленей

Напала священная волчья стая —
Вот пришел покойный Нэнэ
И постреля́л из винчестера стаю.

Чукча второй

Я расскажу про доброго Нэнэ.
Когда один раз мои собаки
Съели мою моржовую лодку —
Вот пришел покойный Нэнэ
И дал мне на время новую лодку.

Чукча третий

Я расскажу про мудрого Нэнэ.
Когда один раз мою девчонку
Застигли ке́ле — нечистые духи,—
Вот пришел покойный Нэнэ,
Бубном сказал, и пропали духи.

Чукчи

Гыч
Гык,
Гук
Гэт!
Кайвэ,
Кайвэ
Гыч
Гык!

Чайвуургын

Пой-пой, мой яр-ар
Из пузыря моржихи
С подвязанной на цепочке
Китоусовой колотушкой.
Пусть говорит Нэнэ
Согласно обычаям тундры
И против обычаев пришлых.
И пусть все пьют,
Если выпьет Нэнэ,
И пусть едят,
Если скушает Нэнэ,
И пусть говорят,
Если скажет Нэнэ.

Чукчи

Гунэ
Вай,
Гунэ.
Вай
Кайвэ,
Кайвэ
Гунэ
Вай!

Нэнэ

Вот я был молодым и сильным.
И я был крепче кости моржовой,
И я умел бегать, снега не чуя,
Как белый кобель из лучшей запряжки.
А уж красив я был так, что женки
Спрашивали, кто мои предки.
А теперь я стар. Мне жить неугодно.
Старым-старым становится Нэнэ.
Не та уж тундра. Не тот уж Нэнэ.

Чукчи

Гыч
Гык,
Гук
Гэт.
Гой
Гойгок!
Гой
Гойгок!

Чайвуургын

Раз это так, однако,
И Нэнэ жить неугодно,
Пусть расскажет чукчам,
Кому он свою смерть препоручает.

Нэнэ

Умка.

Умка

Коло!

Чайвуургын

Подойди к Нэнэ.

Нэнэ

Ты был мне при жизни хорошим сыном.
Не жалел для отца ни спичек, ни сала.
Ты перед всеми достоин чести:
Тебе я свою смерть препоручаю.

Чукчи

Гыч
Гык,
Гук
Гэт.
Гой
Гойгок!
Гой
Гойгок!

Чайвууургын

Пой-пой, мой яр-ар
Из пузыря моржихи
С подвязанной на цепочке
Китоусовой колотушкой.
Пусть услышит избранник
Голос, его избравший,
И согласно обычаям тундры
И против обычаев пришлых
Сделает то, что надо.

Пауза.

Умка
(заученно)

Вот выбираю яркую
Чалую шкуру пыжа —
И обматываю твою шею.
Вот выбираю крепкую
Петлю из жилы моржа —
И затяну тебя ею...
(Срывается, всхлипывает.)

Чайвууургын

Неладно, Умка, задумал плакать!
Бог Керéткун будет сердиться.

Нэнэ

(поднося к губам чашку)

Как я отпиваю, сын мой,
Немного чаю из чашки,
Чтобы все остальные
Выпили все остальное,
Так и ты, мой Умка,
Делись с сыновьями последним,
Чтоб так же вперед поступали
Все чукотские дети.

(Пьет.)

Чукчи

Гыч
Гык,
Гук
Гэт.
Гой
Гойгок!
Гой
Гойгок!

Чайвуургын

Пой-пой, мой яр-ар!
Провожай в подземну тундру.
Эй вы, кѐле злые,
Не сбейте Нэнэ с дороги!
Там олень не зевает навытяжь,
Предрекая глаз неугодный.
Там олень не зевает вправо,
Гадая пургу и ненастье.
Там всегда хороша погода,
Там песцов что белого снега,
Там будет охотиться Нэнэ
За созвездьем Большой Медведицы.

Умка затягивает ремень. Старик, выпуча глаза, широко раскрывает рот. Шаман воет, кличет, поет, выбивая бешеную дробь. Чукчи кричат свое «Гунэ», захлебываясь, хрюкая по-медвежьи и рыча.

Чукчи

Гунэ
Вай,
Гунэ.

Вай
Кайвэ,
Кайвэ
Гунэ
Вай!

Входят **Кавалеридзе** и **Бокова**.

Кавалеридзе

Здравствуйте, товарищи. А, мистер Блэк?
Постой! Что ты делаешь? Негодяй!
(Сшибает Умку и бросается к Нэнэ.)

Чукчи

— Карэм-карэм!
— Кацэм!
— Юргимтэк!
— Бейте его!
— Отдай!

Бокова выскакивает вперед, заслоняет собой Кавалеридзе и, выхватив из кармана блокнот с карандашом, бросается к одному, к другому, к третьему...

Бокова

Как фамилия? Как фамилия?
Где проживаешь? Ну?

Ее официальный тон и магическая бумажка мгновенно отрезвляют чукчей, напоминая об огромной стране, лежащей за этими русскими... Отругиваясь, они отступают от Кавалеридзе.

Чукчи

Ака-ляуль...

Кавалеридзе

Спасибо, милая.

Блэк

Вы вламываетесь в чужую страну.

Бокова

Но это ж убийство!

Блэк

Это обычай.
Здесь стариков убивают.

Чайвуургын

O, yes!

Кавалеридзе

А вы, мистер Блэк... Вы могли... здесь...
У вас превосходные нервы.

Блэк
(цинично)

Бычьи!

Бокова
(наклонившись над Нэнэ, который потерял сознание)

Товарищи! По советским законам
Убивать воспрещается. Ясно?

Чукчи
(мрачно)

Ы-ы.

Бокова

Если увидим — сквозь тундру загоним!
Посадим в острог до десятой весны!

Кавалеридзе
(Боковой)

Не надо грозить.

Умка

Но ето мой тятя.
My father, о yes. Еще мой дед.
Так умирай. Потом раздет.
Потом положи на ветер без платья.
Потом черный ворон... The raven... Уэтлы...[1]
Сверху на грудь падет на него
И сердце синий и глаз его светлый
В небо на крыльях во так во!
(Показывает полет ворона.)

Чайвуургын

Он будет в подземной могуч да красив.

---

[1] Ворон... *(чукотск.)*

Умка
(Кавалеридзе)
А ты уходи!

Реумреу
Так-то получше!

Коравий
Гей, уходи!

Бокова
(выслушивая сердце у Нэнэ)
Тихо!

Кавалеридзе
Он жив?

Бокова
Жив, но инфаркт он все же получит.
Дай-ка снегу. Клади на грудь.
А вы — кипятку.

Блэк
Кто — я?

Бокова
Да, да. Лично.

Блэк, повинуясь, приносит с костра чайник.

Тряпочкой, тряпочкой обернуть!
Кладите к пяткам. Вот так. Отлично.
(К Нэнэ.)
Ты меня слышишь?

Нэнэ молчит.

Где у нас бром?

Кавалеридзе подает ей бутылку, из которой она поит Нэнэ.

Так. А теперь на воздух.

Кавалеридзе
Берем.

Кавалеридзе и Бокова подхватывают Нэнэ и уносят на улицу.

Блэк

Ну что, видали? А? Дело дрянь-с.
Получается так, что чукчи, которые
Единственные в истории
При покорении арктических пространств
Не покорились русскому оружию
И, следовательно, независимы,
Вдруг почему-то попали в окружье
Так называемых «людей коммунизма».
Хотя это те же русские!
Но вы себя держите слишком кротко:
Чья Чукотка?

Чайвуургын

Наша Чукотка!

Блэк

Чукотка для чукчей!

Чайвуургын

Кайвэ!

Коравий

O yes.

Блэк

Ее вода! Ее скалы! Лес!

Умка
(задумчиво)

Однако тот девка — ладный шаман.

Блэк

Да нет! Нэнэ кончился.

Чайвуургын

Это обман!
Без барабана шаманство скудно.
А Умку узнать по глупым словам.
И все.
Про былое напомню я вам.
Давно то было. Приходит судно.
На этом судне пришодши откуль

На чукоч огнивный таньга [1] — русский.
Громом стреляющий. Горький от пуль,
Зовущийся — командор Павлуцкий.
И войско с ним. Одетое в кольца.
Как чайки, белое. Чукоч бьют.
Но был Эрмечин, силач-шалопут.
Была от него великая польза.
Хватал он огнивщиков сразу двух,
Пронзал он Павлуцкого в самый дух,
Терзал его тело, коптил его дымом.
Остался чукча непобедимым.
Известно ль про это, чукчи?

Чукчи
(утвердительно)

Ы-ы.

Блэк

Скажите же: чьи вы? Чьи?

Реумреу
(грозно)

Мы — луароветланы! [2] The people!

Блэк

Устройте же русским кровавую прибыль!
Веди их, шаман! Подымайте вой!
Пусть убираются к мертвому деду!

Чайвуургын стремительно направился к выходу. Чукчи — за ним. Вдруг открывается полог, и на слабых ногах, шатаясь, входит Нэнэ. Чукчи отпрянули.

Умка

Однако во: ты опять живой?

Нэнэ

Живой.

Умка

Ето как? Значит, бога нету?

Входят Кавалеридзе и Бокова.

---

[1] Прозвище русских на Чукотке.
[2] Истинные люди. Так называют себя сами чукчи.

Чайвуургын
(выскакивая вперед и размахивая перед ними руками)
Мы — луароветланы. The people!

Аттыкей

Русский казак много кроу выпил!

Чайвуургын
А ты, и твой баба, и твой сторона,
Знай, что здесь иноземна страна!

Кавалеридзе
(зорко взглянув на Блэка)
Ах, так... Понятно.

Чукчи
— Ы-ы...
— Кайвэ!

В страшном возбуждении надвигаются на Кавалеридзе. Бокова быстро выхватывает из портфеля книгу и, раскрыв ее, хлопает перед носом у ближайших. Создается впечатление выстрела оглушительной силы. Чукчи озадачены. Глядят.

Бокова
Друзья мои. Давайте без крика.
Именно так и смотрят в Москве...
Вот, вы видите? Книга.
Это книга постановлений.
Ее бы читать, не смыкая век.
Писал эту книгу большой человек:
Ленин!

Кавалеридзе

Постой. Я скажу им более четко.
(Зычно.)
Чукчи сами правят Чукоткой!

Реумреу

Ы-ы.

Аттыкей

Кайвэ.

Коравий

Ладо́м.

Кирик

О yes.

Кавалеридзе

Так вот: надо выбрать на первый съезд
Трех человек от вашего стойбища.
Они войдут в кочевой Совет.

Бокова

Но ваших же интересов ради
Только богатых не выбирайте!

Кавалеридзе
(сквозь зубы)

Эх, болванидзе.

Чайвуургын

Богатых нет!

Блэк

У них имущество общее!

Чукчи подымают шум.

Кавалеридзе

Друзья! Одно предложенье имею!
Дайте право поехать на съезд
Умке, Нэнэ и Аттыкею.

Чукчи

Ы-ы.

Бокова

Возражения есть?

Блэк

А где уважение Чайвуургыну?

Бокова

Нет возражений?

Блэк

А Чайвуургын?

Чайвуургын

Чего желаешь? Мы не враги!
Они свой шаман не покинут,

Кавалеридзе

Друзья! Чукоткою правят чукчи!

Чукчи

Ы-ы.

Кавалеридзе

Но не всякий! А только тот,
Кто трудится. Проливает пот.
Кто зверя бьет, от стужи опухши,
Кто в тундре сам оленя пасет!
Чайвуургын его не пасет,
Не бьет лахтака́, песца или пукши.
Чайвуургын — неправильный чукча!
Он дома чаем греет живот,
А сам на ваши труды живет.

Бокова

Алло, Аттыкей! Ты зверобой.
Лежа на льду, ты взводишь курки на
Клыкастого рыркы [1] для Чайвуургына,
Но этот рыркы — он твой!
Ты, Умка, с собакою зверовой,
Не раз унесенный дикою льдиной,
Ловил песца для Чайвуургына,—
Но этот песец — он твой!

Коравий! А ты? Под волчий вой
Пасешь оленя для Чайвуургына
От Уэлена до Урыгына,—
Но этот олень — он твой!

Сообразите ж, умом раскинув.
Что все это ваше! Добыто риском!
Мы уж давно в государстве Российском
Выгнали Чайвуургынов!

Нэнэ
(к Кавалеридзе)

Товарис, Кауа-Риди-Тцеу!..
Вода везде одинарна под лед.

---

[1] Морж *(чукотск.)*.

Люди на свете весь одинакой.
Во. Однако.

Блэк

Верно, старик! Золотое слово!
Всегда повторяй его. Снова и снова.
А этот русский начальник лжет!
Чайвуургына вы бросить не вправе.
Вот вы, например, мистер Коравий.
За вами — помните? — был должок,
А Чайвуургын простил вам остаток,
Женил на сестре, доверил стадо.
Да! Богатого создал бог!
Не будь его — вы бы все пропали.
Из чьих оленей вы шьете сапог?
Кто вам дал спички? Чай? Самопалы?

Кавалеридзе
(к Блэку)

Эй, алло! Выбирают на съезд
Чукчи да русские, но не янки.
И, как бы ни ссорились в этой яранге,
Вам меня не удастся съесть.
Не помогли подачки да пенсы
Даже в эпоху больших интервенций.
А там ведь стоял перед нами вопрос
Гораздо больший, чем этот.
Сделайте выводы, мистер Эдвард!
Чукотка — отнюдь не колония.

Блэк

Все-с?

Бокова

А разве недостаточно для этакого умника?

Блэк

Что ж. Бой так бой. Я ведь сам игрок.

Кавалеридзе
(чукчам)

Итак, выбирайте троих.

Бокова
(показывает три пальца)

Нгрок!

Чайвуургын

Пускай, однако, говорит Умка.

Умка
(кротко)

Чукчи! Чайвуургын — мой тешчь.
Он мне давай и пить и ешчь.
Он посылай на самую Яну,
Однако в голову вкладывал мощь:
«Вырастешь — стариком я стану —
Мою ярангу возьмешь».
Он мне давай и пить и ешчь.
Выбрать надо Чайвуургына.
Я при отце у него за сына.
Я добывай пушную вещь.
Много лет у него зверобой.
И все ему. Однако бранится:
«Жадноедящий ты! Меньше пой —
Больше работай! Гадкая птица!
Пусть я побью тебя!» — говорит.
Арканом бил. Во, сюды. Постоянно.
Я уходил от него на Яну.
Однако поймал. Мой сердце горит.
(Разъяряясь.)
Пошто я всегда перед ним в ответе?
Гыч! Уж не чаю, где взять крыла!
Все шесть моих душ поднялись, как медведи,
И глаз торчит на него, как стрела!

Чайвуургын
(изумленно)

Какко мэй. Таков ты стал?
Будьте смотрящими на то, что творится:
Вот был чукча. Прочный, как сталь,—
И вот промеж русских успел раствориться.

Умка
(яростно)

Тытенгет! Замедление ты!
Худой шаман! Ничего не знаешь:

Етот рушкий, он не казна ешчь,
Он, как дух, плывет с высоты.

Пауза.

Коравий

Умка хотя бы и правду кажет,
Но мы допрежде жили ладо́м.
Нытаинкан. Это бог накажет.
Против шамана — ноу, не пойдем.
(Отходит от Умки.)

Реумреу

Без шамана и лето темно.
Энгин вак этки. Так быть худо.
(Отходит к Коравию.)

Кирик

Я кушай-пей на его посуда.
Боюся шамана — но, но, но.
(Пятится к Коравию.)

Чайвуургын
(хватая бубен)

По-ой-пой, мой яр-ар
Из пузыря моржихи
С подвязанной на цепочке
Китоусовой колотушкой!
Пускай неладные люди,
Лукавые русские люди
Увидят погаными глазами,
Какой есть народ — чукчи!

Блэк
(один подхватывает)

Гой!
Гойгок
Гой!
Гойгок
Гок...
Гок...

Чукчи молчат.

КАРТИНА ПЯТАЯ

Яранга Умки. Кавалеридзе и Бокова сидят на мехах. Кайгуа возится с чайником. Умка и Тинь-Тинь, приподняв крышку роскошного американского кофра — желтого в никеле,— копошатся в груде красных, зеленых, голубых и оранжевых тряпок.

Бокова

Так, значит, все-таки Чайвуургын?

Кавалеридзе

Да, но и все-таки Умка.

Бокова
(иронически)

Созвездие!

Кавалеридзе

Ну, ничего. Довоюем на съезде.
Здесь у шамана имя как гимн.
А там прозвучит оно несколько тише.

Бокова

Стало быть, наша работа не зря?

Кавалеридзе
(кивая на Умку)

Еще бы! Такого, как он, бунтаря
Не сразу в патриархате отыщешь.
Я рад бы хоть десять шаманов иметь,
Только бы Умка Белый Медведь.

Бокова

Да? А что в нем такого?

Кавалеридзе

Величье!
При всей этой гуще его черноты
В нем, понимаешь ли, есть черты
Правдоискателя. Ни обычай,
Ни грозный закон, ни груды монет
Его не принудят сказать: «Нет!» —
Если он думает: «Да».

Бокова

Понимаю.

Кавалеридзе

Таких и зовем мы к нашей борьбе.
Ну, как там с чаем?

Бокова

Кайгуа, чаю!

Пауза

Арсен! А я... Я не в тягость тебе?

Кавалеридзе

Что ты! Напротив!

Бокова

Честное слово?

Кавалеридзе

«Ей-ей!» — как ты говоришь иногда.

Бокова

А я тебе нравлюсь?

Кавалеридзе

Нравишься.

Бокова

Да?

Кавалеридзе

Чуть-чуть резковата. Пожалуй, сурова.
В мировоззренье, пожалуй, скрип.
Но, в общем, вполне положительный тип.

Бокова
(улыбаясь)

Ну, а глаза мои? Мои губы?

Кавалеридзе

Ты очень красивая, Ольга. Но ты —
Белогвардейский тип красоты:
Богиня! А я мужичище грубый.

Пусть у Афины мудрость совы,
Отвагою пусть покоряет Диана,
А я люблю, знаешь, милый пустяк:
Вздернутый носик, полноту стана —
Не красоту, а «хорошенькость».

Бокова

Так,
Но женщины эти глупы, как пробки.

Кавалеридзе

Вздор! По-другому сие назови.
Конечно, когда говорят о любви,
Не важен вес черепной коробки.
Но тут обольщает — и даже весьма —
Особое обаянье ума.
Ну, как бы тебе объяснить это лучше...
Был я влюблен, как бог! И когда
За́ три года представился случай
И мне моя Греза ответила: «Да»,
Я чувствую: просто сердце горит!
Плачу... Смеюсь... (Такая громада!)
А Нинка обмякла и говорит:
«Так вам и надо! Так вам и надо!»

Бокова

Я то же сказала б. Ведь это — смеясь.

Кавалеридзе

Ты? Но ведь мы говорим не о нас.

Умка и Тинь-Тинь извлекли наконец пурпурного цвета патефон и завели бразильское танго с кастаньетами и бубенцами.

Бокова

Давай потанцуем, что ли?

Кавалеридзе

Могу-с,
Хотя мне за это Нинка и влепит.

Танцуют.

Прекрасная пара. Дама как лебедь.
И он водоплавающий. Только гусь.

Кайгуа вносит на блюде огромного вяленого лосося.

Бокова

Тебе хорошо со мной?

Кавалеридзе

В танце? Да!

Бокова

А вообще? Ты меня не боишься?

Кавалеридзе

Штучек твоих боюсь иногда.

Бокова

Какой ты сильный! Сплошные мышцы!

Танцуют.

Ты как-то мне снился.

Кавалеридзе

Ну? Это честь!

Бокова

Как будто бы мы целовались.

Кавалеридзе

Ишь ты!

Бокова

Сначала так... По обычаю... Трижды...
Ну, а потом!..

Кавалеридзе
(резко прекращая танец)

А потом будем есть!!

Бокова
(как бы из книги)

«Сказал он, почти умирая от страха...»

Кавалеридзе
(смеясь)

Да нет, я просто голоден.

Бокова

Вдруг?

Кавалеридзе

А что я кушал с утра? Один сахар?
А я ведь, сударыня, ем за двух.
Ох и рыбина! Кайгуа... Умка...
И эта... как бишь... Тинь-Тинь. Прошу!
Я сейчас съем всю эту баржу.
Жаль, нет водки. Постой! А где рюмка?

Бокова

Какая?

Кавалеридзе

Походная. Пусть стоит.
Без рюмки стол точно голый. Стыд!

Кайгуа

Эк имлилин?

Кавалеридзе

Чего?

Кайгуа

Ты пьющий?

Кавалеридзе

Не так чтобы очень, но с холода пью.
(Умке.)
А ты небось пьешь?

Умка

Ну да раньше пил пуще.

Кайгуа
(подавая тарелку)

Кушай, на!

Кавалеридзе

Very thank you.

Едят.

Умка

Советский люди ноу дают виски.
Только Америк дают виски.
Однако скоро будет виски.
(Встает и направляется в угол, где на гвозде висят два песца.)
Я выбирай пара песец.
Ладо́м песец... Какко!

Тинь-Тинь
(испуганно)

Хэй?

Умка
(яростно)

Минки рикукэт?

Кавалеридзе

Что это с ней?

Умка

Он це́лую руку дней висеть!
Я отбирай менять на виски!..
А ето что?

Тинь-Тинь
(потупясь)

Это ке́ле...

Умка

Ето ты!

Бокова

В чем дело?

Кавалеридзе
(смеясь)

Все это нас не касается:
Взяты два полярных зайца,
И к ним пришиты песцовые хвосты.

Бокова

Ей-ей?

Умка
(жене)

Аттын. The dog! Собака!
(Замахивается.)

Бокова

Но! Бить нельзя!

Кавалеридзе

Подожди, остынь!

Бокова

Зачем ты это сделала, Тинь-Тинь?

Тинь-Тинь
Мисс, я хотела... один рубаха,
Лампа...

Умка
(ругается)

Ака ляуль! Аттын!

Кавалеридзе

Правильно! Молодец Тинь-Тинь!
Ни в коем случае не пасуйте.
Она права!

Бокова

Безусловно права.

Кавалеридзе

Лампа-мампа, посуда-масуда —
Она хочет жить! У ней все права!
А ее муж, этот горький пьяница,
Этот кабан свинский,
Дает в мою лавку плешивого зайца,
Чтобы песца обменять на виски!
Тинь-Тинь! Не плачьте! Да-да. Ничего.
Я дам вам нитки. Я дам вам ситцы.
Полной ценой за лисицы.
Вот так всегда надувайте его.
(Хохочет.)

Умка
(гордо)

Silence! Умка, сын of Нэнэ,
Умный, как росомахи.
Он чует против моржовой стéны.
Како ветер размахивает.
Там, где проходит рушкий дурак,
Он слышит мышь с-под снега.
Он может в самый лютый буран
Куды хошь to drive, поехачь.
Его ни один исчо бог бурановый
Спутачь не может. Слабо.
Его ни один лукавый баба
Не может to cheat! Обмануват!
Что я? Попал на китовый тын,
А думаю: ето травка?
(Величаво.)
Я сам сказал мой милый Тинь-Тинь,
Чтоб он песец на советской лавка.

Кавалеридзе
(Боковой)

До чего ж самолюбие... М-м! Булавка.

Умка

Я сам сказал: недопёсок белый,
Пара песец and моржовый туш.

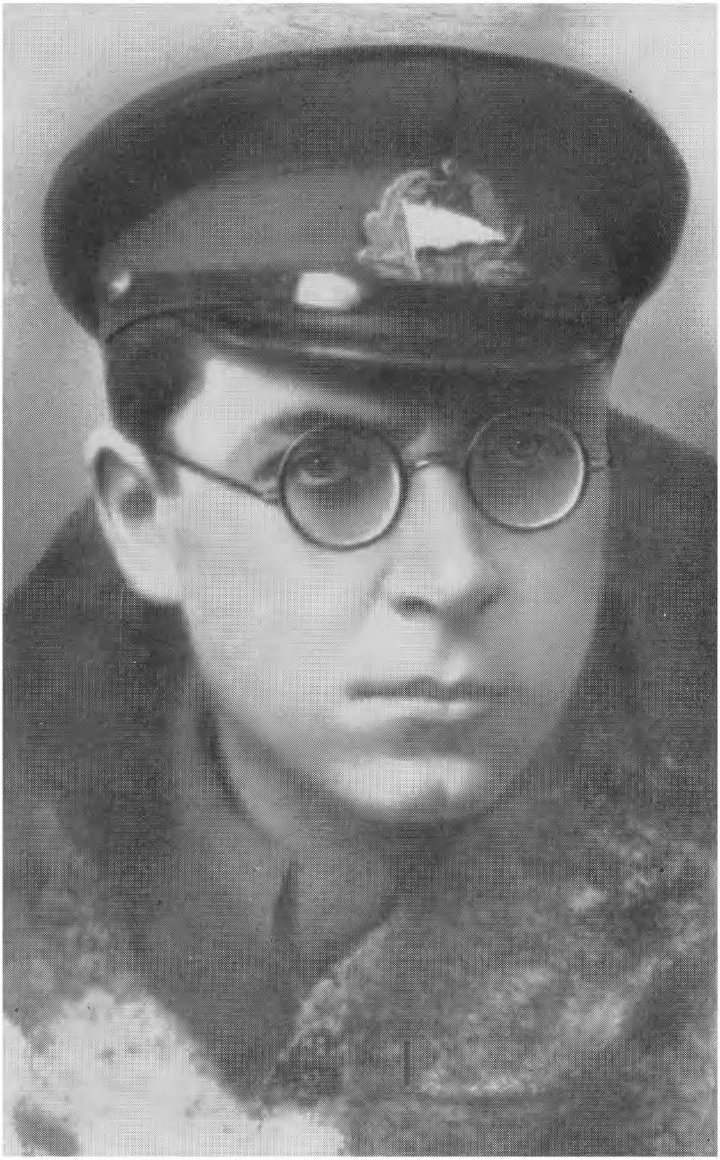
Кавалеридзе
(подмигивая)

А! Ну это другое дело!
Музыка играет туш.

Пауза. Все с увлечением едят.

Кайгуа
(вдруг)

Тумгын,
Тумгын
Кыт-кыт.
Камытва
Тумгын,
Тумгын
Ратта
Ньяутын.



1. Илья Сельвинский. 1933 г. Москва.

2. Высадка на необитаемый остров «Уединение» в Ледовитом океане во время похода ледокола «Челюскин». 1933 г.

Кавалеридзе

Что с ней?

Умка
(равнодушно)

Ето такой колдовство,
Чтоб ты не очень много ку́сал.

Бокова прыснула.

Кавалеридзе
(не без юмора)

Ах, так? Спасибо!

Умка
(обсасывая кость)

Он очень скусный.

Кавалеридзе

Да. Замечательно.

Умка
(любезно)

Кусай его.

Умка передает ему недогрызенную им кость. Кавалеридзе берет, мнется, глядит вопросительно на Бокову и затем осторожно трогает зубом, чтоб при первом удобном случае незаметно сунуть собаке.

Кок
(просовывая голову под полог)

Умка!

Умка

О, е́ттик![1] Виски ешчь?

Кок

Есть. А песцы?

Умка

Имею.

---

[1] С приездом! *(чукотск.)*

Кок

Ну, то-то.
Давай. Меня ждут. Только живо. Два счета.

Умка

This minute.

Кок

Шпарь!

Умка

А где твой вешчь?

Кок

Да вот же. Скорей. Там вся моя банда.
Я к тебе на минутный скок.

Умка
(подает ему мешок с зайцами, откуда торчат песцовые хвосты)

На!

Кок
(дает бутылку)

Держи.

Кавалеридзе
(прянув, как тигр)

Попался, кок!
Ты что ж это, а? Промышляешь контрабандой?

Кок

Пустите!

Кавалеридзе

Ну нет. Ты немного застрянешь.
А станешь шалить — приложим печать.
(Вынимает наган.)

Кок

Бросьте шутки. Я иностранец.
Вы будете отвечать.

Бокова

Не завирайся, белогвардеец!

Кок

Я кок с канадской шхуны «Индеец».
Вот у меня бумаги. Вы что?!
Мы там обитаем лет уже сто.

Кавалеридзе

Ну что ж. Тогда придется ответить
Вашей державе пред СССР.

Кок
(вырываясь)

Пустите!

Кавалеридзе

Дудки.

Кок

Пустите, сэр...

Умка
(величаво)

Товарис! Умка Белый Медведья
Имей этот мистер Бэйббл как гость.
Мой жира — его жира.
Мой кость — его кость.
Пушчи!

Бокова
(задиристо)

Еще что? Ворота пошире!

Кавалеридзе

Ты не понимаешь, о чем ты просишь.
Это государственный преступник.

Умка

Пушчи.

Кавалеридзе

Который год по Чукотке бродишь?

Кок
(истошно)

Спасите, чукотские вожди!!

Умка ударом ноги сваливает Кавалеридзе и бросается на него.
Кок вскочил и с минуту в растерянности глядит на Бокову.

Кавалеридзе

Ах, проклятый... Ольга! Бокова!
Держи!

Бокова бросается на Умку. Кок исчезает.

Да не Умку, а этого... Высокого...
(Сбрасывает Умку и выбегает наружу.)

Три выстрела один за другим.

Бокова
(быстро, Умке)

Друг! У тебя благородное сердце
И сильный, как ветер, ум.
Но русский — твой гость. Пусть он не сердится.
Будешь ему тум-гетум? [1]

Голос Кавалеридзе

Ольга!

Умка

А он до бабы охочий?

Голос Кавалеридзе

Бокова!

Бокова

Ну? Отвечай же. Короче.

Кавалеридзе
(вбегая)

Бокова, в путь! Скорее! Скорей!
Дома позавтракаешь...

Бокова

Я готова.

---

[1] Друг по жене *(чукотск.)*.

Кавалеридзе

Бери упряжку моих зверей
И марш на форпост. Прикажи Соловьеву
Телеграфировать в окружком,
Чтоб задержали шхуну «Индеец».
Живо! Одним прыжком!
Я на тебя надеюсь.
(К Кайгуа.)
А ты оставь свой роскошный стол.
Ты будешь править. Бери остóл[1].

Кайгуа
(ест)

Ладóм. Однако я скусаю блюдце.

Кавалеридзе

Некогда, некогда.

Кайгуа
(невозмутимо)

Блюдце, во.

Бокова

А мы не заблудимся?

Кайгуа
(смеясь)

Ницаво,
В тундре — не в городе. Не заблудися.

Бокова, за ней Кайгуа выходят на улицу. Вскоре слышен возбужденный лай собак, постепенно затихающий вдали.

Кавалеридзе
(присаживаясь к костру)

Ничего, ничего. Мы им сломим шею.
Прицепился к Чукотке, проклятый репей.

Тинь-Тинь

Товарис, Кауа-Риди-Тцеу!
Ты не серчай. А того краше — пей.

---

[1] Шест, служащий для управления при езде на собаках.

Умка

Пей, однако.
(Наливает ему в чашку виски.)

Кавалеридзе

А с этим типом
Я бы справился. Черт, удрал...
Но их поймают еще до утра!

Умка

Пей, однако.

Кавалеридзе

Ну что же, выпьем.
За дружбу!

Умка

За друзбу. Ты — я — вроде кум.

Кавалеридзе

Ага, кунаки?

Умка

Ето тум-гетум.

Чокаются и пьют.

Кавалеридзе

Тьфу! Да это ж вода!

Умка
(неопределенно)

Вода...

Кавалеридзе

Тебя надули.

Умка

Дули?

Кавалеридзе

Ну да!

Умка

Ноу. Не можно того. Ето виски.

Кавалеридзе
(смеясь)

Обыкновенное аш два о!!!
Ты не суди по вывеске.
(Хохочет.)
Хо-хо! Он ему... Ха... Водицы!
Пф... хи-хи... А главное — ты:
Ой! Песцовые хвосты!
Ай да купцы! Ай да традиции...
(Хохочет.)

Умка
(гордо)

Пошто смеёся? Неладно смеёся.
Ето ешчь виски. Very good!
(Пьет.)
Ты ешчь который на берегу.
Ты ето не знаешь! Ты не видал.
(Пьет и крякает.)

Кавалеридзе
(начиная сомневаться)

Дай-ка еще раз.
(Пробует.)
Пхо! Вода!
(Сплевывает.)

Умка
(упрямо)

Ето ешчь виски! Крепкий виски!
Карош марка. Ладóм английский.
(Пьет, симулируя опьянение.)

Кавалеридзе

Самолюбивое ты существо!

Умка

Ты погляди! Эй, паря, во!
(Хватает маленький бубен.)
Умка буяный! Умка пьяный!

(Бьет в бубен и поет, приплясывая.)
Эй! Эй! Эй! Эй!
Бурый кочка, повернись —
На Умку посмотри!
Белый скала, повернись —
На Умку погляди!
Бурый медведь, повернись —
На Умку посмотри!
Белый медведь, повернись —
На тезку погляди!
Эй! Эй! Эй! Эй!
(Отбросив бубен, ходит по яранге как молодой бог.)
Умка хитрый! Умка умный!
Умку баба не обмануват!
Умку матрос не обмануват!
Умка на лиса ходи,
Лиса Умку не унюхай!
Умка на рыркы ходи —
Рыркы Умку не унюхай!
Пошто смеёся? Неладно смеёся!

Кавалеридзе

Вах! Какой ты горячий! Садись.

Умка

Худой туварис.

Кавалеридзе

Последняя сводка?
Но я ж пошутил! Ты прямо садист.
Я сам теперь вижу: отличная водка...
За дружбу!

Умка

За друзбу!

Чокаются.

Кавалеридзе
(пьет и сплевывает)

Люблю пировать!
Но только устал я — за все свои тридцать.
(Идет устраивать себе постель.)
Вот этим накрыться...

Умка

Накрыца.

Кавалеридзе

Накрыться.
И вот мировая кровать.

Умка

Кровать.

Кавалеридзе

Кроватка имени Жюль Верна.

Умка

Наверно.

Кавалеридзе
(укладывается и смеется от счастья)

Ах, хорошо! Устал как собака...
Ты сказки знаешь?

Умка

Знаю, однако.

Кавалеридзе

Чукотские?

Умка
(утвердительно)

Ы-ы.

Кавалеридзе

И много?

Умка

Много. Одну.

Кавалеридзе

Давай.

Умка

Заснешь.

Кавалеридзе

Нет-нет, не засну.

Пауза.

Умка

Жил-был лиса.
Идет верх речки.
Стречил оходник,
Здоровал:
— Ждрашти, детка!
Ну, как ваш имя?
— Да имя Накочтя.
— Хочете, будем вместе жичь?
— Ладно, лиса.
Зовите медвезочь,
Я его буду
Стукать!

Пошел лиса
Низ речки.
Там есть медведья
Большо-ой.
Сказал лиса:
— Ну, ждраштуй, детка.
Ну, как поживаечи
С вашим рибом? —
А медведья отвечил:
— Ну, очень плохо,
Ну, скудно риба,
Ну, до ших пор
Никак не могу надоесться.

Сказал лиса:
— Идите же к нам
На верху речки —
Ну, неузели ви не слыхали?

Ну пошли вместе.
Оходник молчит.
Лиса говорит:
— Стукни!
Оходник стукнул
Большо-ой стрела

И вискочил от подранка в кедровник.
Вот и пропал медведья.
Лиса лукаво кричал, кричал:
— Ох ты, медведья,
Пошто ты, медведья,
Меня куса́ешь?
(А сама ето время
Кушал медвезочь,
Ну, сбросил мишку,
Покойного мишку,
Прямо в речку.
Только ки́шки запрятал.)
Лиса садился
На ети ки́шки,
Взял зубом конеч,
А под ножкою ки́шки.
Вот и выходит
Оходник Накочтя:
Нету медведья,
Только лиса гризочь свои ки́шки.

— Ви погризаечи ваши ки́шки?
— Я погризаю наши ки́шки.
Я больше этим питаюсь.
Ну, неузели ви не слыхали?

Оходник сказал:
— Вот я буду
Тоже сгрызачь
Наши кишки.
Только скудные зубы.
А лиса отвечал:
— Не бойся, детка,
Все одинарно.
Я вам буду ладо́м помогачь.

Вот лиса ухватился зубом.
— Ой, лиса,
Ето очень больно.
— Нет, ничего,
Ви, наверно, осыбли.
— Ой, лиса,
Туман на глаза.

Вот и пропал
Оходник Накочтя.
Вот и опячь
Лиса стал с мясой.
Вот и конеч.

Тишина. Кавалеридзе спит. Тинь-Тинь, загасив костер, подходит к постели мужа. Умка движением руки отсылает ее к Кавалеридзе. Тинь-Тинь упирается. Умка приказывает. Тинь-Тинь неохотно подходит к гостю, примащивается подле него.

Кавалеридзе
(очнувшись)

Ты что? С ума сошла? Иди к мужу!

Тинь-Тинь послушно возвращается.

Умка
(злобно)

Ходи туда...

Кавалеридзе

Ты што? Опять?

Умка
(грозно)

Ето ешчь тум-гетум! Мы два — одну душу.

Кавалеридзе

Ну нет. Это ты, дорогой, невпопад.

Умка
(взбешенный)

Гэк! Ты гнушаешься? Станешь спать ли?

Кавалеридзе

Что ты пристал? Загибщик! Тинь-Тинь,
Ступай себе... Ну! Кукашку накинь.

Умка

Пошто рушкие такие неприятели?

Кавалеридзе
(ужаленный)

Как — неприятели? Это уж бросьте!
Мы-то с тобой друзья? Друзья!
Я пил твою водку. Ел твои кости.
Но с женкой играть — не могу! Нельзя!

Умка

Можно!

Кавалеридзе

Друг. Это ты наобум.
Слушай: да разве хороший муж бы...

Умка
(свирепея)

Гыч! Гык! Ето ешчь тум-гетум!
За друзбу!!

Кавалеридзе
(с раздражением)

Да-да, за дружбу, за дружбу...
(Резко сворачивается в клубок, натянув на голову свою малицу.)

ЗАНАВЕС

АКТ ТРЕТИЙ

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Канадский барак. Кайгуа стоит у двери и покуривает из длинного чубука. Бокова возится у железной печки — жарит яичницу. Нина, небрежно развалясь на лежанке, лениво читает. Маляша играет на гитаре.

Маляша
(поет)

«Эх вы, песни, мои песни,
Мне от вас какая честь?
Все равно тоски-болезни
Вам из сердца не известь.
То ли в поле взять милочка,
Извести лихую грусть,
Подле стога темной ночкой
Целоваться наизусть».

Нина

Кстати, о ночке: где Кавалеридзе?
Есть у меня муж или нет?

Бокова
(ревниво)

Есть!
С этим придется уж примириться.
Садись, Кайгуа, будем есть.

Нина

Вам хорошо: одна агитатор,
Другая врач, погонщица третья,
А как быть актрисе? Ну как? Ответьте!
Где у вас тут театр?

Пауза.

Хоть бы ухаживал кто-нибудь, а?
Чуть-чуть... Без следствия и причины...
Но Пешкин урод. Соловьев не мужчина.
Хуже всякого забытья!
(Отбирает у Маляши гитару. Поет.)
«Лето оранжевой кожей
Ластится о плечо.
Вспомни меня, мой хороший,
Вспомни меня горячо.
Губы мои огневые,
Скользкие зубы мои,
Улицу, где впервые
С тобою встретились мы.
Набережную в Гаграх,
Камни в белой реке,
Руку мою, что на́ грех
Забыла в твоей руке.
Скалы в знойном застое,
Где ты возносил с высоты
Имя мое простое,
Будто названье звезды».
Девы! Хочу говорить о любви!

Бокова

Прóрвало?

Маляша

Говори, дорогая.

Нина

Ольга! Я знаю мысли твои.
Ты думаешь — «фифочка»? Нет. Я другая.

Бокова

Я так не думаю.

Маляша

Это ты зря.

Нина

Бросьте! Чем же вы хуже прочих?

Пауза.

Между нами, мальчиками, говоря,
Актриса-то я... с ноготочек.

Не быть мне, конечно, звездою экрана:
Мерцаю на сцене, как моль.
В «Горе уму» я княжну играла.
«Ах да! Барежевый!» — вот и вся роль.
Так я даже этого не смогла.
Сказала: *«пореже вы»*...

Смех.

Невозможно!
Но в жизни... О! Вот тут я художник.
Вернее сказать — была.

Бокова

Почему ж такое — была? Тебе сколько?

Нина

Дело не в возрасте, Ольга.
Noblesse-то oblige? [1] Во-первых, жена.
Во-вторых, жена коммуниста. В-третьих,
Вечно партийками окружена,
Вроде вас, грешных.

Каменват
(входя с дровами)

О, еттик!

Кайгуа

Еттик.

Нина

Так полегоньку да постепенно
Стала я точно бесформенный куль.
А я создана, как Венера,— из пены!
Мне нужен культ. Понимаете? Культ!
Ты кто? Бабенка! Волей Исуса
Женского рода. Так бог судил.
А женщиной быть — большое искусство.
Женщина — это стиль!
Пускай измышляет! Кружится! Вертится!
Вечно позировать. Вечно играть.
Женщина прежде всего артистка.
Альбом эскизов. Тетрадь.

---

[1] Положение обязывает? *(франц.)*

Вот, например, влюбляется птенчик,
Этакий робкий мерзляка.
С таким я играла по нотам Бальзака
Тридцатилетних женщин.
Другой, напротив, груб, беззастенчив.
Как дважды два, он вызубрил женщин.
С таким я девушка à la garçon:
Цинична, как Керзон.
Кем я только не была, боже! Кавальери,
Жанной д'Арк, Манон Леско...
Вы думаете, это легко?
Но зато как это ценят кавалеры!

Маляша
(усмехаясь)

«Кавалеры»?

Нина

А что?

Бокова

Да старо, как «ять».

Нина

К иной бы старинке не худо прорыться.
Не следует, милые, забывать,
Что кавалер — это рыцарь.
А где у нас рыцари? Входишь в трамвай,
И хоть бы кто уступил тебе место.
А скажешь — тут уж, pardon, не зевай:
Еще и на ту́фель наступит. Из мести.

Маляша

Ну, уж хватила. На кой ему месть?

Нина

Да речь не об этом.

Бокова

Ага. На попятный?

Нина

Речь о большом. Равноправие есть,
А культа женщины нет. Понятно?
Без этого ж культа нет красоты!

Бокова

«Сказала она зловеще»...

Нина

И вообще, я хочу быть вещью,
Как мех! Как жемчужина!

Маляша

Вещью? Ты?

Бокова

К чему это?

Нина

Ах, опять непонятно?
А чтоб меня холили, берегли,
Чтоб похищали меня корабли,
Чтоб стыли на саблях кровавые пятна
И труп дуэлянта скрывала метель!

Маляша

Господи!

Бокова

Это, милая, поза!
Ты, брат, кораблик, попавший на мель.

Нина

Что ж. Лучше поза, чем проза.

Пауза.

Маляша

Кофе хотите?

Нина

Нет.

Бокова

Весьма.

Каменват подходит к Боковой.

Каменват

Не прочитаешь ли это... письма?

Бокова
(взглянув на адрес)

Это что, мне?

Каменват

Тебе.

Бокова

От кого?

Каменват

Ну да прочтешь — узнаешь.

Бокова
(пряча письмо)

Спасибо.

Каменват

Сейчас читай. Есть один разговор.
Вполне генеральный: либо или либо.

Бокова удивленно вскрывает конверт. Читает.

Бокова

«Блеснет завтра луч денницы,
И заиграет яркий день.
А я, быть может, гробницы
Сойду в таинственну тень.
И память юного поэта
Поглотит медленно лето»...
Не лето, а Лета — река забвенья.

Каменват

Дальше читай.

Бокова

«Сердешный друг, желанный друг,
Приди, приди — я твой супруг».
Так. Ну, и что же?

Каменват

Какой ответ?

Бокова

Ответ? За грамматику двойка с плюсом.
За почерк...

Маляша

Слишком строга, мой свет!

Нина

Да-да, Каменват — это мальчик с пульсом.
Я бы ему поставила три.

Бокова

Может быть, все двенадцать? Смотри:
Ни единого мягкого знака.

Каменват

Не важно.

Бокова

Ах, так?

Каменват

Не важно, однако.

Бокова

Зачем же советоваться с врачом?
Учительница! Образумь Каменвата.

Каменват
(резко)

Мягкие знаки совсем ни при чем.
Дай ответ: пойдешь за меня ты?

Бокова

Как — пойдешь? Куда?

Каменват

За меня.

Маляша

Замуж, что ли?

Каменват
(утвердительно)

Ы-ы.

Бокова
(тихо)

Умираю...

Маляша

Тсс... Не смеяться...

Каменват
(торжественно)

Чукотскому краю
Нужны твое и мое имена.
Я буду вскорости членом рика.
Мой бас буде крепче моржового рыка.
А ты — ты самый ударный шаман.
Ладо́м ведешь ворожейное дело.
За много морей, пургу да туман
Сдуваешь духов, которые в тело.
Ты можешь бутылку с водою взять,
И даже не из ключа, а горячей,
И класть на брюхо — и старая мать
И так же детка — больше не крячет.
В етом письме всего того нет.
Ето письмо от друга.
Здесь только об том, что «любил», что «супруга».
И ето есть правда. И дай ответ.

Бокова

Видишь ли...

Маляша
(умоляюще)

Ты помягче, Ольга!

Бокова

Конечно, это большая честь.
И я польщена.

Каменват
(с надеждой)

Ето правда есть?

Бокова

Но видишь ли... Объяснять это долго.
Мы разной культуры, товарищ.

Каменват
(резко)

Нет.

Бокова

Я доктор, а ты зверолов.

Каменват

Студент!

Бокова

Так что, друг. Извини, пожалуйста,
Но — тут уж не может быть ничего.

Каменват

Ето напрасно. Имею галстук.
И зубы мою. И уши — во!
И счет могу до самого триста.
И знаю, что пролетарий — хорош.
И что землица ето... вертится.

Маляша

Бедный парень.

Каменват

Пошто не хошь?
Нешто мне только и свет что охоты?
Эх ты, лютая!

Бокова

Что ты, что ты?

Каменват

Бескультурная. Тьфу!

Бокова

Наглец!

Каменват вышел, хлопнув дверью.

Маляша

Тише...

Бокова

Пораспустили их!

Маляша

Тихо!

Бокова

Пусть за него выходит китиха.

Маляша

Оля!

Бокова

Я человек, наконец!

Маляша

Пей, Кайгуа. Не жди Каменвата.

Кайгуа

Он осерчал, однако.

Маляша

Да, да.
Девушки, кофе! Живо, сюда!
Нина!

Нина
(раздумчиво)

Как это чисто и свято...
Он не за губы ее полюбил,
Не за ресницы, что крашены синью...
Он видел в ней чаровницу. Богиню.
Волну загадочных сил.
Его и пленила в ней эта тайна.

Маляша

А как он искал у Пушкина слов...

Нина
(улыбаясь)

Ария Ленского... Нежный зов...

Бокова

Спасибо, что не письмо Татьяны.

Нина

Тигрица!

Бокова

А что! Вполне могло быть!
(Копируя чукотский акцент.)
«Я вам пису — цаво зе боле...»

Маляша

Эх, никакой в тебе лирики, Оля.

Бокова

Хватит! Давайте уж кофе пить.

Все молча усаживаются за стол. Пьют молча.

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Канадский барак. Каменват сидит над гроссбухом. Соловьев, стоя лицом к стене, готовится к речи. Нина, Маляша, Ольга.

Соловьев

«Товарищи чукчи! Приветствую вас
От имени комсомола!

Пауза.

Я должен сказать, что радиосвязь
В глазах шаманов считается крамолой,
Но это, товарищи...»
Нет, не так.
(Начинает с начала.)
«Товарищи чукчи! Приветствую вас
От имени комсомола!

Пауза.

В стране, где нету приличного мола,
И горной местности, так сказать, фас
С древних времен...»
Снова не так.

Маляша

Вася.

Молчание.

Вася!

Молчание.

(Зовет, как собачку.)
Вась-Вась-Вась...
Давай составлю.

Соловьев

Нет уж. Я соло.
«Товарищи чукчи! Приветствую вас
От имени комсомола!»

Пауза.

Маляша
(подталкивая)

Ну-ну.

Бокова
(иронически)

Дай отдохнуть: устал.

Соловьев

Я попросил бы не издеваться.

Маляша

Никто не издевается.

Бокова

Зачем же ты стал?

Соловьев
(важно)

На этом месте будет овация.

Хохот.

«Товарищи чукчи! Приветствую вас
От имени комсомола!

Пауза. Снова хохот. Женщины иронически аплодируют.

В лесу, который, «тайгою» зовясь,
Дает скипидар и всякие смолы —
И снег лежит подобием ват,
Вдруг — радио!»

Нина
(читая книгу)

Вот тоска-то!

Входит Кавалеридзе, за ним — чукчи.

Кавалеридзе

Входите, товарищи делегаты!
Каменват! Где Каменват?
А-а, Маляша! Где твои люди?

Маляша

Спят в бараке.

Кавалеридзе

Сколько их?

Маляша

Три!

Кавалеридзе
(раздеваясь)

Очень хорошо. А где Пешкин?

Маляша

Будет.

Кавалеридзе

Как? Его еще нет? Смотри,
Столько дней!

Маляша

Да ведь путь-то труден.

Кавалеридзе

Ах, оставь: это просто трутень.
Бокова, телеграмму дала?

Бокова

Будь спокоен.

Кавалеридзе
(Соловьеву)

Как дела?

Соловьев

Слон напал на пешку Е-7.

Кавалеридзе
(комически)

Не мож-жет быть!

Соловьев
(опешив)

А что им ответить?

Кавалеридзе

Пусть нападает. Я его съем.

Соловьев

А пешку не жалко?

Кавалеридзе

Пешку на ветер!
Так Пешкина нету? Тце... Каменват!
Что я хотел?

Нина

Барбарис Виноградыч!
Почему не здороваетесь?

Кавалеридзе

Виноват!
Я так замотался. Прости, моя радость.
(Целует ее в голову.)

Бокова
(тихо, Умке)

Ну как? Состоялось ге-неу-тумге? [1]

Умка
(утвердительно)

Ы-ы.

Бокова

Это очень правильно, Умка.
Отныне вы с ним как братья. К тому ж
Теперь ты Нинке тоже как муж.

---

[1] Обычай обмена женами.

Кавалеридзе
(возвышая голос)

Я в третий раз говорю: Каменват!

Каменват

Ну?

Кавалеридзе

Проводи гостей в общежитие.

Каменват
(обращаясь к делегатам)

Миндылькельмык![1]

Умка

Ето им скажите,
Я не иди. Я тут вроде брат.

Кавалеридзе

Ты хочешь быть здесь?

Умка

Наверно.

Нина

К чему это?

Умка

Я — тум-гетум.

Кавалеридзе

Мы с ним кунаки.

Нина

С ни-им?

Кавалеридзе

Пожалуйста, нэ атакуйтэ!
(В бешенстве хватает шапку.)

Нина

Куда ж ты? Постой! Хоть парку накинь!
Ты ведь кашляешь! Ах, проклятый!

Кавалеридзе выбегает.

---

[1] Пойдемте! *(чукотск.)*

Ушел... Ох, эти мне делегаты...

Пауза.

Где ж мы ему постелим?

Бокова

А тут.

Нина

А мы?

Маляша

А вы за перегородкой.

Нина

Уже вы помогите...

Бокова
(смеясь)

«...сказала она кротко».

Маляша

А в чем помочь? Подумаешь, труд.
Один двуспальный кукуль — и точка!

Нина

Пойдем принесем?

Бокова
(сама вызвавшись)

Айда.

Идут к выходу, обнявшись.

Нина

Ты славная.

Бокова

Будто?

Нина

Хорошая.

Бокова

Точно?

Нина

Мне с тобой как с гуся вода.
Я люблю таких женщин. Ей-богу. С детства.
А я... Я такая противная, дерзкая...
(Целует ее.)

Выходят, смеясь.

Маляша

Ну, как дела у тебя?

Умка
(утвердительно)

Дела.

Маляша

Кого у вас выбирают, кстати?
Неужто шаманов? Вот не ждала!

Умка

Ладóм выбирают. Я присидадиль.

Маляша
(вздохнув)

Ну, это, положим, еще вопрос.
Выборы-то ведь завтра.
Ты парень хороший. Да больно прост.
Чайвуургын похитрее. Правда?
У него ситец, сахар, абсент.
Дал небось каждому чукче по пуду.

Умка

Я присидадиль — сказал Арисен.
А раз сказал — вот и буду.

Голоса. Входят Нина, Кавалеридзе и Бокова.

Нина
(ласкаясь к мужу)

Ах, ей-богу, чудак!
Я вся молчу, а он шапку набок.

Кавалеридзе
(шутливо)

Поскольку я понимаю в бабах,
Уже начиналось «кудах-кудах».

Нина
(повышая голос)

Поскольку я понимаю в бабах,
Ты стал неуютным, как монумент.

Кавалеридзе

Нина! Сейчас исторический момент,
Мы строим в Арктике социализм.
И с кем? Где наши кадры? Вот!
(Умке.)
Ну что? Как дружба? Живет?

Умка
(серьезно)

Зивот.

Кавалеридзе
(глядит на него задумчиво)

Да-а... Покажи такого столицам —
Ведь не поверят, а? Не так?
А это наш будущий председатель.
Фигура! Глава китовых ватаг.
Дайте книги, культуру дайте,
И это будет — даю вам слово —
«Гигант на бронзовом коне!».

Маляша
(постлав шкуры)

Ну вот.

Нина

Очень низкое изголовье.
(Поправляет.)

Кавалеридзе

Спи, дорогой, спокойно.

Умка
(отрицательно качает головой)

Не!

Нина

Захочешь чаю — возьмешь из бака.
Чашки вот тут. А это — крем.

Кавалеридзе

Ясно?

Входит Тинь-Тинь.

Тинь-Тинь

Умка!

Умка
(отмахиваясь)

Карэм-карэм...

Тинь-Тинь

Миндылькельмык!

Умка

Карэм!

Тинь-Тинь

Собака!
(Убегает.)

Маляша

Куда же вы? Тинь-Тинь! Оставайтесь здесь!

Бокова

Обиделась.

Кавалеридзе

Ну?

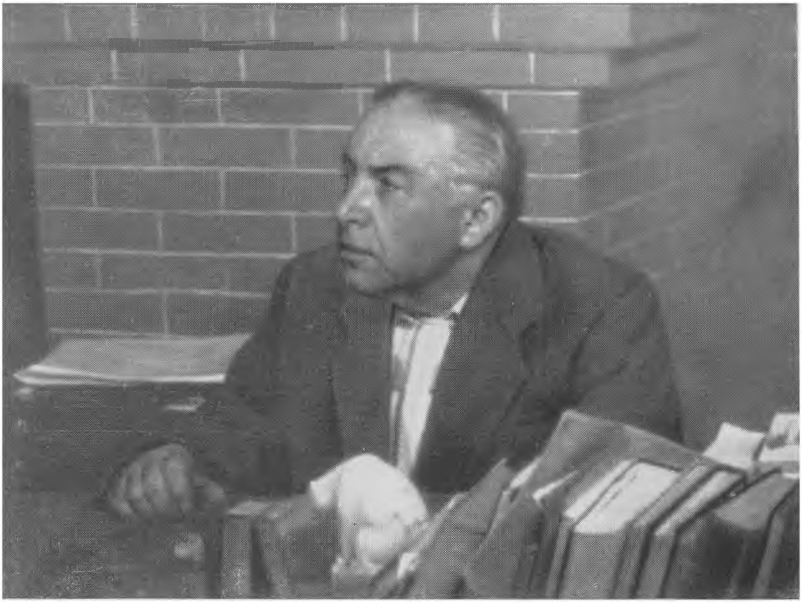
Нина

У них тоже спесь?

Кавалеридзе
(Умке)

Ну что ж. Повидай во сне баобаба
И в ту же минуту обратно катись,
А то опоздаешь!
(Увлекая всех на другую половину.)
Братва, сократись!

3. Илья Сельвинский после возвращения из экспедиции на «Челюскине». 1934 г. Киев.



4. Илья Сельвинский. 1967 г. Переделкино.

Умка
(зычно)

Ноу! Я буду спи с твой баба.

Маляша

Что-о? Перекрестись!

Умка наивно крестится.

Кавалеридзе

Умка! Что с тобой? Тце-тце-тце... Я бы
Так бы с другом не рассуждал...

Пауза.

Умка

Однако пошто ты спал с мой баба?

Нина

С кем?

Умка

Тинь-Тинь.

Бокова
(громко)

Вот так скандал!

Пауза.

Нина

Ты? С Тинь-Тинь? Ольга, ты слышишь?
Маляша, а? Он мне изменял!
Господи боже мой!

Кавалеридзе

Тише-тише.

Нина

Вон! Вон! Не касайся меня!
Тинь-Тинь! Это пугало! Старше столетних!
Нет! Невозможно...

Бокова

Какой скандал!

Нина

Почему ж ты мне сам ничего не сказал?

Кавалеридзе
(шутливо)

Ах, дорогая! Но я ж не сплетник!

Нина

Молчи, негодяй!

Кавалеридзе

Ну, Нинок... Ниночек...

Нина

Молчи, говорю! Не беси меня! Хам!
Сколько я тут бессонных ночек...
Думала: бедненький! Как-то он там?
Волки кругом... Враждебные классы...
А он себе вон как там развлекался!
Я тебя вижу во всей красе!!
Не притворяйся! Ты... ты как все!
Слышишь? Как все!!

Маляша

Ну, ладно... Будет...

Нина

Что со мной будет? Что со мной будет?
(Хватает шубу и бежит.)

Кавалеридзе

Стой!

Нина

Убирайся...

Кавалеридзе

Стой, ни с места!

Нина

Ты еще смеешь...

Кавалеридзе

Молчать!
Просто противно. Ты стала мельчать...

Можешь готовить любое возмездье.
Можешь меня застрелить во сне.
Знаешь: браунинг под подушкой.
Но не теряй лица! Дай-ка ушко
(Ты похожа на ведьму в этой возне).
Сядь. Напудрись. Где ее сумка?
Так...
Товарищи! Как же быть с Умкой?
Ведь я для него — Советская власть...

Маляша

О чем же ты думал раньше?

Кавалеридзе

Когда?

Маляша

А вот когда стал его тум-гетумом.

Кавалеридзе

Ничего я не знал. Ничего не думал.

Бокова

Ага. Покупал в мешке кота?
А? Подписывал брачный контракт,
Юридический акт обычного права,
И ни о чем не думал? Браво.

Нина
(сквозь слезы)

Ну, а Тинь-Тинь?

Кавалеридзе

Тинь-Тинь — это так...
Если бы после потопа при Ное
В мире остались бы только двое:
Я и она,— то в мире таком,
Клянусь, я умер бы холостяком.

Бокова
(запальчиво)

Тинь-Тинь хорошенькая. Ты врешь!

Маляша

А я ему верю.

Нина

Серьезно?

Маляша

Верю.
И ты ему веришь. И делу-то — грош!
Но как втолкуешь вот *этому* зверю?
Он-то по-своему прав!

Бокова
(с исключительно четкой дикцией)

Итак,
Выход один: соблюдать контракт.

Кавалеридзе

Что... Что ты хочешь этим сказать?

Бокова
(бледнея)

Если нельзя отступить назад,
Надо идти вперед.

Кавалеридзе
(бледнея)

Это линия.
Ну, а конкретно?

Бокова

Я думаю... Нине...
Придется чукче... принадлежать.

Маляша

Что ты? Опомнись!

Кавалеридзе
(задохнувшись)

Полегче, сударыня!

Бокова

Я не сударыня.

Кавалеридзе
(грозя пальцем)

Ты смотри!

Бокова

И смотреть нечего. Время ударное.
Место — тоже не Рим, не Мадрид.

Кавалеридзе
(решительно подходит к Умке)

Умка, я тебе друг?

Умка

Друг.

Кавалеридзе

Так знай: у русских не делят подруг!
Мы можем делиться едушкой, монетой,
Но женкой? Такого обычая нету.
Постой! Ты не чета дикарю...
Ты видишь... Я сам... Сам себя я корю...
Я верю: ты парень большого масштаба...
Не тронь мою Нину... Прошу тебя, друг!
Я сделал ошибку... Я сознаю...
Не тронь мою Нину... Нину мою...

Умка

Пошто, однако, ты спал с мой баба?

Кавалеридзе
(отчаянно)

Умка! Ты парень свой! На!
Бери мою трубку. Из винограда.
Бери. Не важно. Скоро весна.
Уеду — а дома мне трубки не надо.
На! Но не трогай Нину...

Умка
(отрицательно)

Карэм!

Кавалеридзе

Что ты?

Умка

Ноу.

Кавалеридзе

Ты не хочешь? Зачем?
Смотри, чудак: ведь это же редко,
Чтобы встречалась такая ветка.
Это ж музейная вещь! Раритет!
Это наследие моего предка.
Ей, наверное, семьдесят лет.
А? Ты же так мечтал о ней. А?
Бери-бери. Не стесняйся. На!

Умка
(хищно)

Умка хитрый, Умка умный,
Умку лиса не обманыват,
Умку баба не обманыват.
Пошто трубка? Едешь домой,
Всё одинарно — трубка мой.

Кавалеридзе в отчаянии хватается за голову.

Бокова

Черт! Ничего не видала гнусней!
Зачем-то падать пред ним на колени,
Совать ему трубку... Нина! Ей-ей!
Ты ж молодежь моего поколенья —
Преобрази же позор в торжество!
Будь героиней! Честное слово...
Ты человек еще, может быть, не новый,
Но уже цитата из него.

Кавалеридзе

Замолчи! Слышишь?

Нина

Да что я вам? Вещь?

Бокова

Умка в нас потеряет веру.
Но ты ведь актриса! Попробуй провесть
Роль Изабеллы из «Меры за меру».

Маляша

Ты что? Издеваешься?

Бокова

Я? Нисколько!

Маляша

У-у, тигрица!

Кавалеридзе

Маляша... Ольга...
Вы меня знаете. Я силен.
Но я растерялся. Ольга... Маляша...
Что ж это, а? Вы поймите: ведь я же
Столько тепла ему дал, а он...
А он надо мной как хищная птица!
А может, он прав? Я как в чаду.
Чужое горе рукой разведу —
К своему же не знаю, как подступиться.

Нина
(решительно)

Дай револьвер! Слышишь? Арсен!

Входит Соловьев.

Маляша
(бросается к Нине)

Ты что? С ума?

Нина

Это будет выход.

Бокова

Не выношу истерических сцен!

Кавалеридзе

Да замолчите вы хоть!!

Нина

Дай револьвер... Только смерть. Смерть!

Соловьев

Товарищи! Там собирается митинг!
(И вдруг застыл.)

Кавалеридзе

Вася! Друзья! Прошу — помогите...
Придумайте что-нибудь...

Нина
(хватаясь за его кобуру)
Дай!

Кавалеридзе
Не сметь!!
(Отшвыривает ее. Она падает, бьется в рыданиях.)

Тяжелая пауза.

Умка

Пошто плакачь? Must not плакачь.
Неладно горькое тут.
Никто хочу тебе делай пакошчь.
Тэн нге́ускет [1],
Ладный деуска,
Good.
Хозяин — он ешчь большой of больши́х,
Но баба for Умка дарить не умеет:
Тут сама баба язык имеет —
Всё одинарно — мужик.
То ворон, который на падаль — карр!
А я понимай. С умишка не спятил.
Я не какой абы чо дикарь:
Умка во: присидадиль!!

ЗАНАВЕС

---

[1] Хорошая девушка *(чукотск.)*.

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Огромная яранга, специально выстроенная для съезда.

Мещерский
(обращаясь к Кавалеридзе)

Ваша супруга и врач сообщили,
Что вас надлежит отправить на юг.
Как раз сейчас завершает круг
Последний корабль осенней флотилии.
Он задержался в бухте Евлампия
И отойдет в семь тридцать.
Так что, товарищ Кавалеридзе,
Чистосердечно советовал вам бы я
Взять собак и...

Кавалеридзе

Товарищ Мещерский!
Уехать никак не могу.
Дела не пускают.

Мещерский

Я помогу.

Кавалеридзе

К чему? Я здоров. Соловьев! Это мерзко!

Соловьев

Что?

Кавалеридзе

Почему ты мне не сказал,
Что тайно послал в окружком телеграмму?
А?

Соловьев

Да я...

Кавалеридзе

Посмотри в глаза!

Маляша

Он здесь ни при чем. Это я... Это я ему...

Пешкин

Пора начинать.

Кавалеридзе

Пожалуй.
(Соловьеву.)
Звони!

Соловьев вылезает наружу и звонит в маленький колокольчик. На звон медленно входят Чайвуургын, Ояда, Умка, Тинь-Тинь, Каменват, Бокова, Нина и чукчи-делегаты.

Бокова

Арсен!

Кавалеридзе

Ну?

Бокова

Арсен, извини.

Кавалеридзе

В чем грешна?

Умка
(проходя мимо)

Здоровал?

Кавалеридзе
(улыбаясь)

Здорово!

Бокова

Я виновата. Но, честное слово,
На месте Нины я бы, ей-ей,
Сделала, как говорила ей.

Кавалеридзе

Ах, вот ты о чем!

Бокова

(тихо)

Меня это мучает.
Ты понимаешь? Но я такова.
Я посчитала это за лучшее,
А у меня что дела, что слова —
Разницы нет. Конечно, счастье,
Что все обошлось, как обошлось!
Но я б себе душу изгрызла на части,
А сделала б так! И без всяких слез!

Кавалеридзе

Странная девушка.

Бокова

Странная?

Кавалеридзе

Мда-с.
Ты ж подошла мириться со мною.
И вдруг издеваешься над женою...
В древности был такой царь — Мидас.
Чего ни коснется этот товарищ,
Все превращается в злато. А ты —
Мидас наизнанку! Мидас черноты!
К чему ни притронешься — дым пожарищ.
(Отходит от нее к группе Мещерского.)

Бокова

(вдогонку)

Арсен Николаевич!

Кавалеридзе

Дым, дым...
(Пешкину.)
Как твой район?

Пешкин

Четыре «ным-ным» [1]
Выбрали трех пастухов и шамана.

---

[1] Деревня *(чукотск.)*.

Кавалеридзе

Давайте без мистики только, братва!
Колдун душою — небесная манна,
И все-таки божья тварь.
Значит — дух у него внутри,
А дух можно вышибить.

Смех.

Пешкин

Время, время!
Граждане! Быстренько! Раз-два-три!
Соловьев! Каменват! Займитесь вон теми.

Кавалеридзе

А ты все печалишься, Бокова!

Бокова

Да?

Кавалеридзе

Не смотри на мужчин в таком мрачном свете.
Умка сорвался? Ну, не беда.
Выйдешь просто за белого медведя.

Бокова делает негодующий жест.

Обиделась?

Бокова

Больше невмоготу!

Кавалеридзе
(примирительно)

Но, Олечка... Я же...

Бокова

Ты грубый! Дерзкий!

Мещерский

Арсен Николаич!

Кавалеридзе

Иду, иду.
Слово имеет товарищ Мещерский!

Мещерский

Позвольте первый районный съезд
Трудящихся чукчей считать открытым!

Русские аплодируют.

Сияние этих арктических звезд,
Этого моря полярный ритм
Я наблюдал еще в те года,
В ту полночь жандармских репрессий, когда
Двуглавье российского цезаризма
Ссылало сюда беззаветных борцов
За дело народа. Иван Суровцов,
Мицкевич, Янович, Антонов, Крицман...
Ваши отцы еще помнят их.
Они пришли из краев глухих,
Таких, как Санкт-Петербург хотя бы,
Где властвовали палачи да сатрапы.

Нина
(тихо)

Хоть бороду бы к совещанью остриг.

Пешкин

Кругом старомоден.

Кавалеридзе
(взволнованно)

Могучий старик!

Мещерский

Помнится поле... Закат зачах...
Виселицы чернели...
Мой брат качается, весь в грачах,
И снятся ему качели.
Сверстники мчались на девичий зов,
Дышали свежестью вешней...
А мы? Даже в маятнике часов
Нам чудился повешенный.
И что же в тундровой этой пыли
Мы, сосланные, нашли?
Ту же смерть. От того же удушья.
Но дух наш не одолела стужа!
И наших могил деревянный плюс
Означал не Христа, а статистику гибели.

Нет! Не напрасно мы в Арктику прибыли.
В мощном восстанье рабочих блуз
Есть дуновенье и нашего духа.
И мы не расстанемся с вами впредь!
Будем отныне держаться друг друга,
За общим хозяйством будем смотреть!
Ведь мы ж для того-то и собрались,
Оленеводы и зверобои,
Чтоб возвести, как древнюю Трою,
          В Арктике социализм.

Русские аплодируют.
Маляша на гитаре играет «Интернационал».

Соловьев
(запыхавшись)

Товарищи чукчи! Приветствую вас
От имени комсомола!

Пауза.

Товарищи чукчи! Советская власть...
Товарищи чукчи!

Кавалеридзе

Короче.

Соловьев

                              Связь...
Она при резком отсутствии мола,
При общем внимании... факта к зверью...
Факта...

Маляша

          Ну!

Мещерский

Формулу дайте.

Пешкин

Лозунг, лозунг!

Соловьев

Факта...

Нина

Вот дятел!

Пауза.

Соловьев
(с тихим ужасом)

Арсен... я забыл, про что говорю...

Кавалеридзе
(зычно)

Комсомольцы приветствуют съезд и президиум.
Они надеются, что молодняк
Свяжется с ними на этих же днях!
Товарищ Каменват, переведите им.

Каменват

Камчамол привэткэн съезд коль прежидиум.
Тургин орачикит ныетынэт мурик,
Руссилит тумгу ратваныт турик[1].

Мещерский
(Кавалеридзе)

Это лучший оратор молодого поколения?

Маляша
(Соловьеву)

Так тебе и надо: вперед не гордись!

Кавалеридзе
(оправдываясь)

Весь комсомол кочует с оленями —
Остался один радист.

Мещерский

Позвольте считать торжественную часть
Законченной. Наше собранье
Переходит к насущным делам. Сейчас
Слово имеет товарищ Ванина!

---

[1] Пусть ваша молодежь присоединится к нам, и русские вместе с вами будут товарищами *(чукотск.)*.

Маляша
(откашлявшись)

Нужно избрать чукотский рик,
С тем чтобы чукчи правили Чукоткой.
Избран может быть парень, старик,
Старуха или молодка.
Мы предлагаем с своей стороны
Каменвата и Умку Белого Медведя.
От русских же будет Мещерский. Он третий.

Ояда

А Джордж?

Каменват

Шаманы устранены.

Маляша
(громко)

Кто согласен — пусть подойдет
И приложит палец к этой бумаге.

Молчание.

Кавалеридзе

Ну что же вы?

Пешкин

Кто голосует, тот
Приложи палец!

Никто не двигается.

Нина

Что за ломаки?

Кавалеридзе

Товарищи чукчи! Время не ждет:
У нас еще сделка на тысячу малиц.

Соловьев

Давайте! Давайте!

Маляша

Кто «за» — тот
Выйди и приложи палец.

Молчание.

Умка

Ну, кто-то? Чукчи! Кто хочет почать?
Ето... палец — печать?

Пауза.

Чайвуургын

Погодка стоит.

Нэнэ
(поддакивая)

Однако стоит.

Чайвуургын

Снег повысох.

Нэнэ

Однако повысох.

Ояда

Солнце нынче все в рукавицах.

Коравий

Ладо́м погодка.

Чайвуургын

Охотник сыт.

Ояда

Сыт. И пастух идет на покой:
Где нынче ягель, олень-то знает.
(Покуривает.)

Кавалеридзе

Что это значит?

Мещерский

Обычай такой.
Сразу дела не начинают.

Кавалеридзе

Ага. Ну-ну.
(Подходит к чукчам.)
Так ладо́м погодка?

Аттыкей

Ладóм.

Кавалеридзе

Кайвэ. На, закури.

Аттыкей

Ого. Карош.

Кавалеридзе

Только день короткий:
Два шага от зари до зари.

Коравий

О yes.

Кавалеридзе

А какая же ночью охота?

Нэнэ

Худая охота.

Кавалеридзе

Худая.

Коравий

О yes.

Кавалеридзе
(мечтательно)

Вот бы, чукчи, кабы полгода
Можно бы, не охотясь, есть!
Утром встали — пуржисто, морозно...
А вы себе — как в берлоге медведь!

Чайвуургын

Неможно того.

Кавалеридзе

Почему? Можно.
Рик для этого надо иметь.

Чукчи насторожились.

Аттыкей! Это ты огонек, что ли, высек?

Дай прикурить.

(Прикуривает; затем испытывая терпение чукчей, оглядывает пейзаж.)

Замечательный вид!
Так снег, говорите, повсюду высох?
Да уж. Ладо́м погодка звенит.

Кирик
(нетерпеливо)

Однако, туварис, дале, дале!

Кавалеридзе

Зачем торопиться, товарищ Кирик?
Да, так о чем мы с вами болтали?

Реумреу

Про рик.

Кавалеридзе

Ага. Так вот, значит, рик.
Ведь как вы живете? Никто на свете
Так не ведет свой дом.
К примеру, Умка убил медведя —
А все садятся и жрут.

Ояда

Ладо́м!

Кавалеридзе

Совсем не ладо́м. Пока еще лето —
Все на охоту. Не он один.
Добычу на склад, а зимою за это
Будете сыты, как Чайвуургын.

Соловьев

Может, и посытее даже.

Кавалеридзе

Вот. А для этого нужен рик:
Править охотой, куплей, продажей,
Спокойно. С умом. Не на крик.
Что же касается чукчей оленных,
Здесь, товарищи, то же. Притом —
Москва дает, сколько нужно, денег.

Чтобы
снабдить
бедняков
скотом.
Вы сами составите нужный список.
Никто, я надеюсь, не будет забыт.
Конечно, снежок по низинам высох
И очень ладо́м погодка звенит,
Но мы обращаемся к Чайвуургыну
С просьбой продать нам несколько стад.
А пастухи всю эту скотину
Между собою поразместят.

В аудитории движение.

Коравий

Ы-ы.

Аттыкей

О yes.

Реумреу

Это карош!

Кавалеридзе
(Чайвуургыну)

Итак, они купят все ваше стадо!
Не будем цепляться за каждый грош.
К черту погодку! Сколько вам надо?

Напряженная пауза.

Ояда

Великий шаман Мелутэт Заяц
(Песцовое имя ему — Миколай)
Сказал: «Продавать оленя нельзя есть!
Бог Коренваыргын не позволяй!»

Пауза. Большевики мгновенно собираются вокруг Кавалеридзе на маленькую летучку.

Чайвуургын
(Нэнэ, тихо)

На русских, видать, налетел тайфун,
Но этому срок недолгий;
Скорей езжай в олений табун.
Разгони его. Скажем — волки.

Нэнэ покорно подтянул пояс, надел маленькие лыжи и двинулся к тундре. Но Кайгуа наблюдала за ним издали.

Кайгуа

Атэ!

Нэнэ

Ты!

Кайгуа

Не ходи, атэ!

Нэнэ

Ето недолго. Тут короток путь.

Кайгуа

Будь со мной.

Нэнэ

Пошто тебе я-то?

Кайгуа

Будь, однако.

Нэнэ

Боюся.

Кайгуа

Будь!!
Как ворон в душе моей Чайвуургын.
Как пуля в сердце твоя измена.
Шаман или Умка — кто тебе сын?
Муж мой кто — шаман или Нэнэ?

Нэнэ, сделавший было два-три шага к тундре, вдруг дернулся от слов жены, точно его захлестнули арканом. Он мнется, мучительно водит шеей. Сейчас он должен решить вопрос, от которого зависит вся его судьба, судьба сына, судьба чукчей. Наконец, мелко дрожа всем телом и ежеминутно оглядываясь на шамана, он подходит к Кавалеридзе.

Нэнэ

Товарис! Ето шаман искони,
Ето мой ро́дник, но только
Он говорит: олень разгони,
А скажем, однако, что волки.

Кавалеридзе

Ну? *Вниманье!* Товарищ Нэнэ
Мне сообщил, что этот шаман

Велел разогнать по тундре оленей
И напустить на дело туман.
Правду я говорю, Нэнэ?

Нэнэ
(крепко зажмурясь)

Ы-ы.

Кавалеридзе

Аттыкей! Реумреу! Коравий!
Вдумайтесь: он обеднит вигвам,
Но лишь бы табун не достался вам!

Соловьев

Идите же к нам! Подайте голос —
И мы отодвинем Полярный круг!
Мы вместе — это как Северный полюс:
Оттуда все окна смотрят на юг.

Умка

Чего глядите? Глядите упялясь?
Макайте! Ето макайте. В тушь.

Нэнэ

Однако, паря, я ставлю палец!
(С поднятым пальцем решительно идет к протоколу.)

Умка
(радостно)

Атэ! Музика играя туш.

Русские восторженно аплодируют.

Реумреу
(подняв палец)

Я тож.

Аттыкей

Я тозе.

Коравий

И я.

Кирик

Я!

С поднятыми пальцами возбужденно движутся к столу, точно неся священные символы.

Кавалеридзе

Да здравствует первый чукотский рик!

Мещерский

Да здравствуют чукчи!

Маляша
(беря Нэнэ за руку)

Нэнэ, браво!

Чайвуургын
(схватившись за голову)

Аттыкей! Реумреу! Нэнэ... Коравья...
Панаутургын... Кирик...

Чукчи

Гыч
Гык
Гук
Гэт.
Кайвэ,
Кайвэ
Гыч
Гык!

Идут к столу торжественно и величаво, с поднятыми пальцами. Меховая — бурая, рыжая, пегая масса катится по яранге... Челки, косицы, щетинки и лысины движутся к красному столу, чтобы запечатлеть свои пальцы, пальцы пастухов и зверобоев, на белом листе, открывающем первую страницу истории этого народа.

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Барак. Кавалеридзе, одетый в дорожные меха, возбужденно расхаживает по комнате. Мещерский, Умка, Тинь-Тинь слушают его. Нина, Бокова, Пешкин и Маляша возятся с мелкими вещами. Соловьев устанавливает радиорупор.

Кавалеридзе
(с сильным акцентом)

Абхазия, Абхазия! Шакалы в горах...
Но надо послушать речь их:
Это какой-то дом сумасшедших,
Какой-то мэжьдународный крах!
Один затявкал. Обычный брех.

Второй завоет, как вэдьма в корягах.
Трэтий издаст фальшивый смех,
Как провинциальный трагик.
И вдруг — как будто развэрзлась твердь!
Вальпургиева ночь из «Фауста»!
Вой, свист, истерика, смерть...
Честное слово, не хвастаю!
Это Сен-Санс, Вагнер и Лист
Смешались в дикий хаос.
И вдруг, над хаосом колыхаясь,
Слово берет солист.
Он режет пилою вверх и вниз,
Сходит с ума и бредит...
В сравненье с ним белые медведи
Так. Провинциализм.
Тут все погребенное вздрагивает...
Мистика, а не вой!
У вас возникают первобытные страхи
Ужас предмировой...
И ты сидишь. Плывет духан.
Вибрирует блеск бокалов.
Между прочим, товарищи,— ха!
Оказывается, я любитель шакалов.

Смех.

А наши лягушки, жабы, квакши...
Это же соловьи!
Выбери лужу и, слух напрягши,
Каждый звучок лови!
Они урчат, дудят, поют,
Хахакают, гагакают, пускают переливы...
Над ними висят французские сливы,
Нэжьные... Огромные... Каждая в пуд!

Нина

Ну, а жуки? Бронзоватого цвета...
Чем-то подобные букве «ж».

Каменват
(входя)

Однако готово.

Маляша

Как, уже?

Кавалеридзе

Давай, давай.

Нина

Берите вот это.

Бокова

Ниночка, я возьму саквояж.

Нина

Спасибо, милая. Где же картонка?

Кавалеридзе

Абхазия!

Мещерский

Не раздавите котенка!

Нина
(Мещерскому)

Оставьте этот рюкзак: он ваш.

Мещерский

Ах да, простите.

Маляша

Постой-ка, а кофе?

Пешкин

Где уж тут? Некогда.

Нина

Арс!

Кавалеридзе

Абхазия! Абхазия!

Бокова

Где же ваш кофр?

Соловьев

Вынесем, вынесем.

Мещерский

Шагом марш!

Нина

Ах да! Перчатки!

Кавалеридзе

Книги, книги!

Пешкин

Пошли, Арсений?

Кавалеридзе

(обняв его)

Даешь!

Соловьев

Арсен! Приезжайте к нам на каникулы!

Кавалеридзе

(хохоча)

Всенепременно!

Маляша

Нет, а что ж?

Соловьев

(зычно)

Друзья!

Все останавливаются.

Уезжает Арсен Николаич!
И мы его отпускаем!.. Друзья!..
Я не оратор... Все это знают...
Но кто сможет сделать из пешки ферзя,
Кто будет мне говорить «болванидзе»?
Арсен уезжает... И это не снится...
Мы жили с ним среди этих стен...

Кавалеридзе

Ну вот еще, вот...

Бокова
(срываясь)

Ненавижу сцен!
Давайте вещи!

Кавалеридзе

Нина! Где Нина?

Нина

Возьмите кофр.

Пешкин
(подзывает Соловьева)

Берем.

Нина

Скорей!

Соловьев

Ого! Тяжелый, как пианино!

Пешкин

Тинь-Тинь! Не стой у дверей.

Все, кроме чукчей, выходят на улицу. Издалека доносится первый гудок. Слышен окрик Кавалеридзе. Лай убегающих собак. Тишина. Русские печально возвращаются в комнату. Лай становится все тише, все отдаленнее.

Мещерский

В какой-нибудь час они будут там.

Пешкин

Теперь прощай, корабли, до мая.

Мещерский

Да-а... Зима идет по пятам.

Соловьев

Забыли книгу!

Маляша

Ага. «Тетмайер».
Наверняка захватили не все.

Бокова

Не до того им.

Пешкин
(злобно)

Еще бы!

Мещерский
(задумчиво)

Был на Кавказе товарищ Вассо.
(Он тоже был сослан в эти сугробы.)
Карлик. Но в этакой бороде.
Гм... Любопытно, что он? Где?

Издалека доносится гудок парохода.
Первый гудок.

Маляша
(садится за работу. Передавая Каменвату бумагу.)

Надо оформить расходный ордер.

Каменват

Чьи табуны?

Маляша

Тут целые орды.

Каменват

Чайвуургына?

Маляша

Есть и его.

Каменват

А где же Ояда?

Маляша

На обороте.

Каменват

Мало. Мало у них берете.
Этим не оставляй ничего.
(Вдруг запевает заунывным голосом.)
«Где теперь богатство Чайвуургына?
Куда исчезли его олени?

Спроси ветер! Спроси тундру!
Ке́ле спроси: «Олени-то — где?»
От мора и голода не пропали,
В подземну тундру ни с кем не ушли.
Эй! Эй!
Все олени в едином стаде.
Олений табун пасется.
Это наши олени — мои да твои.
Это наше общее имя — «колхоз».
Ты спросишь: «Эй! Это правда?
Как они новую жизнь нашли?»
Жизнь эту дал нам советский закон.
Хороший человек его дал — Кавалеридзе».

Второй гудок парохода.

Арсен — хороший человек. Знаешь?
Разве пришлет партия плохого человека?
Пришлет хорошего человека.
Нашей стране плохих людей не надо.
Старые обычаи ломаются в народе.
Вот я студент.
А Умка председатель.
С тех пор как земля стоит, этого не бывало.
А теперь есть!
Дети пойдут в школу.
Такими, как русские, не будут ли?
Такие же будут!

Молчание. Вдруг Умка подымается с полу и подходит к Маляше.

Умка

Маля!

Маляша

Да?

Умка

Мой дух поседела
У одичалого как моржа.
Прошу я.

Маляша

О чем?

Умка мнется.

Смелее. В чем дело?

Умка

Я скажу: «Арисен!» — ты скажи: «А?»

Бокова

Чего-чего?

Умка

Арисен.

Бокова

Ну и что ж?

Маляша

Сама не знаю.

Бокова

Что за фантазия?

Маляша
(передавая Каменвату список оленей)

Ничего не поделаешь! На! Подытожь!
Ничего не поделаешь: Азия!
(Подходит к Умке.)
Ну, начинай.

Умка

Однако не сердься.

Маляша

Нет, нет, ничего.

Пешкин

Это что? Со сна?

Умка
(закрыв глаза)

Арисен!

Маляша
(отзываясь)

А?

Тинь-Тинь подбегает к Умке.

Умка и Тинь-Тинь
(вместе)

Арисе-е-ен!!!

Маляша
(как бы издалека)

А-а?

Пауза.

Всё?

Умка

Всё.

Тинь-Тинь

Ето сладко на сердце.

Умка

Ы-ы! Ето такой колдовство,
Чтоб Арисен ворочáлся обратно.

Пешкин

Хо! Не знаешь ты ихнего брата.
Как же! Вернете его!
Да, таковы они, наши герои:
Приедут в Арктику к самой весне
И вдруг: ах-ах, высокое РОЭ!
А ты оставайся наедине
С доисторическим диплодоком.

Маляша

Тихо! Могут понять ненароком.
(Прохаживается по комнате, затем садится на лежанку, снимает со стены гитару, задумчиво щиплет струны, наконец, втягивается в мелодию, поет.)
«Снова зорька аленькая!
Надоела просто.
Я лежу, как маленькая,
Хоть большого роста.
Ой, не пой ты, жаворонок,
Утром у окошка,
Не звени ты, зимородок,
Пожалей немножко.

Не шуми ты, лиственница,
Точно под порошей:
Милый мой не здравствуется
Со своей хорошей.
Так на что мне глазки мои,
Глядючие быстро,
Солнышком обласканные,
Золотые с искрой?
Так на что мне глянцевая
Новая посуда?
Милый не заглядывает
Ни туда, ни сюда.
Зорька красногривенькая
Ускакала за-поль.
Слезы, точно гривенники,
Льются прямо на пол».

Бокова
(томительно)

А ску-учно все-таки без Кавалеридзе.

Мещерский

Да? Я его мало знал.

Бокова

При всей его мягкости это — металл.
Он создан для боя. Бой его принцип.
Весь его дух воспитан в боях:
Ум, сердце, культура, воля.

Мещерский
(прислушиваясь)

Слышите? Звуки волчьего воя...

Маляша

Где?

Мещерский

Слушайте!

Каменват
(спокойно)

Лай собак.

Соловьев, зорко взглянув на Каменвата, стремительно выбегает на улицу.

Мещерский
(возвращаясь к теме)

Но выдержки в нем недостаточно.

Бокова

Разве?
Пожалуй, вы правы. А впрочем, нет!
Ведь вот о любимой своей Абхазии
Он стал говорить уж под самый конец.
Не странно ли? При его-то акценте?

Мещерский

Вот как! И вы это цените?

Маляша

Я прозвала его: «Черный лев»!
(Смеется.)

Умка

(заглядывая через плечо Каменвата)

А ето кака ешчь буква?
(Для иллюстрации подбоченивается двумя руками.)

Каменват
(взглянув на него)

Эф.

За стеной шум, лай, говор, возбужденный женский голос. И вдруг дверь распахивается, вваливается Соловьев с чемоданами, за ним — Нина, потом — Кавалеридзе.

Соловьев
(весело)

Товарищи! Принимайте гостей.

Мещерский

Ба! Вот легок-то на помине!

Нина
(всхлипывая)

Маляшенька...

Пешкин

Что случилось?

Бокова
(изумленно)

Ей-ей...

Нина

Я больше не в силах...

Соловьев
(помогая ей раздеться)

А иней-то, иней.

Нина

Я больше не в силах!

Мещерский

Чаю стакан?

Нина

Ах, да оставьте меня с вашим чаем!
Ты понимаешь: мы выезжаем...
Летим вовсю. Уж вот океан.
И вдруг этот, этот...

Пешкин

Да что такое?

Нина

Собаки вдруг залетают дугою:
Он! поворачивает! собак!

Бокова
(сияя)

Да ну?

Мещерский

Назад?

Пешкин

Но в чем же дело?

Нина

Я не помню себя... Впиваюсь ему в тело...
Его рука у меня в зубах...
Вгрызаюсь в его, понимаете, руку —

Чувствую: кожа в зубах звенит!
Но разве есть нервы у этой свиньи?
(Плачет навзрыд.)

Входит Арсен.

Кавалеридзе
(отряхнувшись от снега, подходит к Умке)

Я обещал подарить тебе трубку
И чуть не забыл. Извини.

Даль возвещает третий гудок.

КОНЕЦ

АРКТИКА

ОТ АВТОРА

О времени, о судьбах, о любви
Вещают музы испокон столетий.
Но все меняется на белом свете:
Что ни эпоха — сложности свои,
Своя оценка доброго и злого,
Неповторимое житье-бытье,
Мечтанья, красота и даже *слово*
По весу и значению — свое...

Позвольте ж вам, читатель, объяснить,
Как будет строиться моя поэма,
Чтоб вы бровей не подымали немо,
А путеводную имели нить.

Хоть речь пойдет об Арктике далекой,
О ледоколе и полярном льде,
Но быт, который вскроется дорогой,
Но все переживания людей,
Бои устаревающего с новым —
Такие же, как и у всей страны,
Лишь, может быть, в дыхании ледовом
Немного более обострены.
Мои герои — люди всяких знаний,
Различных лет, ремесел и анкет,
Культур, талантов, званий и призваний —
Для всех для них одной погудки нет.
Вот почему писать в одной системе
Об этих персонажах не хочу.
Я сочетаю ритмы — эти с теми,—
Всё смысловому подчинив ключу.
Так неужели с вами не освоим
Неоднородность музыкальных масс?
Лишь не считайте это разнобоем.
Доверьтесь мне. Я уверяю вас,
Что на трехладном, трехголосом фоне
Вам станет ясной линия моя.

Здесь некое подобие симфоний:
Во-первых, ямбы — струнная семья;
Затем
пойдет
мой тактовый стих,
что будет звучать
как медная группа;

и, наконец, проза, которая, при очень простых, ясных и чистых своих звучаниях, подобна деревянному цеху оркестра: говорит трезво, но не грубо.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1

Льды

13/VIII 1933
Море Баренца

Есть в корабле очертания птицы...
Как я люблю корабли!
В полярное море со льдинами биться
Мы свое судно вели,
В полярное море, в песцовое море,
Где больше ни дыма во всем кругозоре,
Где больше ни паруса в белой пыли,
Мы свое судно вели,
В полярное море, где небо высо́ко,
Где волнам тесно́, а буранам широко,
Под Северный полюс — далёко, далёко,
Мы свое судно вели.

А впрочем, судно ли *«Остров Грумант»?*
Это скорее отель:
«Лунной сонатой» концертный инструмент
Вплывает в полярную параллель,
Каюты сверкают медью и лаком,
Ванн эмалевый блик,
На мраморе кухни за красным раком
Слезой исходит балык,
Хрусталь оттуда по лампионам
Зовет к столовой, на бак;
Там белые розы пахнут лимоном,
Изюмом — крымский табак.
В таком бы отеле болтать о Верлене,
О музыке Дебюсси...

Но вдруг среди моря, как откровенье,
«Остров Грумант» подал басы —
И в этих басах над эмалью, над медью,
    Над белизною кают
Почудились айсберги и медведи,
    Вьюги, что градом клюют,
Неумолимое дрейфа круженье,
    Потеря, быть может, руля
И, может быть, в треске кораблекрушенья
    Предсмертный зов корабля.
Печально было в открытом море
    Пенье двуструнных басов!
Горячий такой на холодном просторе,
    Такой одинокий зов...

Но, подымая на стрелах груз
Перед отходом из Колы на Дежнев,
Разве корабль принял бы грусть
И уж тем более безнадежность?
Карта изучена. Ясен путь.
Знает свои деления ртуть.
Меняя дыханье от ряда к ряду,—
Поршни
        будто
                орга́на лады! —
«Грумант» вошел в заполярный градус
И подал голос, почуя льды.

Но где же льды? Кому салют?
Глядят ветераны с ущуркой ехидной:
Сбежался самый различный люд,
Все мы столпились, а льдов не видно,—
Море как море, вода как вода,
Под небосводом обычные дали...
Где же граница полярного льда,
Которую так по-детски мы ждали?
Кто не мечтал о заснеженных льдах?
Кто, над страницей заснув беспробудно,
Не снаряжал за Нансеном судна
Или не шел на поморских судах?
Но годы шли. Облетела юность.
Заботы иные. Иной горизонт.

И вдруг все школьное в нас очнулось,
Как будто приснился мальчишеский сон...
Но что нам пустая романтика сна!
Поглощены мы простыми вещами:
Как, например, возникнет пред нами
Арктическая белизна?

Этот вопрос волновал почему-то
Больше всего и глубже всего.
Встреча со льдом... Какая минута!
А вдруг это проза? Нет, нет, волшебство.
Воскресшая юность не верит подвохам —
У этого орден, у тех значок,
Но всех пронизывал где-то под вздохом
Мятный такой сквознячок...
Сегодня
море
наденет
саван!
Но как? Закружится ли снежная пыль
Или вдали, как белая гавань,
Сразу — твердыня, башенки, шпиль?
(Помню, в папахе красногвардейца
Так же я вглядывался в горизонт,
Жадно гадая чуть ли не с детства:
Как
начинается
фронт?)

А белый фронт арктической державы
Возник, не обнаружив ничего.
Мы все от нетерпения дрожали,
А встретясь, не заметили его...
Мы думали, что пиршеством для взора
Сверкнет хотя бы снеговой бурнус,
Как ранним утром из-за кругозора
Сверкает за Минводами Эльбрус,
А получилось глупо и нелепо:
Душа безмолвно айсберги звала,
А фронт
глядел
с безоблачного
неба,
Над Арктикой поставив зеркала,

И льдины тускло отражались в них,
Еще не возникая над водою,
Отметясь в небе матовой слюдою
Среди размывов пятен водяных.

Так возникал плавучий материк,
Исканий драматическая повесть.
За этим небом, нелюдим и дик,
Пришельцев хищно поджидает полюс.
Столетний свист пурги его занес.
Он спал века, не ведая помехи.
Там даль окончилась,
и только нос
Полярной точкою чернелся в мехе.
Но чей-то дух без голоса и крыл
Восцарствовал, невидимо нагрянув,
И навсегда чудовище накрыл
Железной клеткою меридианов.
Тогда-то полюс потерял покой...
Он поднялся́ из лежки из берложьей,
Разбуженный пытливостью людской,
Еще не схвачен, но уже обложен.
Но, не желая выйти напоказ,
А подползая, крадучись и прячась,
Полярное
обходит нашу зрячесть
И козни замышляет против нас.

Сперва противник действует охватом:
Гляди, гляди, не отрываясь, вдаль,
А за бортами сном тяжеловатым
Задремывает блеклая вода.
На ней, среди невидимой пыльцы,
Как бы обсосанные леденцы.
Бесцветное ползет за ними сало,
Которого еще не обсосало...
Но эта мелочь судну не страшна:
Она своя, и с нею мало горя —
Ведь в ней сквозит еще природа моря,
В ее судьбе вода отражена.
Но глубина заиндевела пылью
И стала постепенно голубой.

Тогда тихонько лебеди поплыли
С чуть-чуть обледенелой головой.
И тут-то, ослепляя снежным верхом,
Повадкою арктических рубак,
Обдувши воду январем и ветром,
Прорвался к нам сияющий ропак.
Бок о бок с ним, хоть неуклюж, да важен.
Как в зиму деревенский косогор,
Идет несяк и синевою скважин
В воде разводит голубой костер.
И, наконец, как ведьма нелюдима,
Утратив и пристанище и цель,
Сосульками заплаканная льдина
Пришла и принесла с собой метель.

14/VIII

Спачала слова два о белизне.
Здесь кажется неверным это слово.
Здесь тени залегли, как на Луне,—
Тут все голубовато да лилово,
И даже в ровных гладях пелены
Найдешь тона, оттенки, переходы...
Как бледные павлины белизны,
Горят снега арктической природы.

Того же дня

Над нами солнечные ночи,
От них полуденный загар.
Совсем как дежневские кочи,
Плывет флотилия гагар.
И вдруг под солнцем перед нами,
Невольно вызывая смех,
Промчится теплыми цветами
Махровый августовский снег.

Того же дня

Погода замечательная. С ней бы
И навигация была легка.
Лазурный океан, подобный небу,
Проносит снеговые облака.

15/VIII

Закат ли это или то восход?
Спускалось солнце, но через минуту,
Не окунувшись, заново встает,
Восток и запад сдвинувши как будто.
И кажется — вселенная не та,
А ночь над миром никогда не стлалась,
За торосами в ямах темнота —
И это все, что от ночей осталось,
Как будто опочила мира тень
Добычей окровавленной охоты...
Я наблюдаю закатовосходы
На семьдесят девятой широте.

16/VIII

Туман, туман. Какой-то ярко-серый
Особых, шелковистых колеров,
Корабль ходит ощупью, на веру,
И то и дело — музыкальный рев.
Да что с ним? Бредит? Или ради смеха
Он зычно окликает пустоту?
О нет! Он ловит собственное эхо,
Чтоб увернуться в эту или ту.
Он бьет скулой и залезает в щели,
Он прыгает на льдину восемь раз,
Пока она не треснет и, ощерясь,
Развалится, из проруби курясь,—
А рана, окровавленная краской
Малинового киля корабля,
Дымится, как живая. Но поля,
Прохваченные слузяною ряской,
Идут на нас.
                    Корабль набегал,
Увертывался, забивался в угол,—
Он весь в движениях и тупиках,
В ошибках и открытьях, как наука.

17/VIII

Ревут гудки. Навстречу гул колодца.
Но страшно знать — никто не отзовется...

19/VIII

Проходит лед. Пятнадцать, сорок, сто!
Он голубой, и розовый, и серый.
Вон слюдяные тесные пещеры,—
Быть может, древних мамонтов гнездо.
Влетит пурга, легонько шевеля
Пушных снегов беломедвежью дóху...
Пожалуй, в ледниковую эпоху
Вот так же выглядела и земля?
Вот так же предкам угрожало поле,
Как нам снега полярные грозят,—
И кажется, что ты на ледоколе
Уплыл за миллионы лет назад.

22/VIII

Опять туман. Недвижный. Мы не смеем
Ни крикнуть, ни смеяться. Всё во сне.
И вся окрестность кажется музеем
Античных статуй, спящих в тишине.

23/VIII

Я никогда не думал, что туман
Бывает так богато многоцветен.

24/VIII

Плывет стануха из далеких стран,
Немало в ней коричневых отметин:
Земля! Стануха терлась об нее —
И вот стальное льдистое литье
Несет следы чужого побережья.
Норвегия ли отразилась в ней?
Америка ль? Последнее верней.
Хотя она встречается и реже,
Но эта грязь — канадские поля.
Ведь если в ней норвежская земля,
То что же, извините, боже правый,
Осталося от северной державы?

25/VIII

Сегодня увидали первый айсберг.
Наш «Грумант» бился,
сдавленный с боков,
И вдруг шальное войско ропаков
Подобострастно разбежалось наспех:
То айсберг дальним облаком всплывал,
До хрусталя чело свое обветрив,
И, словно в пену, в ледяной навал
Вошли его шестнадцать километров.
Вокруг сшибались, осыпью текли...
Но *этого* ничем не раздробите:
Он автономным спутником Земли
Спокойно несся по своей орбите.
Сияли пики безымянных гор,
Слегка цеплялись тучки за отроги;
По нем бежали горные дороги
Как бы с Ай-Петри к морю, на Мисхор;
Над ним кружился миллион гагар.
Они взвивались, падали, летели,
Как тяжкие, крикливые метели,—
Пернатый оглушающий базар.
Но, пронося по линии полярной
Свою судьбу, подернутую мглой,
Бесстрастно несся айсберг над землей
В своей архитектуре планетарной.

Того же дня

Пейзаж прикидывается луной:
Он чужд молитве, страсти, укоризне.
Здесь аристократизм ледяной,
Пренебрегающий дыханьем жизни.

27/VIII

Граненая стануха едет вкось.
Уж тут не Айвазовского марина:
Утесистый кристалл аквамарина,
Простреленного пламенем насквозь.
За ней другая. Эта словно призрак!
Она не лед. Весь мир ее иной:
Пропитывая воздух ледяной,
Она — голубизна в алмазных искрах.

28/VIII

Туман все величавей и важней.
Шуршанье, шорох, треск и перезвонцы.
Вселенная дымилась. В вышине
Как бы свершалось изверженье солнца;
Как будто бы впервые на глазах
Оно из желчи мутной зарождалось.
Литье то выбухало, то сжималось,
Пары кипели в бронзовых слезах.
А мы ползем в косматой полумгле,
Пробравшиеся в мировое лоно
На выдуманном, жалком корабле,
Где красный лак и аромат лимона.
Ничтожные, затерянные мы...
Пренебрегает нами эта косность.
Да, это он — бесчеловечный мир,
Самовлюбленный гегелевский космос.

30/VIII

Медведица прошла с невинным видом.
За ней...
Ох, нет, ошибка! Это льды.
От солнца веки солью налиты...
Должно быть, болен я конъюнктивитом?
Всё пятна, блестки на моем пути,
Какие-то видения как будто.
Уйти б на сутки в темные закуты,
Но как от этой прелести уйти?
И я гляжу. Передо мною льдинка,
У горла опушенная песцом.
Она прошла, как девушка.
Потом
С ней словно бы какая-то заминка...
Вернулась. В нежный снег обряжена,
Как истинная девушка, она
Стоит себе, не подавая вида,
Что кто-то рядом ей улыбку шлет.
Какое имя ей придумать? *Лида!*
Ведь в этом имени сквозится *лед.*
— О Лидия! — сказал я в шутку, право...
Но льдинка поправляет: — Олисава!

ГЛАВА 2

Королев

Комиссар вызвал к себе Олисаву, но комиссара самого вызвали к начальнику экспедиции Басаргину, и девушке пришлось дожидаться Королева в его каюте. Сначала она сидела тихо и только разглядывала стены: портрет Сталина с зажженной спичкой над короткой трубкой, белая карта Арктики и фотография ледокола *«Остров Грумант»* на фоне девятигранного айсберга. В углу сизый блеск винчестера и коричневый лак патронной сумки. На умывальнике свежий кусок янтарного мыла такой прозрачности и аромата, что его хотелось съесть. Олисава подошла к нему и понюхала — от него пахло радостными утрами на Северной Двине, всем родным, что только было в ее архангельском детстве. Затем подняла голову и взглянула на зеркало: эти роговые очки... Они так ее огорчали! Но, должен сказать, огорчали напрасно. Правда, стекла несколько расширяли глаза, а толстый перешеек укорачивал и без того курносый носик, и все же я не знаю другой девушки, к которой так шли бы очки. Они оттеняли смуглоту ее кожи и как-то подсвечивали синеву глаз. Когда она их снимала, казалось на миг, будто с лица исчезали краски.

Олисава снова села на стул и принялась разглядывать пейзаж письменного стола. В медном стакане высились зеленые листья клена, очевидно проутюженные и оттого сохранившие цвет и очертания. У стакана два маленьких рисунка в рамочках — голова уссурийского тигра и голова седеющего сокола. Вглядевшись, она увидела, что «сокол» был Амундсеном. Что же касается другого, то он так и остался тигром. На обеих окраинах стола две горки папок. На верхней справа белая наклейка: *«Новая американская философия»*. Олисава подняла папку и увидела вторую надпись — *«Пирс»*, третью — *«Джеймс»*, четвертую — *«Дьюи»*. Олисава вспомнила, что Королев писал кандидатскую по философии. Философия ее мало захватывала, тем более американская, поэтому она перешла к горке слева. Горка эта была довольно пухлым томом, переплетенным в сафьян, и снабжена черной надписью: *«Заметки натуралиста»*.

Сафьян необычайно заинтересовал Олисаву: по всей вероятности, Королев заносил сюда свои наблюдения полярника, а так как Олисава тоже вела дневник путешествия, то ей любопытно было узнать, сходятся ли их впечатления и в чем именно. Но без комиссара читать его заметки неудобно. Олисава снова села. Часы пробили половину двенадцатого. Она подумала о том, что пушкинская Татьяна, девица безусловно благовоспитанная, вот так же посетила мужское логовище в отсутствие хозяина, но она не сидела, а позволила себе ознакомиться с онегинскими книгами и даже его личными заметками на полях, что уже равносильно чтению дневника. Да, но папки — это не книги. Конечно, конечно! Олисава села опять. Но, с другой стороны, это ведь не личный дневник. Что? Это дневник натуралиста. Рано или поздно он будет опубликован, и тогда его смогут читать все. Но если можно всем, почему же нельзя ей? Нет, все-таки неудобно. Ну хорошо, если через пятнадцать минут комиссар не явится, она откроет папку. Через пятнадцать минут комиссар не явился, а Олисава привыкла держать слово.

На первом листе толстой меловой бумаги старательно и даже любовно была выведена тушью таблица измерения черепов одного тигра и двух тигриц. Тигр убит такого-то числа на реке Колумбэ, одна тигрица — с реки Великая Кема, другая — из Нанайского района. Олисава узнала вес и объем тигриных голов, ширину скуловых дуг, расстояние между глазницами, длину верхнего клыка от задней части альвеолы, длину нижнего клыка от задней части альвеолы и множество других столь же необходимых полярнику сведений. Это удивило ее. При чем здесь тигры? Арктика и тигры... Она перевернула страницу. На следующем листе шла морфология тигра. Оказывается, тигр зверь довольно жирный:

> «Большое количество жира расположено на брюхе, в пахах, в полости тела, и всюду прослойки в мышцах. По точке плавления и консистенции тигриное сало напоминает свиное. Оно белое, с легким запахом дичи».

Эта заметка несколько разочаровала девушку: она почему-то хотела, чтобы тигр состоял из одной мускулатуры, между тем он жирен. К тому же Королев сравнивает тигрятину со свининой. Даже как-то обидно. Впрочем, тигр тут ни при чем. Сравнение это вполне на совести Королева. Может быть, с научной точки зрения оно вполне справедливо и точно, однако из него Олисава сделала вывод, что Королев лишен романтики.

На третьем листе шло описание окраски тигра, и здесь Олисава отметила в комиссаре какую-то даже художественную жилку.

> «Мех у этого тигра глубокий, с красноватой остью и голубоватой подпушью. На боках медный отлив переходит в охристо-желтый. По этому полю расположены матово-черные и черно-бурые полосы числом около пятнадцати на каждом боку, некоторые сдвоены, многие не доходят до середины боков. На брюхе более длинный грязновато-белесый мех с темно-серыми полосами. Хвост охвачен девятью неправильными кольцами. Из них концевые — с серым пятном по темному полю на дорсальной части хвоста».

Это описание понравилось девушке гораздо больше. Не случайно, очевидно, комиссар взял с собой в Арктику кленовые листья. Тигр был изучен не только оком ученого, но и глазом живописца. Раздосадовало ее только определение тона на брюхе как «грязноватый». К чему это? Зачем? Неужели нельзя было найти другое слово? Покрасивее? И Олисава еще более укрепилась в своем впечатлении о Королеве как о человеке, лишенном романтики. Часы пробили двенадцать. Девушка воровски взглянула в окно и снова принялась за чтение. Ей уже хотелось, чтобы комиссар не возвращался как можно дольше.

> «15 февраля 1929 года я наблюдал по следам на снегу охоту одиночного тигра за взрослой медведицей. Мелкими шажками, крадучись, подобрался тигриный след к старому кедру, под которым находилась берлога. Берлога была мелкая, земляная, с одним отверстием на север. Дальнейшее происходило, несомненно, так: тигр подкопал с южной стороны берлоги дыру и в нее пугал медведицу, поочередно подскакивая то к челу берлоги, то к ее отверстию —

> следы его шли взад и вперед широким махом. В какой-то момент встревоженная медведица неосторожно высунула из берлоги лапу. Это решило ее судьбу. Молниеносным ударом тигр пригвоздил эту лапу к земле, о чем рассказывают несколько капель крови у самого выхода из берлоги. Но капель было ничтожно мало: ясно, что тигр мгновенно выдернул свою жертву наружу и в ту же секунду закусил шейные позвонки у затылка. Следов борьбы не было. Добычу тигр съел целиком за несколько дней, оставив голову, передние и задние ноги с трубчатыми костями (головки у сочленений разгрызены). Рядом и на тропе в десяти — пятнадцати метрах несколько куч испражнений, содержащих медвежью шерсть и осколки костей в два — пять см. в поперечнике».

Олисава уже не глядела в окно. О времени она забыла. Заметки читались как роман, как драма. Но почему все-таки тигры? В чем дело?

> «Только ли случай эта охота тигра на медведя, как думают иные зоологи? Убежден, что нет. В ноябре 1930 года я отметил, что шедший вниз по реке Кеме до притока Чимы тигр, дойдя до медвежьего следа, пошел за ним. Могут возразить, что нередки случаи, когда самые различные звери идут по следу медведя, «в лапу». Но кто эти звери? Рысь. Иногда хорза. Эти хищники сопутствуют «хозяину тайги», чтобы воспользоваться объедками с его пиршества. Надо ли говорить, что не это увлекало тигра, шедшего за медведем?»

Полемический, далекий от академизма, хотя и сдержанный тон, в каком была изложена эта тирада, натолкнул девушку на мысль, что тут дело не просто в заметках натуралиста. Королев, конечно, что-то отстаивает, он явно имеет в виду каких-то противников.

> «В январе 1931 года близ устья Та-Кунджи проводник разведочной партии Союззолото т. Ороченко встретил следы очень крупного бурого медведя. Следы эти, наткнувшись на тропу тигриного выводка, унес-

> лись от него вскачь. В другом месте, у бараков Дальлеса, медведь набрел на след тигра-самца и также свернул со следа. В том же году, в середине зимы, мне удалось отметить бродящих в сугробах бурых медведей, которые в это время обычно спят сном праведников в своих берлогах. Что же заставило их покинуть логово и нарушить вековой обычай своей породы? Найденный поблизости отпечаток лежки тигра на снегу вполне разрешил недоумение. Итак, ясно, что медведь боится тигра и решительно избегает встречи с ним. Теперь подходим к самому главному. Если таково поведение медведей, то как могут реагировать на тигра волки? Меня, конечно, интересует не волк сам по себе: волк достаточно хорошо оценивает соотношение своих сил с силою тигра. Но как ведет себя волчья стая в присутствии тигра? Вот научная проблема, имеющая большое промысловое значение. К сожалению, зоолог Зыкин не только не дал решения этой проблеме, но даже не понимает, зачем ее нужно ставить».

Так вот в чем дело. Зыкин! Какой-то Зыкин, который... В окне мелькнула тень. Олисава захлопнула папку и с бьющимся сердцем села на стул, что сбоку. Вошел комиссар.

— Извините. Задержали.

Сказать ему, что она читала его заметки, или не говорить? Но тогда ведь это... Впрочем, он чем-то встревожен и явно не собирается беседовать.

— У меня просьба,— сказал он низким голосом с не лишенной приятности хрипотцой.— Товарищ Басаргин сказал мне как-то, что вы владеете стихом. Я просил бы дать что-нибудь в стенную газету. Можно это?

— Папа, как всегда, преувеличивает мои способности,— улыбнулась Олисава, нисколько, впрочем, не смутившись.— Я не умею писать стихи по-настоящему. Играю в слова, как играют в камешки. Балуюсь, одним словом. Что это вам может дать?

Со свойственной Олисаве впечатлительностью она, сама того не замечая, стала говорить в той отрывистой манере, которая была присуща Королеву. Но Королев этого не заметил.

— Товарищ Басаргин утверждает, что владеете.

— Ну да, владею техникой, но не больше. Ну вот, например, написала недавно про нашу уборщицу Любашу. Знаете ее?

Любого б Люба не полюбила:
Не любо Любе влюбляться вновь.
Любовь Петровна лишь раз любила,
И разлюбила
Любовь любовь.

— Нам в стенгазету очень нужны стихи,— снова сказал комиссар.— Напишите что-нибудь об Арктике.

— Что именно?

— Что хотите.

— Хорошо, я подумаю.

— Значит, договорились?

— Я сказала вам, что подумаю.

— Ну, ясно. Не подумавши как писать?

Он отвернулся и, достав связку ключей, стал отпирать сундук.

— Больше вопросов нет, товарищ комиссар?

— Нет.

— Значит, я могу идти?

— Можете.

— Неужели ради такой содержательной беседы я должна была ждать вас больше часа? Хорошо еще, что я догадалась прочитать ваши *«Заметки натуралиста»*.

Олисава повернулась и пошла к выходу.

— Подождите.

Олисава задержалась в дверях. Комиссар поднял на нее глаза, но тут же сощурился, как бы ослепленный синевой, и спросил:

— Ну и как, по-вашему? Убедительно?

— Да. Мне, например, вы вполне доказали, что медведь боится тигра. Но,— добавила она не без юмора,— удалось ли вам убедить в этом зоолога Зыкина?

— Дело не в медведях.

— Ах да, в волках!

— В оленях дело.

— До этого я еще не дошла.

Комиссар взял со стола сафьяновую папку и протянул Олисаве.

— Возьмите с собой. Прочитайте, потом скажете мнение.

— Охотно, товарищ комиссар. Но будет ли мое мнение вам интересно? Я ведь не зоолог.

— И я не зоолог.

— Да, но вы философ.

— И вы философ.

— Почему вы так думаете?

— Если смысл жизни вы видите в строительстве коммунизма, то что же еще нужно, чтобы считать себя философом?

— Вы не смеетесь надо мной?

— Нет.

— Что же у вас получается: колхозник, строящий коммунистическое общество, оказывается, больше философ, чем доктор философии, отрицающий коммуну?

Королев покраснел, но не сдался.

— Именно так.

— Как вы упрощаете!

— Нисколько! Можно зазубрить назубок Маркса и совершенно не быть марксистом. То же и со всей философией.

— Ну, это дело другое. Здесь вы имеете в виду начетчика, а не мыслителя.

— А разве человек, отрицающий коммунизм, в наши дни мыслитель?

— Ах, так? Значит, идеалист не мыслитель уже тем самым, что он идеалист?

— Да. Тем самым.

— О-о! В таком случае выходит, что, например, за Гегелем вы не признаете решительно никакого значения?

— Я не знаю, как мыслил бы Гегель сегодня. Что же до его значения, то оно огромно: это значение лучины до появления керосиновой лампы. Но теперь, когда мне достаточно повернуть выключатель, чтобы каюта осветилась, неужели я буду всерьез разговаривать с человеком, который держится за лучину, делая вид, будто электричества не существует?

Олисава засмеялась, но тут же осеклась, потому что Королев не смеялся, а продолжал глядеть на нее прищурясь. Он явно ждал ее ухода. И Олисава ушла.

В первый момент она подумала: «Невежа!» — но обиды не было, и мысль не успела развиться. Все в Королеве было так естественно, а голос его, низкий, сипловатый, недвижный и в то же время обаятельный, звучал всегда так покоряюще, что обращение комиссара с Олисавой не казалось оскорбительным.

«Странный все-таки человек! — подумала Олисава.— Странный! Его мышление безусловно схематично. Но почему, когда эти схемы излагает *он*, они перестают казаться схемами? В чем, собственно, дело?»

Олисава шла по борту безлюдного спардека, засунув руки в бархатные карманы кожаного пальто и приподняв плечи, чтобы согреться. Сырость прохватывала ее, но домой не хотелось; хотелось долго вот так ходить по спардеку, потому что ей нравились ее мысли, потому что ей был приятен бархат карманов и еще потому, что низкий, недвижный голос с волнующей хрипотцой шел с ней рядом, как спутник, неразличимый во мгле, но ощутимый, как чужое дыхание.

Королев... Ему пятьдесят лет. Девушкам он должен был бы казаться стариком. Но Олисаве? Какая глупость! Что может быть великолепнее мужчины в пятьдесят лет! За ним полвека жестоких схваток с жизнью, душевных ран, падений, разочарований, отчаяния, собирания себя по черточкам, по косточкам, затем новых и новых выходов к бою, одолений, побед и торжества, может быть, даже триумфа. В пятьдесят лет все мужчины победители — побежденные к этому времени уходят из круга жизни! Пятьдесят лет — это ум, насыщенный глубинным знанием человеческой природы, это воля несокрушимая, но и гибкая, это чувства, где отвага сочетается с осторожностью, беспощадность с нежностью. Здесь личный опыт вырастает до философии, деловитость пронизывается лиризмом. Полвека — это полюс, к которому сходятся все линии судьбы человеческой, это убеленная сединами вершина жизни — отсюда далеко видны былое и грядущее. Что сравнится с этим изумительным возрастом? Как говорит ее отец, во все предшествовавшие годы мужчина жил одной-двумя гранями души: тут в пятнадцать лет — поэтическое ощущение природы, в двадцать пять — жажда наслаждений, под сорок — погоня за карьерой, но только в пятьдесят достигает он того духовного богатства, той внутренней полноты, где звучат и отдаленные скрипки юности, и медь боевой зрелости, и даже эхо будущей старости, орга́н, который доносится как бы из-за горизонта. И все это — Королев.

Между тем Королев, вытащив из сундука тетрадь в клеенчатом переплете, быстро записывал большими, нескладными буквами, похожими на телеграфные столбы пожилой проселочной дороги: «Сегодня, 27 сентября, Басаргин сообщил — по радио информировали: в районе 73 дважды пролетел американский самолет».

ГЛАВА 3

Двойное открытие

Море братьев Лаптевых,
Сентябрь

Зубы и гарь. Огневая группа.
У топок гремят бункера.
Бочонок с морсом и радиорупор
Подле угольного бугра,
И комсомольцы в комбинезонах
Шутят с огнем под грохот заслонок.

Здесь прежде было царство Плутона —
Ад! Пароходная мистика!
Кочегары, швырнув по печам полтонны,
Тут же дулись в «три листика».
Чернозубые, красноглазые,
Молча играли на рыжий металл...
И вдруг
в итоге
скупых
разногласий,
Свистнув кровью, один отлетал!
Вот он лежит в лаконической позе.
Игра продолжается. Шел пароход.
Никто за избитого с них не спросит,
Не потревожит ничей приход,
Лишь градусник опускает волос,
И Черный, на руки поплевав,
Перешагнув через павшую сволочь,
Набрал уголечка — и словно бы вплавь
Швырнет его в топку. Белое пламя
Разинуто басом. Под жар шумовой
Он вновь набирает всеми плечами,
Будто кладет себя самого,

Будто собрал свои грузные кости
И в черной могиле до самых плеч
Снова на огненном этом погосте
Замедленной тягой вплывает в печь.

А нынче прошлому не чета:
   Нынче огню не молятся.
Здесь прежде правила нищета,
   Теперь заправляет молодость.
Здесь каждый вынул счастливый билет
   И новой судьбою выделен.
Здесь каждый может в сорок лет
   Стать кораблеводителем.

Но «может» и «станет» — разница все ж.
   Петух, например, не дотянется.
Петух совсем не та молодежь,
   Ему бы частушки да танцы.
Но зато Котя... точней — Константин
   (Фрязин его фамилия)
Видит себя в ореоле седин
   Командующим флотилией.

Но, несмотря на весь разнобой
   Их положения в обществе,
Парни дружили между собой,
   И Петя Котю без отчества.
Но Котя Петю не понимал,
   Как вы его дальше поймете;
У Пети имеется свой принципал
   Чуть посерьезнее Коти,
И он эту тайну на равных правах
Нес в насмешливо вздетых бровях.

А впрочем, оба парня живут,
   Света друг другу не застя;
Ира и Кира мечутся тут,
А девушки — это предчувствие счастья:
Даже чужие, как царский алмаз,
Они всегда богатство для нас.
И вот без цели, но оголтело
   За ними несутся оба.

Яблоком их экономное тело
   Светит в прорехах робы.

Головы хвачены стрижкой «бокс»,
Веки тронуты сажей,
Но только у Коти взгляд глубок
И широко посажен,
Зато у Петрухи южный прононс —
Этому все едино.
Он сплюнул за борт и произнес:
— Плевал я на эту льдину! —
А что ему? Вышел немного пройтись,
Ну, и... влюбился немножко.
Но тут Константин, указав на окошко,
Прошептал ему: — Тсс...

Рыже-невыбрито-безбородый
Над картой склоняется человек.
В нем явен уклад поморской породы,
Но в очертаниях лба и век,
Но в тонких линиях рта и носа
Явны черты дворянских кровей.
Человек думает.
Папироса.
Рубец напряженно залег меж бровей.

И парни тихонько ушли со спардека,
Бросив Иру и Киру:
Думы этого человека
Принадлежат миру!
Не зря же друг другу все донесли
Под самым страшным секретом,
Что нынче,—
понятно? —
нынче с рассветом
Возможно открытие новой земли.
И тише тихого весь народ:
Ведь тут торжество мировой культуры...
Лишь две вконец отпетые дуры
Гоняют отчаянно взад-вперед.
Пред человеком квадратные кадры
Очень подробной арктической карты.
На ней обозначены дрейфы судов
Такого-то и такого-то года,
Отмечена градусами погода,
Надписи: «Нансен», «Де Лонг», «Седов».
Давно уже трубы сменили ветрила,

Давно уже дым с пургою знаком,
А карта все еще говорила
Четырехцветным своим языком.
Все начиналось алым пунктиром.
Шел он
стрелою
четкой
От Новой Земли
высоко над Таймыром
И завершался Чукоткой.
Это. Было. Движением. Льда.
Каким ему быть полагалось:
Плывут грановитые холода,
А с ними пунктирная алость.
Но вдруг какие-то синие точки,
Делая легкие завиточки,
Сбили стрелу, летящую вдаль,—
И вот безо всякой причины
К северу синяя вьется спираль,
Как часовая пружина;
Но чуть подалее — новый сдвиг:
Будто
сдуваемый
вьюгой,
Такой же спиралью зеленый вихрь
Отчетливо кружится к югу.
А в центре события, как бы внутри,
Черная цифра: «73».

Профессор Басаргин над этой картой
Работал чуть не с юношеских лет.
Еще за гимназическою партой,
Насвистывая уличный куплет,
Он проводил условные пунктиры,
Накалывал булавочные дыры,—
Но почему они уходят вбок?
И что за ветры и водовороты
Перед стрелой захлопнули ворота?
Увы, об этом знает только бог.
Но гимназист не только из каприза
Хотел постичь полярную спираль.
Бесспорно, как потомок декабриста,
Андрон Иваныч вечно «воспарял»,
Объятый той или другой проблемой,

Жил в обществе вопросов вековых...
(Недаром же рылеевское племя
Крылатостью дало России сдвиг.)

Но здесь не эта сторона души
Цветистые вела карандаши.
Еще за партой, чуть глаза подымет,
На Северной Двине он видит порт,
Где ледоколы в легендарном дыме
Стоят при лесовхозах борт о борт.
Но им к Чукотке век не продвигаться,
Хотя такое плаванье с руки:
Заклятыми врагами навигаций
Глядят зелено-синие круги!
Как Сцилла и Харибда, два теченья
Всосут в себя любые корабли
И унесут на годы в заточенье,
За сотни миль от обжитой земли.

Но у профессора была душа
Упрямого помора-крепыша.
Не рыбаком, так лоцманом, так юнгой,
А то и сторожем на маяке
Бывали предки. Их больные струнки
Звучали в кабинетном моряке,
Простуженными крыли голосами
Да грохали подковами сапог,
Как будто деды пожелали сами
Узнать о том, что знает только бог.
И в самом деле — из-за тех спиралей
Они немало в море пострадали.
И потому Андроша, чуть подрос,
Решал большой арктический вопрос.
И вот, тридцатилетие спустя,
Зимой, в академической квартире,
Все так же по-мальчишески свистя
И выводя трехцветные пунктиры,
Он вдруг как бы услышал тайный зов
Разгадки покоряющей, но острой:
Причиной
                    круговращенья льдов
Был
      еще не открытый
                                остров!

Он разглядел его за́ сто миль...
Остров... Что? Не особенно мощный,
И тем не менее... Остров? Возможно.
Но это пока еще только мысль.
Конечно, она вполне вероятна,
И все же немыслимо дать ей ход,
Пока судьбу варианта
Не разрешит пароход.

И вот наконец океанский отель,
Выйдя на Дежнев из города Колы,
Решая задачу архангельской школы,
На семьдесят третью пришел параллель.
Он входит в семьдесят третий градус
Белый,
трехъярусный,
с крыльями рей.
Чет или нечет? Горе ли? Радость?
Господи!.. Только бы поскорей.

Возраст имеет свое постоянство.
Иному и в юности — пятьдесят;
Иной, переживши тайфуны странствий,
Всегда таков же, как год назад;
Однако профессору Басаргину,—
При всем уважении должен признаться,—
Несмотря на его глубину,
Было на всю его жизнь... пятнадцать.

Четвертый день командор экспедиции,
В четырехдневной уже бороде,
Ко всем пристает с вопросом: «Где птицы?
Допустим, остров. Но птицы где?»
Часами сидит он на мачте в бочке,
Ища хотя бы простейших примет.
Синие точки. Зеленые точки...
Но где же птицы?
Птиц нет.

И вдруг с мысов сообщает радио,
Что в энном квадрате, где битый лед,
Зарегистрирован дважды кряду
Американский самолет.

Вот она, птица! Зловещая птица!
Где-то близко от корабля
Она над каким-то объектом кружится,
Но что это может быть? Только земля!

Серые льдины в тумане снятся,
Дымными клочьями оползя.
Лот — семнадцать.
                              Лот — пятнадцать.
Мелко. Дальше идти нельзя.
А может быть, можно? Хоть шаг, но дальше!
Но мглой вечереющей мир покрыт,
И только салон кавказскою дачей
Огнями в тумане уютно горит.
И туча к веранде уже приходила
И снова исчезла в дыхании вод.
Рояль, как траурная бригантина,
Черным парусом в звуках плывет.

Андрон Иваныч почти в полусне
Что-то насвистывает из Массне.
«Элегия», кажется... Нет, не она.
Ах, да не все ли равно бесталанным!
Быть может, вот тут, за этим туманом,
Высится «Остров Басаргина»?
И, может быть, круговою порукой
Слитые с этого мига навек,
За тонкой вуалью ищут друг друга
      Остров и человек?
Довольно, однако. Спокойно! Хватит!
Ночь. Пройти нельзя ни на пядь.
      Ну что ж, подождем.
      Он лежит на кровати.
Скорей бы! Скорей бы туман переспать!
А утром... Утром без всякого чуда
Он взглянет на землю и крикнет: «Баркас!»
(Тенор его превратился в бас
Не то от натуги, не то от простуды.)

Но разве заснешь в этом диком азарте,
      С этою жадной тоской?
Зажмурясь, он видит на белой карте
Черную точку. Остров такой.
Этакую небольшую ковригу.

Ее занесут в корабельную книгу;
Ландкарты мира, все, как одна,
Отметят «Остров Басаргина»;
Атлас, лоция, путеводитель,
Глобус — где какой ни на есть —
Обязаны в самом тщательном виде
Басаргинскую точку учесть.
Об этой точке не знали веками —
И вдруг он знамя над ней распростер,
Чтобы... взорвав этот чертов камень,
Дрейфу открыть свободный простор.

Странные жизни бывают порою.
Полярный пейзаж именами шумит:
Есть море Баренца, море Барроу,
Пролив Вилькицкого, мыс Шмидт,
А здесь человек открывает остров,
Но имя дает ему... на пять минут,—
И льды по точке этой пройдут,
Андрона Иваныча не заподозрив,
Пойдут из Колы тонны бревна,
Не зная имени Басаргина.

Утратив навеки свою же находку,
Закрыть открытое навсегда
И сделать отныне путь на Чукотку
Путем самого океанского льда —
Какая печальная, в сущности, почесть...
Но нет! Он ученый! И слава его
Не в том, чтобы имя в камне упрочить:
Решенье проблемы — вот торжество!
Постой... Но не слишком ли все это просто?
Поднятие дна — и остров? Ужель?
А вдруг эти цифры вовсе не остров?
        А вдруг мель?
Он сразу проснулся. Слышит — топот.
— Давай, давай!
                                Шевелись, земляк!
— Что такое? Куда торопят?
— Земля!

С мачты спрыгнул вахтенный юнга,
Выпал из рук моих том Золя...

В трюмы, в каюты, в машинное, в бункер
Летит Колумбовый крик: — Земля!

Я с юных лет, плывя, задыхаясь,
В пучинах речи, как звездолов,
Обшаривая океанский хаос,
Искал жемчужницы мощных слов.
Немало добыл я ракушечной дичи...
Но только здесь,
                    пером не шаля,
Рванул со дна драгоценной добычей
Могущественнейшее слово: *земля.*

— Шлюпки!
— Есть! —
                    Белые леда́нки
В позе летучих рыб
Спускаются вниз. Визжание. Скрип.
Матросы прыгают на́ ноги.
И вот мы в царстве плавучих гор.
На флагманской шлюпке стоит командор,
Петух сидит у него загребным
      С веслом в полторы сажени,
А две ледянки скользят за ним,
      Его повторяя движенья.

Плывет по борту розовая льдина.
Да что в ней толку? Вахтенный людина
Толкнул ее заржавленным зубцом.
Но разве повторится это чудо?
Когда б сосульку отломить оттуда,
Она бы оказалась леденцом.
Но нам не надо леденцовых льдинок.
Вперед, вперед! Там чернозем! Суглинок!

На миг блеснула полая вода
Всей голизною на́ полкилометра.
Но,— черт возьми! — дремуча и седа,
Пары из трещин выдыхая щедро,
Косматая махина подошла,
Неся подлаз чудовищною губкой,—
И вмиг теплынь почувствовали шлюпки...
Откуда это веянье тепла?
А на махине оживленный гам

От рева, писка, гарканья да грая.
Одну из тайн арктического края
Седая льдина приоткрыла нам:
Вода несла на ледяные скулы
Широкие поверхности свои,
Отяжелев от холода, тонула
И подымала теплые слои,
И, подожженный радугой павлиньей,
Из мелкой крошки шорох намесив,
Под клики жизни ледяной массив
Кружился, обтекаемый теплынью.
Так значит есть бессмертие, когда,
Внедряя диалектики ученье,
Парадоксально ото льда
Родится теплое теченье!

Но некогда нам. Напрягаем плечи.
Ведь впереди песок, чернозем!
И, нервно смеясь от предчувствия встречи,
Мы чушь какую-то хором несем:
          «Генрих Пят,
          Генрих Пят —
          Мой двоюрод-
          нейший брат».

И вдруг огромная, как луна,
     Льдина обрушилась рядом.
Но слышится голос Басаргина:
     — Так что же с двоюродным братом?

Он отгонял багром ледок
     И зорко вел кораблик
Туда, где был воды глоток
     Хотя бы даже в каплях,
Из полыньи летел в канал
     И в водяных траншеях
Своих гребцов с налету гнал
     На тонкий перешеек.

А там, за перешейком,— край чудес!
Мир надоевших айсбергов исчез,
Голубизна — без водяного сала.
Качнула нас прибрежная волна...
Мы замерли. Притихли. И стояла

Былинная, святая тишина.
На градусах дороги незнакомой
Такой-то широты и долготы
Вдали предстали храмы и хоромы,
Часовенки, обители, скиты,
И, словно из луны и пены вылит,
Алмазными огнями осиян,
Глухой дворец с бойницами навылет
Глядится в Ледовитый океан.

Такого в мире больше не увидишь,
Лишь нам такая радость суждена,—
Пред нами воздымается град Китеж,
Невидимо всплывающий со дна...
Мы услыхали в этом диве дивном
Уже хрустальный звон колоколов!
Но тут
Петух
голоском наивным
Спросил: — Робя! Ето город Козлов? —
Все засмеялись. Взорвана тишь.
Лучше, пожалуй, тут не состришь.
Недаром у выступа из закутка
Грянул с припая моржовый рев —
Дикий хохот разбуженных шуткой
Седых секачей и рыжих коров.
И тут-то, за льдами, за готикой белой
Сложнейшей работы тончайших зодчих,
Вынырнул дорогой до боли
Глинистый кусочек.
Вот она! Измеряйте в каратах!
В ражем
хоре
моржового рыка
Не обозначенная на картах
Рыжая коврига.

Где-то Афины, Рим, Назарет,
Где-то Париж,
Москва...
А остров — остров еще на заре
Эры, отмершей едва;
Далеким будущим кажется гунн,
Явленье грядущих культур.

Лежит островок у льдистых лагун
В опушке песцовых шкур.
Сопя за белой линией скал,
Собой преградивши проход,
В утробе природы уютно он спал
И вдруг увидал — пароход!
Он смотрит невинным небом своим,
Девственным ликом льда...
Мир показался неуязвим,
Земля совсем молода!
И спичка сама ускользает из рук.
Чиркаешь раз, другой, третий...
Сейчас я впервые почувствовал вдруг,
Что мы. Живем. На планете.

Покуда крепили мы лодки у льдин,
Сойдя
на припай
острый,
Наш командор, совершенно один,
Жадно раздувши ноздри,
Большими шагами в гору пошел,
Под самый купол небесный,
Как будто, одетый в безоблачный шелк,
Спешил на свиданье с невестой.
Идет. Приятно исчезла из глаз
Блеска алмазная резь.
Какая повсюду чудесная грязь —
Руды и песчаника смесь...
Как мягки увалов родные черты,
Как нежно обрыв размяк!
Алой кровинкой в жиру черноты
Цветет моховидный мак,
Смачные черви уютно текут.
Пушной песцовки свист...
И он. Он тоже. Он тоже тут.
Архангельский гимназист.

Еще впереди немало обид,
Каверз и черных дней,
Еще не раз ты будешь забыт
Теми, что всех родней,
Смутит еще ложь душевную тишь,
Блеснет еще боль наготой,

Но то. Что ты. Вот тут. Стоишь —
Уже не отымет никто.
Никто! И он гривой лихо потряс,
И, в землю эту влюблен,
Крикнул имя —
и в первый раз
Эхо сказало: «Андрон!»

Это был голос такой чистоты,
Такой хрустальности зов,
Какого не слышал ни я, ни ты
Среди земных голосов.
Здесь возникал поэтический миф:
Дева, которой нет,
Звуком одним человека пленив,
Манила искать след.
Как преломился у этих льдов
Простуды сипящий бас!
Он снова деву окликнуть готов,
Ее, как язычник, боясь.
Он снова собрался...
Но эхо вдруг
Само застонало: «Алло!»

Андрон Иваныч поглядел на юг,
Андрон Иваныч смотрит тяжело,
Бинокль взял
и видит —
в ломке линий
Торчит крыла зеркальный алюминий
Да опеpенье красного хвоста...
Цветные чемоданы в снежных кромках.
И женщина... Да, женщина в обломках
Со струйкой алой крови изо рта.

ГЛАВА 4

Студент Кохановский

Кохановский глядел на стакан воды,
Вращая его под наклоном.
Так. Не напрасны его труды:

Сегодня вытащен с новым планктоном
Тысяча первый сачок.
А в нем совершенно прозрачный рачок,
Так называемая «гипполита».
Этому зверю только копыта,
Ну и, пожалуй, хвост,
И можно подумать, что в нашем планктоне
Водятся в три санти́метра кони.
Три — это высший рост!

Студент вплотную к стакану приник,
Вздыхая то громче, то тише.
Но Петька-матрос, его ученик,
Напротив, вовсе не дышит.
Он подражает ему во всем
С восторгом младшего братца:
В манере брови держать колесом,
В насмешливом способе выражаться,
В чуть-чуть издевательском складе рта,
Чему мешали пышные губы —
Короче, в Петьке явно и грубо
Ехидная преобладала черта:
Что б ни случилось — Петух наготове
Держал свои ироницкие брови!
Но тут, при виде сего волшебства,
Забыл о бровях и дышал едва.
В каюте студента ночная мгла.
Хоть на́ пол упала лунная клетка,
Сама луна и взглянуть не могла
На то, как ведет себя эта креветка.
Креветка же скачет в граненом стакане,
Тычась о линию, как о ребро,
И в полутьме излучает сверканье —
Синее серебро.

Но вот Кохановский включает свет —
Каюта в золоте чистом.
И что же? Рачишка лампе в ответ
Становится золотистым.
Студент дает уже красный сигнал,
Но рак не повел и бровью:
Рак желтизну хладнокровно согнал
И стал наливаться кровью.

В другое бы время студент ликовал:
Только подумать — какая находка!
Но как забыть ему нежный овал
С изящной линией подбородка,
Грустные, ищущие глаза,
Темные, траурные ресницы
И, как меха канадской лисицы,
Красно-бурые волоса?

Студент в своих выводах шел напролом
(Не обвинишь его в умственной лени),
Он сразу же дал ей определение:
«Женщина с перебитым крылом».

Когда он вошел в каюту ее
(Из любопытства... Без всякого дела...),—
Подняв подбородок, дама сидела
Недвижно. Бронзовое литье.

Желто-лимонного цвета пижама
Сквозила, как плотной вязки вуаль.
Подняв подбородок, сидела дама,
Закинув руки и глядя вдаль.
О чем она думала?
Он говорил
О том, как все взволновались, право,
Найдя ее меж разбитых крыл
В шубке, от изморози корявой.
К тому же, знаете, пятна крови...

Молчит. Ничто ее не берет.
Бурые волосы, черные брови,
Смело окрашенный, яркий рот.
Закинув
за шею
тонкие руки,
Вопросительно глядя в окно,
Слушала голоса теплые звуки
Так, как будто ей все равно.

А он ей рассказывал всякие вещи
Про то и это, бог знает что...
Радист получил от матери вести,
Из бивня моржа смастерили лото.

А знаете вы, каким подарком
Была подошедшая к борту лиса?
(Рот бы казался плакатно-ярким,
Если б не легкая бледность лица,
А нарисованность каждой брови,
Пожалуй бы, тоже вульгарной была,
Если б не тайное нездоровье,
Если б не «перебитость крыла».)

Но вот, исчерпав и силы и темы,
Герой, в сердцах чесанувши темя,
Стал наконец собираться домой...
И тут-то дама сказала фразу:
— Не огорчайтесь, дорогой:
В меня влюбляются с первого разу.

Студент машинально включает свет,
Студент луну машинально включает —
Рачок, аккуратно меняя цвет,
То синим, то желтым ему отвечает...
(И Петька, преданнейший ученик,
Каких никогда не найти на юге,
Не от рефлекса, а от натуги
То синим, то желтым становится вмиг.)
Студент глядит... Пускай это вздор,
Пускай его упрекают в бреднях,
Но с ним
ведут
световой разговор!
И кто же, кто же его собеседник?
Рак, который в планктоне добыт,
Конь-лилипут без хвоста и копыт,
Из океана добытый в планктоне
Куцый карликовый пони.
Вот бы о чем рассказывать ей!
Вместо кучи ненужных вестей,
Вместо всего словесного зуда
Одно бы словцо про морское чудо.

Но разве она поверит ему?
А? Показать ей это воочью!
Сейчас же! Ах да... Неудобно ночью...
Но фраза-то, фраза!.. С чего? Почему?
Разве он дал какой-нибудь повод?

Да, он жужжал, как назойливый овод,
Ни один случай не был забыт,
Но он раскрывал корабельный быт —
Только всего. Как она смела!
Ей ли понять, чем биолог жив?

О, как недвижно она сидела,
Руки за голову заложив!
На волосах линяла окраска,
И это к ней удивительно шло.
Стоял чемодан с наклейкой *«Alaska»*,
Где горы поблескивали голо́,
Второй чемодан с такой же рекламой,
Третий пониже, но подлинней...
Вещи ревниво следили за дамой,
Вещи ухаживали за ней.
Самая мелкая околичность
С другими вещами включалась в ряд,
И в каждой из них была ее личность,
Неуловимый ее аромат.
Он не влюбился. Нет-нет, нисколько!
Женщина явно ошиблась в нем.
Третьего дня с Олисавой и Ольгой
Они по спардеку гуляли втроем,
И Кохановский, шутя с Олисавой,
Окончательно понял, что он
В девушку с поступью величавой,
В эту блондиночку, навек влюблен!
Еще бы! Представьте желтый цвет.
Ярче яркого. Как у Ван-Гога.
Так? А теперь поярче. Намного.
Чтоб цвет перешел уже в свет.
Есть? Добавьте солнечный зной,
Чтоб луч ослеплял горячее лавы,
Чтоб желтое вспыхнуло белизной,—
        Вот вам эскиз Олисавы.

Сидит ли она у электрокамина,
Гуляет ли... Полдень. Ночная ль пора —
Ее провожали глаза Константина,
Ей всюду светили глаза Петра.
Но если о девушке так томятся
Самые лучшие из парней,

Значит, достоинства в ней таятся,
Что-то большое заложено в ней.

В двадцать лет мы ищем чего-то
Необычайного. День за днем,
Как бы объятые тайной заботой,
Ждем! Воспаленно и радостно ждем!
Чувства преувеличены снами.
В искре чудится нам динамит.
Вся природа в сговоре с нами:
Каждый шаг обещанье таит.
Ветер доносит невнятное имя...
Бредешь по бульвару. Каштаны. Скамья.
Сел и знаешь: где-то меж ними
Одна-единственная! Моя!
Ты шепчешь тихонько, ты стонешь громко,
Ища свою среди тысячи глаз:
Кто ты, знакомая незнакомка,
Что для меня одного родилась?
Любая случайность, любая примета
Встревожит душу до самого дна.
Сердце взметнется: она ли это?
И тут же никнет... Нет, не она.
Это не блажь, не каприз, не причуда.
Нет ничего на свете сильней!
Юность в любви ожидает чуда,
И чудо всегда является к ней.
То, чего ты искал со стоном,
Вдруг находит тебя самого!
Надо лишь быть этой встречи достойным.
Чудо придет! Не вспугни же его!

Но это уже разговор a parte.
Вернемся к теме. Студент Болеслав,
Как все мы, пожалуй, со школьной парты
Жаждал чуда. И он был прав.
Он жил, объятый заботою тайной,
Боясь страстишкой любовь обмануть.
Нет, Болеслав не согласен с Татьяной:
Душа ждала не «кого-нибудь».
Рачок продолжал стрекотать в стакане,
То серебристый, то золотой,
То кровяным вином залитой,
Но это безумное стрекотанье,

Взрывая боржомистые пузыри,
Могло продолжаться до самой зари:
Не понял студент его буйного нрава,
Не видел ни лампы, ни лунных полос,
Он четко произносил: — Олисава,—
Вдыхая туман красно-бурых волос.

ГЛАВА 5

Проблема тигра

Олисава, конечно, знала о том, что на борт «Груманта» с острова Басаргина доставлена разбившаяся на самолете молодая женщина. В качестве корреспондента «Комсомольской правды» она безусловно должна была дать в свою газету хотя бы тридцать — сорок строк об этом незаурядном случае. Но, во-первых, этот случай нуждался кое в каком разъяснении, а во-вторых (и это, собственно, во-первых), Олисава обещала комиссару прочитать его работу о тиграх, а чувство долга было в ней развито до предельной степени.

Итак, исключительно из чувства долга Олисава с волнением глотала синие строчки, напечатанные мелким бисером чуть ли не карманного ундервуда, такого чуждого стихийной широте королёвской темы:

> «Появление волчьей стаи в Сихотэ-Алинском заповеднике повлекло за собой массовое истребление кабанов, лосей, изюбрей и пятнистых оленей, причинившее государству большие убытки. Перед администрацией встал вопрос: как спасти оленье поголовье? Сихотэ-Алинский заповедник по своей территории равен Бельгии. Говорить о том, что на таком пространстве можно организовать облаву на волков,— смешно. Зоолог Зыкин с этим совершенно согласен. Но какие меры борьбы с хищниками предлагает Зыкин? Никаких. Зоолог Зыкин никакого выхода из создавшегося положения не видит».

Олисава задумалась. Очевидно, зоолог Зыкин стоил Королеву немало крови: Королев почти не скрывает своего раздражения. Но, может быть, Зыкин прав? Если это действительно Бельгия, то облава, конечно, немыслима,— но тогда какой же выход?

> «Между тем выход имеется. Мерой борьбы с волчьей стаей является срочный загон тигров из близлежащей тайги на территорию заповедника. То поразительное впечатление, какое тигриный след производит даже на медведя, заставляя его пугливо уходить в сторону, та могучая власть тигриного запаха, которая в состоянии поднять медведя из берлоги в самый разгар зимней спячки, не может быть не замечена волком. Согласен: вопрос этот не исследован. Но в тех почти катастрофических условиях, о которых говорилось выше, риск превращается не только в необходимость, но в прямую обязанность лиц, ответственных за оленное поголовье заповедника».

Олисава снова задумалась. Решение просто ослепительное по смелости. Но допустим, что прав комиссар и волки исчезнут, как только почуют появление тигров. Да ведь тогда останутся тигры! И тогда несчастных оленей вместо волчьих клыков будут рвать тигриные когти!

> «Зоолог Зыкин полагает, что тигры не выгонят волчью стаю из пределов заповедника, ибо собачьи хищники не в пример подвижнее кошачьих. Соображение, вообще говоря, правильное, но к тигру оно неприменимо. Как раз именно к тигру. Этот зверь — прирожденный путешественник. Вся его жизнь — беспрерывное кочевье с места на место, причем расстояние, которое он при этом покрывает, поразительно. Вот одно из многочисленных моих наблюдений за миграцией тигра».

Дальше идут цифры. Ну хорошо, но это не ответ на вопрос, поставленный Олисавой: чем тигры лучше волков для оленного поголовья? Впрочем, если это бросилось в глаза ей, Олисаве, то не мог же не подумать об этом и Королев. Где-нибудь, наверное, есть разъяснение. Дальше где-нибудь. Но как ярко проявляется характер Королева в этих его заметках! С одной стороны, необычайная отвага мысли, с другой — каждая мысль прочно опирается на точные факты, им же самим добытые, то есть совершенно доброкачественные. Ах, если бы подружиться с этим человеком! Как много мог бы он дать Олисаве! (О том, что отец ее, Андрон Иваныч Басаргин, был человеком еще более высокого интеллектуального склада, о том, что открытие острова Васаргина было именно смелостью мысли, помноженной на великое изобилие чрезвычайно точных фактов, о том, что идея острова себя уже оправдала, тогда как идея тигра еще висела в воздухе,— обо всем этом Олисава и не думала. Впрочем, много ли мы весим в глазах наших детей? Но это опять лирическое отступление, а их у меня и без того великое множество.)

> «Холостая тигрица в зиму 1929—1930 гг. побывала вверх по реке Колумбэ до 59 км. от устья до Та-Нанче, на 78 км. тропы Терней-Сидатун, в Нанче сверху донизу, по Сяо-Нанче в Лючихезе, Анхезе, несколько раз на правой стороне Колумбэ, возможно, до речки Куалы и на левой стороне Имана и Сяо-Нанче. Во время своего перехода тигрица шла не только днем, но и ночью. Следы ее сплошь и рядом были покрыты бледно-алыми пятнами, так как она стирала себе лапы в кровь. Тем не менее тигрица шла. Размеры обойденного ею района не менее 60 на 70. Она, несомненно, покрыла свыше тысячи километров. Представляет ли это зоолог Зыкин?»

Любопытно: комиссар не позволил себе по адресу Зыкина ни одного оскорбительного слова, но та интонация, с какой он произносил слово «зоолог», была обиднее всяких слов. Но какое все-таки изумительное решение! Этот дурак Зыкин не в состоянии даже охватить всю широту королёвской мысли, всю остроту и блеск его диалектики. Действительно — выкурить волчью стаю тигриным запахом, тигром спасти оленя! Гениально!

Перед девушкой возникла могучая лысая голова с огромной черной бородой и вспомнился голос: тихий, глубокий, с какой-то волнующей хрипотцой, тихий, но горячий по тембру голос, за которым словно притаился другой, громовой силы; этот другой никогда не прорывался наружу, как бы считая чрезмерным свое вмешательство в мелкую житейскую воркотню, но присутствие его ощущалось, и от этого каждое слово приобретало особую значительность.

Девушке вдруг нестерпимо захотелось услышать этот голос. Вот сейчас же. Немедленно. Сию минуту.

Она порывисто встала, осторожно закрыла папку, бережно завернула ее в газету и стремительно вышла на палубу. Войдя в каюту комиссара, она сразу поняла, что явилась не вовремя,— у Королева сидел Кохановский. При появлении Олисавы они сразу оборвали разговор.

Олисава пламенно, до духоты, покраснела и думала только о том, как бы поприличнее уйти.

— Добрый вечер, товарищ комиссар! Здравствуйте, Болеслав. Я принесла вам, товарищ комиссар, одну вещь. Знаете?

— Положите на стол.

Королев никогда не говорил «пожалуйста», и вообще он избегал тех вводных слов и междометий, без которых никакая живая речь невозможна. Но у него была именно такая невозможная речь. Все слова стояли у Королева на месте, а в лишних он не нуждался. Олисава это знала. Но сейчас обрубленная фраза Королева показалась ей такой нестерпимо грубой, что, от застенчивости становясь дерзкой, она произнесла до оскорбительности небрежно:

— Вы просили меня сообщить вам мое мнение о вашей работе, но сегодня у меня срочное дело. Возьмите!

Она положила папку на стол и оглянулась на Кохановского. Студент улыбнулся ей одними губами, но комиссар не заметил ее дерзости: девушка занята, у нее работа, она изложит свое мнение позднее. Все понятно.

— Хорошо,— сказал комиссар, выжидательно поднял на Олисаву глаза и сощурился.

Олисава чуть-чуть усмехнулась половинкой лица, что иногда предшествовало у нее слезам, и пошла к выходу.

— Товарищ Басаргина! — окликнул ее комиссар.— Говорят, вы знаете английский.

— Очень мало.

— Французский?

— И того меньше.

— Эта женщина, Жанна Руссель, жалуется, что ей не с кем разговаривать. Я пристроил к ней уборщицу Стешу. Но Стеша знает только обиходное. Когда освободитесь, зайдите к женщине на полчасика.

— Я посмотрю. Если найдется время.

— Когда освободитесь. И ты заглядывай! — обратился он к студенту.— По-английски говоришь бегло?

— Говорю, но исключительно жаргоном, как английский портовый матрос.

Он засмеялся и поглядел на Олисаву. Но Олисава уже уходила: она боялась паузы с новым выжидательным выражением королёвских глаз. После ее ухода комиссар вынул откуда-то стеклянную банку, наполненную буроватым снегом, и поставил перед студентом.

— У этой женщины, Жанны, если говорить об анкете, все пригнано «заподлицо». Молодая француженка из Нью-Орлеана прилетела на собственной «амфибии» к отцу повидаться. Отец живет на Аляске, работает миссионером. Побывши у него две недели, она вылетает обратно в Нью-Орлеан. Но прежде чем лечь курсом на юг, женщина решила покружиться над Арктикой. Погода хорошая. По словам женщины, она хотела долететь до мыса Хоп. Но вдруг поднялась пурга, сбила ее с курса, вдобавок заело руль высоты, женщина стала нервничать,— короче, американская подданная продержалась в воздухе три часа и сделала вынужденную посадку на первую попавшуюся сушу. О том, что эта суша — советская территория, ей было неизвестно.

— Так. Ну и что же?

— На первый взгляд все кажется правдоподобным. Но вот что подозрительно: самолет при падении надорвал все свои органы, у летчика же все целым-цело, ни одна косточка не хрустнула.

— Позвольте, Корней Корнеич, а как же кровь?

— А ты видел эту кровь?

— Не только я, все видели — изо рта текла струйка крови.

— Кровь? А может быть, клюква?

— Ну? Неужели?

— Не утверждаю, но сомневаюсь. В этой банке находится снег со следами «крови» Жанны Руссель. Я собрал его лично. Надо, Болеслав, сделать анализ. Можешь?

Кохановский взял банку в руки и вытряхнул из нее снег на ладонь.

— Самая настоящая кровь!

— Уже определил? Без микроскопа?

— Можно, конечно, поглядеть и в микроскоп, но ясно и без него. Клюквенный сок, попадая на снег, остается красным, кровь же в снегу моментально свертывается и чернеет. А ведь эта бурда скорее черная, чем красная.

Королев снял трубку и потребовал каюту Басаргина.

— Разрешите зайти, Андрон Иваныч?

Опустив трубку на рычажок, хозяин запер ящики письменного стола, сунул ключи в карман, выбросил из банки снег в раковину, смыл его струей воды из крана и шагнул за порог. Вторым вышел гость.

— Что вы хотите сообщить мне, Корней Корнеич? — спросил Басаргин, любовно оглядывая великана.

Рыжеватый, кудрявый, почти всегда веселый, Басаргин на все и на всех смотрел совершенно влюбленными глазами. Дочь, которую он обожал, корабль, который он любил, льды, к которым относился с уважением и суеверным страхом помора, пухлая лоция, вынутая для справки из шкафа, хрустальная чернильница с медным шлемом — все, решительно все освещалось его синим любовным взором. Он уставился на комиссара с таким удовольствием, я сказал бы — с таким вкусом, как глядят на старого друга, на близкого родственника после долгой-долгой разлуки,— между тем виделись они всего какой-нибудь час назад.

— Что вы хотите мне сообщить?

— Кохановский убежден, что это кровь.

— Какой Кохановский? Какая кровь? Ах да... Ну что ж, я был убежден в этом с самого начала. Вряд ли американцы работают столь примитивным образом, Корней Корнеич.

— Думаете, ошибся?

— Полагаю, Корней Корнеич. К тому же после гибели Амундсена и его дирижабля какой чудак заберется в Арктику на самолете?

И вдруг глаза командора озарились новой идеей.

— Черт возьми! А? Да ведь все дело в том, что именно чудак-то и забрался! Ну конечно! Эта чудачка Жанна полетела в Арктику, ровно ничего не зная об Амундсене. А вот тут-то собака и зарыта! Как это часто бывает, неведение приводит к открытиям!

— М? Да, да! Конечно. Допустим, кровь. Но если так, стало быть, Жанну эту тряхнуло, и тряхнуло основательно. Верно?

— Что? Я говорю, дамочка, сама того не подозревая, присела на остров, открытие которого я подготовлял добрых тридцать лет!

Это был разговор двух глухих. Однако последняя реплика как-то дошла до Королева, и он поспешил успокоить Басаргина:

— Вам, Андрон Иваныч, опасаться нечего: американцы этим не воспользуются — им сейчас не до того. Остров будет называться островом Басаргина, а не островом Жанны Руссель.

— Ах, я не об этом! Вы слушайте, Корней Корнеич, слушайте дальше! После гибели Андре, после катастрофы Нобиле и Амундсена все полярники, да вот и мы с вами, решили, что с воздуха исследовать Арктику нельзя, невозможно, немыслимо. Так петух, если провести по его клюву невидимую черту пальцем, стоит, не шелохнется, уверенный, что привязан. В науке таких петухов сколько угодно. А вот барынька эта, ни о чем не думая, взяла да и отвязала петуха! Подумайте: ведь не будь внезапно сорвавшейся вьюги, Жанна Руссель могла бы открыть остров Басаргина безо всякой катастрофы!

Андрон Иваныч с восхищением глядел на Королева. Как ученый, он был уже по уши влюблен в Жанну и ее глупость.

— Я говорю не о катастрофе,— угрюмо отозвался Королев.— Вы скажите мне вот что: если летчика тряхнуло так, что у него изо рта пошла кровь, значит, требуха его, ливер его должен же быть как-то поврежден! Правильно?

— Это не важно! Мы будем ее лечить! — воскликнул Басаргин.— Важно, что она нечаянно открыла остров, над которым наука сознательно билась три десятилетия. Это обстоятельство опять возвращает нас к идее исследования Арктики с воздуха! Отсюда вывод — следующую экспедицию мы с вами попробуем организовать на самолетах!

Королев крякнул. До чего же трудно работать комиссаром при таком начальстве! Литература поставила проблему «комиссар — командир» в классических образах Фурманова — Чапаева: партийный интеллигент при беспартийном крестьянине. Но Фурманов и понятия не имел о тех трудностях, какие выпали на долю Королева, рабочего-коммуниста при беспартийном интеллигенте. Чапаев неотесан и стихиен, но, по крайней мере, мыслил-то он как политик! Это был революционер, а задача комиссара сводилась главным образом к марксистской шлифовке его взглядов. Задача не легкая, но и не такая уж трудная, поскольку цель у обоих была одна: разгром белой гвардии во имя блага рабочих и крестьян. А тут? Попробуй воспитай великолепно граненный и по-своему мощный интеллект, мысль которого работает в совершенно особом направлении!

— Андрон Иваныч, выслушайте меня внимательно. Я говорю с вами как ваш помощник, отвечающий за политический режим плавания.

— Слушаю! — сухо произнес командор, который болезненно относился к малейшему напоминанию о своей беспартийности.

— Вот вы говорите: «Будем лечить». От чего лечить? Диагноз? Самолет расшибся так, что у летчика пошла кровь горлом,— стало быть, летчик болен, чувствует себя плохо, нуждается в срочной медицинской помощи. Так или не так?

— Ну так.

— А на самом деле? На самом деле, по словам уборщицы Стеши, Жанна Руссель чувствует себя превосходно!

— Она жалуется на тошноту.

— Это и я могу пожаловаться.

— Да... Конечно... Особенных повреждений у нее не наблюдается. Но разве не бывает так, Корней Корнеич, что при самой тяжелой аварии летчик остается совершенно невредим?

— Бывает. Один на тысячу.

— Но отчего же не предположить, что перед нами именно такой случай?

— А почему я обязан предполагать именно этот случай? Когда имеешь дело с незваным гостем из Америки, разве мы не обязаны подозревать самое худшее? А что, если это агент, специально заброшенный к нам на корабль?

— Зачем?

— А затем, чтобы фотографировать все, чем интересуется ну хотя бы «Бюро стратегической информации»?

Андрон Иваныч снисходительно улыбнулся.

— Но мы можем попросить ее не фотографировать наших берегов, Корней Корнеич.

— Фотографировать можно и глазами.

Басаргин встал, прошелся по каюте, сел на диван и обессиленно уфнул: как трудно быть начальником экспедиции при таком комиссаре!

— Вы меня простите, дорогой Корней Корнеич, вы, конечно, представитель партии, я же и так далее и тому подобное, но, видите ли, у меня есть вкус! Да-да. Вот именно. *Вкус*. А вкус — это умение отличать истину от фальши не только в искусстве, но и в науке, но и в практической жизни! Так вот: вкус этот самый и не позволяет мне с вами согласиться, товарищ комиссар. Мы подобрали совершенно беспомощную девушку, а вы с места в карьер объявляете ее какой-то женщиной-вамп, которая до́ смерти надоела нам по авантюрным фильмам. Вкус-то, вкус у вас есть, Корней вы этакий Корнеич?

— Может быть, и нет. Но нет его и у наших противников. С тех пор как государства стали применять шпионаж, они работают одними и теми же фигурами: военный, покупающий предателей на золото; штатский, вербующий их путем пьянки и провокации; женщина, опутывающая нужного субъекта и толкающая его на путь, в котором заинтересовано ее правительство.

— Ах, вот оно что! Это, следовательно, нечто вроде постоянных масок итальянского театра — Арлекин, Пьеро и Коломбина?

— Мне, Андрон Иваныч, не до смеха. И вам тоже.

— Тем более! Именно поэтому я и не хочу ставить себя в смешное положение. В юности я тоже любил Майн Рида и тоже играл в индейцев. Однако в нашем возрасте... Нам ведь не пятнадцать лет! Мне очень грустно все это вам говорить, но если бы вы наблюдали себя со стороны... Короче говоря, вы в качестве комиссара сделали все, чтобы предупредить меня относительно этой американки, и я в качестве командора экспедиции весьма вам за это благодарен.

— Так. Стало быть, аудиенция окончена?

— Что вы, что вы, Корней Корнеич! Ради бога!.. Я только хотел выразить вам мое скромное мнение.

— Вы не следите за американской печатью об Арктике.

— Я-а?! — Басаргин весь побагровел от этой глубочайшей несправедливости.— Я? Не слежу? Ну, знаете, Корней Корнеич... Все ожидал я от вас услышать, но *это*! Боже мой! Я не слежу?! Да вы читали, милостивый государь, мои последние работы о палеокристическом льде? Чего стоят там хотя бы одни ссылки на источники!

— Американцы пишут, что необходимо утвердить на севере стратегическую область, якобы имеющую «жизненное значение» для обороны США. Об этом-то читали? Передовой форпост области — Аляска! Далее — Алеутские острова, мысы Барроу, Коцебу, Лей, затем базы военно-морских сил в Ситхе, на Кадьяке, Уналашке, Атту. Прибавьте остров Кыска — предполагаемую стоянку подводных лодок. Что это такое? Самый настоящий полярный фронт! Против кого он организован! Против гренландских китов?

Басаргин вежливо улыбнулся шутке, но Королев и не заметил, что сострил.

— А там, где фронт, там должна быть и разведка. И если военный штаб США задумал играть с нами в индейцев, то мы обязаны включиться в эту «игру», если нам действительно не пятнадцать лет.

— Ну что ж, логично. Но это вообще! А сейчас мы говорим о частности — о Жанне Руссель. Какое отношение ко всему этому имеет Жанна Руссель? Не вообще женщина опутывающая, а именно Жанна? Где факты? Я ученый и люблю точность. Факты где?

Королев усмехнулся.

— Факты? Немного стоят факты, если не иметь чутья. Когда видишь в таежном снегу разрыхленность в сто семьдесят сантиметров длины и восемьдесят пять ширины с особо оттиснутой дорсальной линией — это факты, которые другому ничего не скажут, а зверобою говорят, что здесь лежал тигр. Вы спросите: а где же оттиски головы, лап, хвоста? Не знаю, но знаю, что это тигриная лежка.

Эта тирада была произнесена с явной горячностью, а горячность повлекла за собой жаркие грудные резонаторы, которые почему-то называют «хрипотцой» и в которых таится огромное обаяние.

— У вас такой удивительный голос, Корней Корнеич, что, пока он звучит, вы можете убедить всякого в чем угодно. Но стоит вам замолчать — и все ваши силлогизмы разбиваются о здравый смысл. Вы вот утверждаете, будто авиатор не мог не разбиться, если разбился аэроплан. Хорошо. Допустим. Но что же тогда получается?

— Самолет упал без летчика.

— Значит, летчик спустился на парашюте? Но тогда давайте поищем парашют!

— Парашюта нет! Я обошел весь остров.

— Но, может быть, она его утопила? — спросил Басаргин, сам превращаясь в следопыта.

— В ручье?

— Почему в ручье? В океане!

— Волочить махину с обледенелыми стропами через торосы до чистой воды — разве это под силу женщине? Да еще хорошо, если у берега чистая вода, а то ведь сало. В сале парашюта не утопишь.

— Ну вот, видите, видите! Сами себе противоречите! Вы убеждены, что «амфибия» упала без летчицы, но если при этом отвергается версия о парашюте, то как же она очутилась на острове?

— Этого-то я и не знаю.

Командор соболезнующе глядел на комиссара.

— Не в том, однако, дело, кто из нас прав,— глухо сказал наконец Корней Корнеич.— Сейчас дело в том, чтобы убрать с корабля эту женщину.

— Убрать? Не возражаю. Но каким образом?

— Придумать надо.

— Вот и придумайте, дорогой, придумайте!

Басаргин взял со стола свою авторучку и с деловитым видом занялся совершенно ненужной чисткой золотого перышка, давая понять, что ему некогда заниматься всей этой чепухой, а если интересно комиссару, то это его частное дело. Но Королев, ничего этого не замечая, сказал своим неподвижным голосом:

— Сделаем так: свяжемся по радио с губернатором Аляски и предложим ему прислать за американской подданной самолет. Согласны?

— Пожалуйста. Связывайтесь.

— Кстати, это разрешит и наш с вами спор: пришлет — правда за вами, нет — значит, прав я.

ГЛАВА 6

Жанна и социализм

Сибирское море,
Сентябрь

Закинув руки, дама сидела
Так неподвижно, точно спала.
Гибкая линия тонкого тела
Продуманной до предела была.
На даме шелковое сукно,
Алый бархат короткой блузки.
Держа на коленях роман французский,
Дама бесстрастно глядела в окно.

А Кохановский глядел на даму.
Сердце стучало все жарче, сильней:
Когда бы вогнать эту живопись в раму,
Какой Ренуар сравнился бы с ней?

Все в ней по-своему — тонко и ярко!
Черты обычного устранены.
Она волновала его, как марка
Странной заокеанской страны,
И каждый час, проведенный с нею,—
Как путешествие в эту страну...
Но дама, закинув руки за шею,
Вся потянулась и молвила: — Ну?! —
Ах да! Ведь он рассказывал ей
О первобытной жизни своей.
И он продолжает пространные речи
На портовом английском наречье,
Которое выучил в те года,
Когда еще юнгой плавал на стройки.
(В эпоху нэпа на Дальнем Востоке
Британские мы фрахтовали суда.)

— Теперь я, конечно, интеллигент
И дань отдаю английским романам.
А был беспризорным. В четырнадцать лет.
        Тогда же стал атаманом.
У нас атаманом считался тот,
Кто больше всех жратвы достает,
А я доставал и обильней и чаще.
— Крали?
            — Ничуть!
                        — А как же?
                                    — Да так.
Я ведь на всякие штуки мастак.
Купил на базаре очки бычачьи,
В театре лохматые брови достал,
Короче — карликом стал.
— А карликам подают хорошо?
— Э, нет! Тут дело в краплёной колоде.
Карлик — он ведь вроде большой,
Взрослый, так сказать, вроде.
С ребенком не станут в картишки играть,
А с карликом — почему же!
Так что моя беспризорная рать
Почти ежедневно имела ужин.
— А если поймают?
                        — А что с того!
Карлик вроде ребенка.

Пустят взашей по мостовой —
Вот и все наказание.
— Тонко!
— А ночью, бывало, в горы уйдем,
Пещеру отыщем повыше
И лихо пируем. Ну, а потом
Каждый накроется сверху афишей
И крепко спит. Под бумагой тепло,
Если калачиком скорчишь тело.
С афиш я и грамоту понял: «Отелло»,
«Гроза»,
«Эсмеральда»,
«Нинон де Ланкло».
Это мне заменяло сказки:
Не «га-га-гуси» — «Нинон де Ланкло»!
Может, от этого и пошло
Мое неумение жить по указке?
Может, от этого я и такой,
Лишенный пригретых с детства традиций...
И все-таки я не хотел бы родиться
В семье, где тишь да покой.
Есть какая-то грозная мудрость
В том, что иной не по правилам рос.
Его бытие никак не запудрить:
Он перед миром стоит, как вопрос.
Жизнь утверждается вечной проверкой:
Мы ходим по льду, не чувствуя дна,
А морж головой пробивает поверхность,
И ясно, что подо льдом глубина.

Студент замолчал. В небесах, точно гамма,
Шли переливы каких-то теней.
— Да... Глубина...— протянула дама.—
Но лучше не думать о ней.—
По бледным щекам проступили пятна,
На миг показалось — немолода.

— Жизнь сурова и непонятна.
Главное — непонятна. Да.
Однако зачем вы мне рассказали
Про вашу игру?
— Про нечистый картеж?
— У каждого в жизни пятно, но едва ли

Надо о нем рассказывать.
— Что ж,
Может быть, и не надо. Но, знаете,
Мы ведь, советские, таковы:
Прошлого не боимся, как вы.
Я, например, не из высшей знати.
Прямо скажу. Наша гордость в другом:
Был беспризорным, спасал утробу,
А власть засадила меня за учебу —
И лет через двадцать, глядишь, нарком!

Он засмеялся в лицо своей даме.
Дерзкий смех выражал торжество.
Дама с минуту глядит на него
Черно-янтарными глазами
И чуть повела
уголком
рта,—
Была у нее такая черта.

— И все же вы преступили закон.
Вы жульничали. А это бесчестье.
— Против бесчестья я был закален
Тем, что партнеры мои сверхбестии.
Впрочем, вы не поймете меня.
Двадцатые годы — та-кая эпоха...

— Да. Не пойму. Вы не верите в бога,
А я адвентистка седьмого дня.

Мадам потянула коралловый ящик,
Взяла сигаретку, размяла ее,
Спичку зажгла.
— Вы отличный рассказчик,
Но только... Простите мое нытье...
Сегодня я так почему-то убога,
Возможно, что это хронический сплин,
Поэтому что-нибудь, ради бога,
Без философии и глубин!
Лучше всего обрисуйте мне
Людей экипажа. Хотя бы вчерне.
— *Всех?!*
— Ну, забавных.—
И Кохановский,

Севши на ручку диванных перил,
Английский растягивая по-московски,
Снова без умолку заговорил.
Он разворачивал перед нею
Всю корабельную галерею —
И, юморком, как бликом, согрет,
Возникал за портретом портрет.

— Командор. Он, по-моему, ясен:
В детстве Архангельск, поэзия льдов,
Дежнев, Баренц, де Лонг, Седов.
Но жизненный путь его не напрасен:
Сами видели — остров открыл!
Впрочем, его основная слава
В том, что дочь его — Олисава.

— Курите?
                    — Что? Никогда не курил.
Благодарю... О девушке этой,
Столькими юношами воспетой,
Судить не рискую. Губы, глаза —
Все это вы увидите сами.
Я же... я должен признаться даме,
Не смыслю в женщинах ни аза.
Знаю, что ей в Архангельске тесно,
Что надоела поэзия льда...

— Оставим девушку. Неинтересно,
Кто это черная борода?

Перед студентом грозно возник
Стеклянный сосуд с кровавой бурдою...

— У нас тут многие с бородою.
— Но я говорю про того из них,
Который... Ну... Такой мрачный образ...
— Мрачный?
                      — О да!
                                      — Не знаю, мадам.
О светлых любую справочку дам,
Но мрачность — увы! — не моя это область.

Мадам засмеялась. Студент польщен.
Мадам погрозила. Чудесная кара!

Но оживленней становится он,
Избавясь от образа комиссара.

— А вот Петро — это пыл! Порыв!
Хоть с неба звезд не хватает,
Зато убежден, что там, где прорыв,
Его-то и не хватает.
Утром встанет — все трепещи.
Петух раскрывает газету.
«Что? Недород? Э-эх, трепачи!
Жалко, меня там нету».
Вот и сейчас где-то прочел,
Кажется, даже в «Правде»:
«Арктика? Хм... А я ни при чем?
Ну, без меня не справитесь!»
И он явился, надев берет
И галстуком солнце ошпарив.
Самый любимый его поэт —
Александр Сашкажаров.
Кстати, отмечу, мадам, что он
В Алисафию влюблен.

Кочегар Котя под пару ему —
Тоже влюблен в Алисафию.
Но Котя пошел во льды потому,
Что с детства любил географию.
Уроки, наверное, как-нибудь,
Но глобус звучал, как музыка:
Беринг, Аляска, Северный путь,
Индейцы с запахом мускуса.
Думал: вырастет — купит ружье,
Норвежской бородкой обра́мится,
И нашего парня
возьмет
ужо
В полярное плаванье Амундсен.
Будет и он
в шкурах
пригож,
Во льду не отпразднует лодыря.
Котя уверен, что он похож
На Смока из Джека Лондона,
Но только американец Смок
Искал на Аляске денег,

А Котя, понятно, так бы не смог —
Котя любит идейных.
Однако на этом большом корабле
Есть и помельче идейки.
К примеру, Тит Агафоныч Жалейкин.
Чего ему надо? Семьсот рублей.
Семьсот червонных стоит бычок.
Хороший бычок. Заморской породы.
Что ж ему, братцы, лютость природы?
Его не удержат ни бог, ни чох.
Он смотрит глазом отнюдь не лисьим,
Он честную душу на север везет,
Он будет строить социализм,
Как сговорилися: за семьсот.
Сам он мужик не кулацкого духа,
Незачем этакого цеплять,
Однако у Тита есть молодуха,
А у нее с полсотни цыплят.

Пытались его провести в колхоз.
«Что ж! — говорит.— Как люди!»
Но баба уперлась. Ну прямо до слез:
«Куда с курями пойду-де?
Нешто у нас двенадцать шкур,
Нешто добро отдают другому?
Коли идти — прирежем кур,
Коли нейти — оставим дома».
Пошел мужик поглядеть в Совет.
Красная скатерть. Повсюду свет.
Стоят у стола крестьяне,
И каждый другого тянет:

«Пойдем, что ли, а? Хозяйство большое,
Знай работай да ешь!»
Бежит мужик с озаренной душою,
Бабе кричит: «Режь!»
Побег назад, а там все те ж —
Не всякий хочет, значит.
Ну, тут мужик обратно скачет,
Бабе кричит: «Не режь!»
И вдруг опять открывается брешь:
В колхоз идут три брата.
Опять мужик бежит обратно:
«Режь!»

Так и гадал, вроде «любит — не любит».
Трудная шла в человеке борьба,
Но уж теперь племенного купит,
Как говорится, убьет бобра.
Придет колхозник, притащит телку,
Он ему цену — и тот ни гугу.
Да-а... Предвидится кой-чего толку
От этого плавания в снегу.
И он не стесняется этой правды:
«Прямо нельзя — так уж мы бочком».
Как за руном неслись аргонавты,
В Арктику дядя плывет за бычком.
А уж воротится — во! Победитель!
Зря ли в Арктике мерз и дрог?
Как вы этакого убедите
В бездорожье его дорог?

Дама: — А где же тут бездорожье?

— Как это где? Племенной-то бык?
Частный в колхозе? Хо!
— Ну и что же?
Нет, господин — разумный мужик.
Каждый ищет хорошей жизни.
Жалейкин все рассчитал вполне:
Этот бычок — превосходный бизнес!
Все это, милый, понятно мне.
Впрочем, я очень слаба в коммерции:
Центы, проценты — фи!
Но если где разговор о сердце,
Если речь о бациллах любви,
Тут уж я, так сказать, на коне,
Не хуже античных Фрип и Аспазий.
Итак, этот фермер в вашем рассказе
Вполне, повторяю, понятен мне.
Но непонятно кой-что другое:
Влюблен кочегар и влюблен матрос;
Любовь — это самое дорогое,
Меж двух сердец единственный мост,
Любовь — это двое идут до гроба!
Но Костья влюблен, и Петер влюблен,
Значит, на девушке женятся... оба?

— Оба?
— У вас ведь общность жен.
Это объявлено вашим декретом.

— Кто вам сказал?
— Мне сказали об этом
Очень солидные господа.

— Хо! Вы доверились темным лицам.
— Значит, неверно?
— Чушь!
— Но тогда
Где же социализм?

ГЛАВА 7

Еще о любви

Случилось то, чего мы опасались:
Сломался винт, и «Грумант» недвижим.
А в небесах уже сквозит усталость,
И наступает паковый[1] режим.
Пришлось придумать наспех паруса
Из угольных мешков. И в черных перьях
Мы ловим ветровые голоса,
Пытаясь выйти на чукотский берег,
А с парусов, от кухни разгорясь,
Течет ручьями угольная грязь.

Так. Экипаж расписан по бригадам.
С утра на льдине копошатся рядом
Матрос, картограф, химик, адмирал,—
Девятый день один сплошной аврал.
Раскалывай, корчуй или копай —
Здесь труд на сотни навыков и вкусов.
Мы отбиваем ледяной припай,
Мы подрываем корабельный кузов,
Мы, в толщу зарывая динамит,
Ведем по льду удары за ударом —
И Арктика раскатами гремит,
И снег порхает пополам с нагаром.

---

[1] Пак — тяжелый, десятилетний лед.

Но лишь раскаты сникнут и замрут,
Как напролом в пороховую перхоть
Из проруби взмывает на поверхность,
Стрекала излучая, изумруд.
Вот он уставил страшные глаза
Во всем своем цветном великолепье!
Но мальчики сбегаются, скользя,
Влача с лебедки за собою цепи.
Меняя лики и разя огнями,
Он, угасая, к сердцу отбежал:
В прозрачном теле бешеное пламя,
Как в белом дыме голубой пожар.
Его подтащат к носу корабля,
Команда: «Ход!» — и трепет ледостава.
Он загорелся едкою отравой,
Он отползает. Ссадины болят...
Он крупно плачет. Катятся смарагды.
Он умирает. Тише, голоса!
И Сеня с Буга
и Антошка с Лахты
Глазеют на него во все глаза.
Погиб он, бельма страшные тараща,
Померкла глубина его зеркал.
Осыпался. Но радугой дрожащей
Поблескивает каждая серьга...
И всем казалось, будто это спрут,
Арктический подводный организм.
Но снова льдины из пробоин прут,
Сверкая красным, голубым и сизым,
И снова, невзирая на снежок,
И вновь, какая б ни была погодка,
Гремели лом, пешня и обушок
Да лязгала проворная лебедка.

Но даже ночью, яростные, мы,
Посвечивая желтоглазой фарой,
Дежурили у носа и кормы,
Чтоб уберечь корабль от аварий.
Мы были кораблю как бы надеждой
В его стремленье вырваться на Дежнев,
Мы жили не в каютах, а на льду,
Мы ели и курили на лету,
Нам некогда об отдыхе подумать,
Тут спали стояком, без одеял...

Так слабое железо одевал
Могучей волей *«Остров Грумант».*
Весь день работал с нами Королев.
Он вывозил на свалку изумруды,
Смарагды и серебряные руды,
Потом велел прогуливать коров
И сам следил за этой процедурой.
Но почему Корнеич нынче хмурый?
Корабль вмерз? Но это ничего,
Не зря же все настроены упрямо.
Гораздо больше мучила его
Ниспосланная небесами дама.
Как все-таки могло произойти,
Что эта бабочка из мюзик-холла
«Случайно» очутилась на пути
Единственного в море ледокола?
Допустим так: произошла беда,—
Действительно, свирепы нынче вьюги!
Но разве мало островов в округе?
Зачем же принесло ее *сюда?*
И как она сумела приземлиться
На честном слове, без хвоста и крыл?
Ты злишься, друг?
Ну что ж, ты можешь злиться,
А все же тайны этой не открыл.
Ведь вот и клюква оказалась кровью!
Вдобавок Болеслав ему сказал,
Что не завидует ее здоровью.
А кстати, где он? Здесь еще аврал,
Еще идет сражение у бака,
А Болеслав отсутствует, собака!

И Королев в сердцах бросает лом...
Махнул по трапу, побежал по юту
И раздраженно, чуть не напролом,
Ввалился в затемненную каюту.
Раздался голос: — Почему без стука?
— А почему без света, гражданин? —
И вдруг увидел даму.
Вот так штука!
Студент пролепетал, что Басаргин
Позволил взять очередную драгу,
Потом шепнул, предвидя передрягу.
Что эта дама... видите ль... она,

Хоть не имеет к драге отношенья,
Пришла взглянуть —
в ответ на приглашенье! —
На обитателей морского дна.

И Королеву сразу стало легче,
Хоть и претил незваный пассажир.

Кохановский

А вы не видали моей коллекции?
О, это целый мир!

Смущенный студент, не жалея усилий,
Начал трепаться в развязном стиле,
Но роль у бедняжки была сложна:
С одной стороны, он отважно и яро
Хотел болтовней ублажить комиссара,
С другой — надо помнить, что здесь *она*...

Кохановский

Самый занятный — вот он, рачок.
Зовут его Ипполитом,
С виду усатый такой старичок,
Страдающий колитом.
Но в нем заложены три огня —
Красный, желтый и синий.
Они-то, его особу храня,
Сливаются с водной пустыней.
И рак, в золотистый попавши прибой,
Себя в желтоватый красит,
Но лунною ночью зажжет голубой,
А красный и желтый гасит.
Так, фонарями сокрыт и согрет,
Проходит моря и реки,
Но сей живописец знает секрет,
Какого не знали греки:
И если его засосет прилив
Глубоководной зоны,
Он, синий с желтым в одно перелив,
Горит на дне как зеленый.
И вдруг завидит подругу, но та
Иные преследует цели.
Тогда зажигает он все цвета
Знаменем Венецуэлы,

Тогда загорается радугой он,
Забыв о тонах и влагах,
И, объявляя всем, что влюблен,
Сияет в огнях и флагах.

Глядит Королев, не веря глазам:
Студент, повернувшись к таинственной даме,
Сам озарился... Ну да, он сам
Венецуэльское знамя!

Королев оглянулся на Жанну Руссель. Брови ее, черные, тонкие, с изгибом, чуть-чуть приподнялись, точно она впервые увидела Кохановского. Жадные губы слегка улыбались. Комиссар видел, что она прекрасно понимает причину сегодняшнего блеска нашего мальчишки. Этого еще не хватало! На корабле разыгрывается роман между советским студентом и американской шпионкой! Однако дурака надо одернуть.

— А почему здесь нет Олисавы? — спросил Королев по-английски, резко нажимая на согласные звуки, как это делает большинство славян.

Вопрос бестактный и явно нежданный.
Все же придется его отбить.
Студент оробело взглянул на Жанну.
— А разве она обязана быть?

— Ну, не обязана, а все-таки. Ты ведь с ней последнее время не разлучался. Куда она, туда и ты.

— Корней Корнеич! Что вы плетете?
Вы, очевидно, это о Коте?

— Ах, вон как! Ты уже отрекаешься от нее? А кто говорил о ней, что это замечательная русская девушка, что хотя она и не красавица, но так по-русски мила обаянием простоты,— кажется, так? — что это делает ее облик каким-то особенно родным, задушевным?

— Я? Говорил? — Его бросило в жар.—
Я? Опомнитесь, комиссар!

— И еще говорил, что вся она светится, как счастье, что при ее поморском говорке не надо и песен, что когда видишь ее русые косы, обернутые вокруг головы, всю ее стать, ее повадку, то кажется, будто слышишь птах, полевое зверье, шелест березки... Я и слов таких не подберу, какие тебе в голову пришли.

Студент ничего уже не говорил. Он только глядел на комиссара во все глаза, и мир казался ему чудовищным, потому что в нем может произойти все самое неожиданное.

— Представляете? — обратился комиссар к Жанне, как бы ища в ней сочувствия.— Так воспеть нежную девушку, увидеть в ней чуть ли не образ своей родины,— а вы знаете, что это значит в Арктике? — и вдруг забыть ее при встрече с первой попавшейся иностранкой. А? Серьезный это человек? Может государство положиться на такого человека? Скажите сами, мадам. Взять хотя бы ваших соотечественников. Разве американец пойдет на такое? А русский, оказывается, идет!

Дама надела песца на плечи,
Встала, за медную ручку взялась.
— Мосье произносит странные речи.
Любовь... У любви безграничная власть.
Любовь, господин, не знает отчизны.
Она вне упрека, вне укоризны,
Пред ней отступает любая мораль,
Порочная, она чище лилий.
Не понимаете?
— Нет.
— Жаль!
Значит, вы никогда не любили.

Студент восхищенно слушал ее,
Купаясь в ее интонациях властных.
Она говорила только на гласных,
Подчеркивая превосходство свое.
А он эти гласные чувствовал кожей,
Он будто увидел детские сны.
Она еще больше стала похожей
На марку заокеанской страны.
Рисунок марки был острый и четкий,
Живопись так же резка и остра!
Но дама добавила с теплой ноткой,
Как, вероятно, сказала б сестра:

— Что же касается девушки нежной,
То девушка эта вправе взыскать
С этого юноши тысяч пять
За несбывшиеся надежды:
У нас в Америке испокон
Существует такой закон.

ГЛАВА 8

Еще о тигре

Болесь прекрасно уже понимал,
Что дама мещаниста до предела,
Но... не по-русски. В этом все дело.
Рот ее был не по-русски ал,
А каждая мысль — плоской да узкой
И все ж неожиданной, ибо нерусской.
Студент с интересом разглядывал их,
Точно коллекцию насекомых,
Таких причудливых, незнакомых,
Крошечных, но забавных таких;
Божьего мира в этаком виде
Дома он никогда не видел,
Но ежели встретил его на пути,
Как биологу мимо пройти?

Дама сидела, скрестивши руки,
И говорила. Цветное шитье —
Индейские птицы, индейские луки —
Охватывало фигуру ее.
Жакет обдуманно был велик,
В плечах он давал жестяное торчанье,
И все ж первобытность грубейшей ткани
Ей придавала особенный шик:
Женственность видела здесь мерило
Сверхизящества! В этом стиль.
Дама пленительно говорила,
Слов избегая по мере сил.
Красивый рот, обольстительно алый,
Утóнченное проявлял мастерство:
Казалось, дама в губах держала
Букву «э» или букву «о».
Буква снималась, плавно летела,

Волнуя не столько ум, сколько тело:
Как и вчера, студенту опять
Хотелось букву поцеловать.
К тому же гребенки, шпильки, булавки,
К тому ж аромат, словно утренний бриз...
Но черные брови, как две пиявки,
У переносья вплотную сошлись,
А это значило, что она
Очень сегодня раздражена.

— Я человек больной, увечный,
А ваш комиссар — он шел на скандал.
Так оскорбить!
— Но что он сказал?

— Он обозвал меня «первой встречной»!

— Но что здесь такого? Любой человек
При встрече с утра будет первым встречным.

— Ваш комиссар грубиян, ацтек!
Я с поведеньем своим безупречным,
Я со своей культурой — и вдруг
Первая встречная? Фея со стрита?
— Мадам...
— Замолчите! Я очень сердита.
Был бы при этом Джон, мой супруг,
Он проучил бы эту гориллу.
О-о! Ему бы пришлось тяжело.
— Господи, мистера Джона помилуй:
В нашем Корнеиче сто кило.
— Но он бы вызвал его на дуэль! —
Студент засмеялся:
— В двадцатом веке?

Дама слегка опустила веки
И погасила свой темный хмель.
Теперь она смотрится в узкий браслет,
Где плоский зеркальный траурный камень,
Индейского племени амулет,
С ней переглядывался обиняками.
Но Болесь не мог уж беседовать с ней,
Не видя черных ее огней.
Она теперь даже не покосится.

Это надолго. Да, да! Болеслав
Знал уже нью-орлеанский нрав.
И он попросил: — Подымите ресницы! —
Ему теперь нужен был этот хмель,
Пусть на мгновенье, пусть не навеки...

Дама опять подымает веки
И произносит: — Семья Руссель
В Америку прибыла в прошлом столетье.
Здесь обрели мы отчизну и кров,
Но сохранили галльскую кровь.
Для нас в лепажевском пистолете
Не только поэзия старины.
Средь негров, ирландцев, евреев да янки
Во мне, типичной американке,
Живут предрассудки галльской страны,
Которую Франция утеряла
Со времени «маленького капрала»,
Но в них благородство веков, мой друг!
Их свято хранит наш избранный круг,
И если бы мужу — сейчас он в Дели —
Попался, юноша, ваш ацтек —
О, не уйти бы ему от дуэли,
Несмотря на двадцатый век.

Юноша не прекословил ей,
Он плохо слушал ее причитанья.
Он грустно думал о душе своей,
Что возникала перед ним как тайна.

Был в нем талантец. Острый. И весьма.
Не то что дар — проклятье, быть может.
Как есть на свете быстрота ума,
Способная мильоны перемножить.
Вот так же точно у иных натур
Есть быстрота и в созреванье чувства.
Еще вы входите, как в темноту,
В чужой мирок, где все покуда чуждо,
Где тайный свет для вас покуда скуп,
И сами вы — медлительное тленье,
А этот — огненное впечатленье
Уже возвел в квадрат и даже в куб,
А он уже в сознании своем
Успел в себе все выяснить и взвесить,

А Кохановский с Жанною вдвоем
Перевалил, пожалуй, лет за десять,
И даже глубже — до заката лет.
Ее морщинки, те, которых нет,
Милы ему, как и ее седины,
Что заблестят в грядущие годины
Сквозь бурину́. Но так же будет он
Ей предан, близок. Нет, гораздо ближе!
Он и старушку назовет «Нинон»,
Той самою Нинон, что на афише.
Но что тебе способности твои,
Когда *ее* пути неуловимы?
Он пролетал орбитою любви
Стократ стремительней своей любимой...
Сдержать ли Аполлоновых коней,
Летящих в вихре, в облаке и в пене!
А Жанна? О, любовь придет и к ней,
Но только нужно адское терпенье.
Она еще не в силах осознать
В своих бессонных, может быть, раздорах,
Привязана ли, как сестра и мать,
Или студент ей по-иному дорог.
Тут надо ждать. А срок неодолим!
День или десять, сорок или триста.
Ведь та комета, что горит над ним,
Для Жанны только в будущем таится.

Дама
        вдруг
                замолчала.
Студент
Сразу очнулся от размышлений.
Средь ярких индейских лычек и лент
У глаз легли усталые тени,
Лоб ее стал отчетливо желт,
Щеки слегка посерели. Жанна
Из сумки вынула пачку «Old Gold»,
Оборвала слюду целлофана
И, прикусив золотой ободок
Пахнущей амброю сигареты,
Жадно курила. Дымом согретый,
Взгляд ее стал бесконечно далек.
Студент ощутил себя одиноким.
— О чем вы думаете?

Она
Молча измерила внутренним оком
Душу студента до самого дна
И, в чем-то уверясь, сказала прямо:
— Я думала: друг вы мне или нет?

Студент выжидал. Выжидала и дама.
— И что же? — спросил он.— Каков ответ?

— Если вы друг, и друг настоящий,
Вы скажете, милый, без лишних слов:
За что ненавидит меня Королев?
— Что вы! Ну, что вы?! —
                                        Но взгляд блестящий
Видел глубже, чем думал студент.
И он это понял. Какой-то момент
Мысль его оправданья искала,
Но дама встает, надевает манто,
Села, съежилась и сказала:
— Хотите? Я вам скажу за что!
Он думает,
                будто бы
                          я
                          шпионка.
— С чего вы взяли?
                          — Разве не так?
— Он просто хандрит, но это пустяк.

— Мой казус может смутить и ребенка.
Действительно: я совершенно цела,
А мой биплан разлетелся на части —
Хвост, кабина, оба крыла...
Можно ль поверить в такое счастье?
Я бы сама не поверила.
                            — Да?
— А тут вдобавок еще иностранка!
Но я ведь не влезла к вам с полустанка:
Вы сами спасли меня, господа.
Ну, отвезите обратно меня,
Уложите опять под обломки!
А это... это же западня...

Жанна заплакала. Плач негромкий
Студента потряс до корней волос.

Он стал от флакона к флакону бросаться...
(Мужчины боятся женских слез,
Как женщины тараканов боятся.)
Но горе не преступало грани,
Страдание к ней удивительно шло,
Недаром дама нет-нет да и взглянет
В чернозеркалистое стекло.
Где всплыли, дрожа по законам науки,
Бровки, слезки и прочие муки.

А слезки капали на амулет,
До глубины Кохановского тронув.
Студент набросился на туалет,
Обшарил и вынюхал десять флаконов!
Когда же флаконы не помогли,
Он стал утешать ее, как-то не глядя,
Волнистые волосы робко гладя,
Волосы женщины чуждой земли.
И как-то так получилось, что он,
Ее утешая неловко и хмуро,
Будто без воли, будто сквозь сон,
Лицо погрузил в аромат красно-бурый.

Она отстранилась. Чуть-чуть. Слегка.
Но Кохановский, уже опьяненный,
Обнял ее, и рот опаленный
Коснулся алого уголка
Ее повлажневших губ. Но Жанна
Порывисто встала. И тут Болеслав,
Всякую власть над собой потеряв,
В ладонях почувствовал линию стана.
Он грубо сжал его, ищет рот.
Ах, этот запах дыма с духами!..
Но только пригубил ее дыханья,
Как Жанна дико рванулась вперед.
Прошлась по щеке его
колкая бровь.
Какие-то склянки попáдали звонко...
— Слушайте, вы! Чтоб сломить девчонку,
Не сила нужна, а любовь!

Он обомлел.— Но я вас люблю...—
Сердито дыша, она села поодаль.
Он шпильки стал на полу собирать,
Смущенно гребенку трезубую подал.

— Я вас люблю... Повторяю опять...
— Нет, коммунисты любить не умеют.
Подвиг! Вот что такое любовь.

Снова, закинув руки за шею,
Она отдалась величию льдов,
Словно бы суженым был ей полюс,
Который холоден, но не груб.
Безвольно глядел на женщину Болесь,
Храня на устах уголок ее губ...
Подчеркнутое седыми полями,
Хищной женственности колдовство
Шло на него, покоряло его,
Как виолончель, как вино, как пламя.
И эта хищность была тем сильней,
Чем меньше сама себя сознавала.
Алое «о» на губах оплывало,
Снималось дымком, становилось синéй
И долго висело колечком слоистым,
А слово звучало само по себе:

— Мистика! Вот что в моей судьбе.
Вдруг попадаю я к коммунистам.
Я! Но зачем же именно я?
Легче попасть бы мне к марсианам.
Все здесь кажется диким, странным —
Политиканская ваша возня,
Чуждость во всех этих Нюрах, Стешах,
Сложнейшие ходы в вещах простейших,
Ненависть
ко всем и всему...

Кохановский

Ненависть?

Жанна

Не-на-вистъ!!

Кохановский

Почему?
Я, например... Я вас обожаю!

Дама осеклась. Глядит на него.

(С горечью.)

Ясно. Можно ли после всего
Верить этакому шалопаю?
Вы ведь об *этом* подумали? Да?

— Нет, я вам верю,— ответила дама.
Пиявки опять сомкнулись упрямо,
Но Жанна сказала: — Подите сюда.
Вы не такой, как эти... Вы яркий,
Единственная живая нить,
Которая... Вы достойны подарка.
Сядьте. Я научу вас курить.

Лампа выключена. Впотьмах
Лоб ее стал особенно светел.
Ему было страшно. Но этот страх
Он не отдаст ни за что на свете.
Лунная клетка лежала у стула.
Студент подошел и, белый как мел,
Робко на самый краешек сел.
Дама зажгла сигарету, вздохнула —
И вот покатился жемчужный клуб
В мужские губы из женских губ.
Теплынью душистого пепла волнуя,
Лаская дыханием и дымком,
Касалась губ его без поцелуя,
Сама обмирая в мученье таком.
О, здесь не было сладострастья —
Все целомудренно, все «чуть-чуть»,
Но более острого, жгучего счастья
Немыслимо было вдохнуть.

ГЛАВА 9

Портрет Амундсена

Сибирское море,
Октябрь

Олисава сорвала с вешалки свою желтую кожанку с енотом и выбежала на спардек. Ей хотелось мечтать, а мечтать она умела только в движении. Спардек был безлюден, и Олисава могла разгуливать в одиночестве, засунув руки в уютные бархатные карманы.

Королев... Тот, кто узнал Королева так, как узнала она, тот, перед которым возник его образ из заметок, из реплик, из всей этой смеси тигриных следов со страницами Платона, Гегеля, Маркса, тот никогда не удовлетворится дружбой менее богатой души. Олисава улыбнулась. Ей сразу стало тепло под сердцем оттого, что она думала о комиссаре. Это были такие вкусные думы. Она почувствовала его громадный голос так близко и так нежно, как можно чувствовать на плечах глубокий, душный мех.

Есть люди книги, и есть люди природы. Литература не раз изображала ученых, поэтов, монархов, совершенно оторванных от жизни и следопытов, зверобоев, охотников, очень далеких от культуры. Королев поразительным образом сочетал в себе сильные черты обоих типов: он философ и зоограф, но он же комиссар полярного ледокола, личность, в которой теория и практика соединились в нечто третье, высшее, как медь и олово сливаются в бронзе. И этот образ беседует с ней запросто. Он спрашивает ее мнения о своей работе. Она может, если захочет, огорчить его своей оценкой. Да, да, огорчить. Но может и... И вдруг ей захотелось чем-нибудь порадовать комиссара! Подарить ему что-нибудь! Но у нее ничего такого нет. И тут Олисава вспомнила, что обещала написать в стенгазету стихи об Арктике. Но Арктика — это ведь целый мир! Что в ней выбрать? Пейзаж? Но стихи о северной природе не могут быть красивее самой этой природы, а красота ее охватывает корабль, как воздух: он погружен в нее, он живет в ней, он дышит ею. Быт? Он слишком у всех перед глазами, а обобщать его еще рано: нет событий. Историю? Пожалуй, что историю. Люди, плывущие во льдах Арктики, должны знать о тех героях, которые прошли здесь до них. Этих героев немало. Каждый из них достоин оды. Но уж если выбирать, то, по крайней мере, такого, в котором бы Олисава ощущала что-либо близкое себе, родное.

Бывают художники с удивительным воображением: они чувствуют даже то, чего нет и быть не может. Например, у Гете черт пахнет серой. Почему? Кто его нюхал? И все-таки убедительно! Серой! Именно серой! Но есть и совсем другие: эти могут создавать большие человеческие характеры и даже образы величайших людей истории, но только тогда, когда видят в них хотя бы отдаленное сходство с кем-нибудь из своих родственников или друзей. В Кутузове, Александре I, Наполеоне люди, окружавшие Льва Толстого, узнавали черты кое-кого из своих знакомых. Эта особенность письма, не лишая исторических людей портретности, сообщала им ту теплинку, без которой немыслимо изображение жизни в искусстве. А Олисава была заядлой реалисткой: уж если пишешь сирень, передай запах, если пчелу — пусть гудит, если человека — он должен уметь смеяться и плакать. Олисава не хотела выдумывать, измышлять... Для самого большого обобщения, пиши она хоть самого господа бога, ей нужна была натура. Но ведь натура бывает разная. Француз Энгр в углу своего полотна, изображавшего святую Марию, приписал: «М-ль Сесиль, улица Мира, № 17. Великолепные грудь и ноги». Но итальянец Спинелло Арретини писал богоматерь с образа мадонны, являвшейся ему в видениях. Сейчас у Олисавы было такое настроение, что школа итальянца была ей гораздо ближе школы француза.

Олисава снова и снова вызывала в памяти свою встречу с Королевым. Она хотела догадаться, чего бы он от нее ждал. Она вспоминала, как толкнула дверь в его каюту, как закрывала ее за собой, огляделась, увидела на стене белую карту Арктики, а на столе голову тигра и профиль Амундсена. Потом... Но постой-ка! Амундсен на столе королёвской каюты! Олисава только сейчас осознала это. Очевидно, Амундсен интересовал Королева больше других полярников. Может быть, Королев по складу своей души был чем-то сродни Амундсену? А? Правда?

Олисава тоже когда-то интересовалась Амундсеном. Как-то раз она решила даже писать об Амундсене и набросала шутки ради какой-то пустячок. Кажется, такое:

Однажды Амундсен, открывши
Южный полюс
И зная, что другим путем туда же
Проносится его соперник Скотт,
Разбил на самом полюсе палатку,
Гостеприимно вывесив плакат:
«Добро пожаловать!»

Это было похоже на эпиграмму. Чего стоит хотя бы это «однажды» применительно к такому большому событию, как открытие Южного полюса! Конечно, так писать об Амундсене нельзя, хотя в Амундсене, несомненно, были черты мальчишества и озорной плакат существовал в действительности,— из-за него Амундсена даже исключили из Лондонского географического общества. Олисава, конечно, уничтожила эти стихи и отказалась от мысли воспеть Амундсена. Она понимала, что для такой вещи у нее не хватало пороху. Она знала, как действовал Амундсен, но не знала, как он думал и чувствовал.

Но такова поразительная природа женщин, что, увлекшись Королевым и ощущая в нем что-то такое, чего она до сих пор в людях не замечала, Олисава сквозь него увидела и Амундсена, увидела потому, что Амундсен интересовал Королева, и девушка взглянула на великого норвежца глазами большевистского комиссара.

Фигура Амундсена! Монумент
На тему: гений и капитализм.

Эти две строки возникли в ней так естественно, словно чей-то голос произнес их в самое ухо. Конечно, это был голос с мягкой, рокочущей хрипотцой. Именно он заставил ее выбрать в жизни знаменитого полярника драматическую грань. Он внушил Олисаве взглянуть на эту драму с социальной стороны. Но самой Олисаве эти действующие в ней силы были непонятны. Она просто радовалась этим двум строчкам, как находке, потому что в поэзии, как и в шахматах, самое ответственное — «дебют», а Олисавино начало сразу определило хребтовую струну поэмы и даже характер дальнейшего ее развития. Правда, эстеты-чистоплюи скажут, будто здесь не столько поэзия, сколько политэкономия, но Олисава знает, что эти строчки совершенно точно определяют самое ядрышко того, о чем она собирается говорить, а это значит, что она стоит на правильной дороге. К тому же Олисаву почти опьяняла музыкальная фраза этих строк:

Фигура Амундсена! Монумент
На тему: гений и капитализм.

Таких широких и просторных ритмов в старом, привычном размере пятистопника Олисава никогда не читала. Это было новое понимание ямба. В привычную структуру классического стиха врывалось дыхание современности. Под таким ямбом, пожалуй, мог бы подписаться Маяковский. Но выдержит ли она это напряжение? По плечу ли оно ей? Что об этом гадать! Олисава испытывала то безошибочное предчувствие удачи, которое сопутствует только вдохновению. Итак, первые две строки объявили эпоху и человека в ней. Олисава хотела вести эту линию дальше, но вовремя оглянулась на воспоминание о Королеве. «Не надо!» — сказал ей тихий и глубокий голос. Начало достаточно философично, но здесь нужно поставить точку: продолжать дальше в таком тоне значило бы превратить поэзию в риторику. Теперь надо заняться личной жизнью Амундсена. Пойти от общего к частному. Здесь уже нужно спокойствие реалистического повествования.

К началу века, средь венков и лент,
Чуть серебристым и немного лысым,
Открыв Северо-Западный проход
По линии Гренландия — Аляска,
Он говорил, что это лишь завязка,
Что это лишь маневренный поход.
В истории заняв гранитный цоколь,
Где рядом величавый Норденшельд,
Крутить бы ему желтый гоголь-моголь,
Курить бы трубку и солить бы сельдь
Да в пахнущем брусникою коттедже,
Построенном по типу корабля,
Слегка грустить о юности ушедшей,
Перед камином сердце пепеля.

Так. Бытовая сторона как будто изложена. Совершенно ясно, что Амундсен располагает всеми возможностями, чтобы почить на лаврах. Почетные ленты, звания, ордена. Он знаменит. Он математически равен самому Норденшельду, который открыл Северо-Восточный проход Ледовитого океана и этим завоевал себе бессмертие. Что еще нужно человеку?

Но: Амундсен еще не начал жить!

Это уже трубный сигнал, объявляющий неуемность этого человека. Олисава вспомнила фото — облик седеющего сокола.

Склонив над картой облик соколиный,
Он думает: какою же из линий
Ледовый дрейф сквозь полюс проложить?

Вот здесь трехлетье поистратил Нансен,
А он кладет не менее семи.
Но надо ж откупиться от семьи,
Найти фрегат, людей. Нужны финансы.

У Амундсена достаточно денег, чтобы жить не нуждаясь до самой старости, жить так, как живут скандинавские обыватели, накопившие капиталец. Но Амундсен не обыватель! Его влечет наука. Она властно требует от него таких затрат, какими он, увы, не располагает. Зато у Амундсена огромное имя. Он гордость нации. И Амундсен знает это!

И Амундсен банкиров теребит
И шлет петицию в норвежский стортинг.

Как могла быть написана такая петиция? Что она должна собой представлять? Покорнейшую просьбу? О нет! Амундсен просит не для себя. Его странствия необходимы для прославления его королевства. К тому же королевство такое крошечное. Несомненно, Амундсен лично знаком со всеми членами стортинга, как Басаргин, например, лично знаком со всеми членами Архангельского крайкома. Стортинг чествовал его не раз. Вероятно, наиболее видные деятели бывали в его коттедже, остальные же мечтали о чести быть принятыми. Значит, сквозь необходимую официальность языка в петиции должен ощущаться несколько капризный тон избалованной народом знаменитости:

«Вопрос идет о медяках истертых,
Тогда как мир об Арктике трубит!
И я прошу в научных интересах,
Я требую — вы слышите? — помочь.
(Быть может, мой язык немного резок,
Но я не сплю двенадцатую ночь.)
Однако, дети, намекаю тонко,
Во избежанье всяких ахиней,
Что к полюсу отъявленная гонка
Не явится задачею моей:
Его пересеку в процессе дрейфа
В Гренландию. (Он будет по пути.)
Итак, нужны: сосновые деревья,
А лучше бревна футов по пяти,

Печной кирпич, заслонки, трубы, вьюхи
Да паруса надежные вполне,
Которые могли бы шторм и вьюги
Выдерживать на льду и в полынье».

Так, вероятно, писал стортингу Амундсен. Но как должен был реагировать на это письмо стортинг? Оскорбиться? Едва ли. Отцы Норвегии давно привыкли к выходкам славного своего соотечественника. Они вполне способны отделить в его послании большое от малого, отнесясь к первому с величавостью государственной мудрости, а ко второму с юмором, может быть, и не великих, но безусловно взрослых людей:

И стортинг, посмеявшись благодушно
Чудачествам Руала своего,
Постановил: короны торжество
Поддерживать и выдать все, что нужно.
Пускай во льдах полярный великан
Норвегию прославит среди странствий!
Мы викинги. Невелика пространством,
Норвегия отвагой велика.

Но правительство — это еще не вся Норвегия. Нужно сказать несколько слов и о столпах норвежского общества, поддерживавшего Амундсена материально и морально. Однако в маленькой поэме многого не скажешь. Хорошо бы перечислить хотя бы имена. Но какие? Олисава знает о Норвегии только по норвежской литературе. Ну что ж, большинство, как и она, так именно и знают Норвегию — по романам Гамсуна да по пьесам Ибсена.

И вот звенят по дебрям лесорубы,
Жестяники паяют котелки.
Уж Амундсен то вежливо, то грубо
У граждан беспокоит кошельки.
И доктор Штокман, и строитель Сольнес,
Виктория и чуть ли не Пер Гюнт,
Варяжскою гордынею наполнясь,
Официальный закрепляли грунт.

Амундсен счастлив. Его понимают, его поддерживают. Он живет в полном согласии со своим обществом.

Но жизнь бесконечно сложна, и самая идеальная идиллия рано или поздно споткнется о слово «вдруг»:

Но вдруг средь тостов на прощальном пире
Пришло известье под бряцанье фляг,
Что водрузил американец Пири
На полюсе американский флаг.

«Пири — пире», «флаг — фляг». Отличные рифмы, чистоплотные! Но почему именно фляги? На банкете двадцатого столетия могут быть фужеры, бокалы, но... фляги? Однако Олисава не в силах расстаться с такой прекрасной рифмой. Как и все молодые поэты, она, чтобы спасти положение, стала уверять самое себя в реальности этой подробности. Ну да, фляги. А что ж такого? Люди чествуют Амундсена, уходящего во льды,— почему же им не чокнуться флягами? Именно флягами! Это стильно. Могли же быть среди всей этой публики полярники вроде Тессема или Свердрупа? Они-то на льдинах пили из фляг, а не из фужеров. И тут она заметила, что банкет тоже ради рифмы назван у нее пиром. Какое счастье! Ведь «пир» спасает «флягу»! Оба слова берутся для подчеркивания романтичности обстановки. Кстати: оба они живут в поэме почти рядом, хотя и в разных этажах. Случай? Но какой талантливый случай! Олисава захлопала в ладоши.

Но вернемся к теме. Пири открыл Северный полюс. В планах Амундсена это ничего решительно не меняет, так как задача его, как он и писал стортингу, не в достижении полюса, а в семилетнем дрейфе. Но меняет ли это что-либо в планах норвежского правительства? Как отразится это на судьбе Амундсена? Ах, это так ясно... Надо только знать, что такое мещанство. Во всех широтах оно совершенно одинаково:

Напрасно Свердруп, Амундсен и Тессем
Доказывали, что земля кругла,
Что дважды два — четыре, мир не тесен
И тайны не раскрыты догола,
Что пафосно величие земное,
Что полюса открытие — одно,
А семилетний дрейф совсем иное,—
Сражение с арктической волною
Категорически отведено.

Две чопорные рифмы внутри двух последних строк «арктический — категорически» сообщают теме холодок сухо-официальных отношений. Правда, в каждом отдельном случае этот холодок будет проявляться по-своему:

И доктор Штокман, потирая пролысь,
Полярнику солидно говорит:
— Я, господа, ассигновал на полюс,
А полюс, к сожалению, открыт.

И слово в слово повторяет Сольнес:
— У нас теперь плохая полоса...
Конечно, если б это бы на полюс,
А то ведь это не на полюс, а?

И даже стортинг, повышая голос,
Авторитетно порывает связь:
— Норвегию интересует полюс,
А дрейф интересует только вас.

— Так что мне делать? Убираться в Конго?
Исследовать температуру змей?
Ведь я ж писал, что бешеная гонка
Не явится задачею моей!

Оправдания напрасны, они способны еще более раздражить норвежское общество. Случилось то, что случается всегда: в глазах мещан человек велик, пока велика его слава, когда же слава переходит к другому, величие превращается в ничтожество.

Но все ворчали с огорченным сердцем.
Над королевством раздраженный гул.
И чуть ли не почудилось норвежцам,
Что Амундсен их просто обманул.

Нет, не поняли Амундсена его сограждане. Даже поддерживая, не понимали.

Когда же, в довершение несчастья,
Пронес по свету телеграфный код,
Что набирает кадровые части
На *Южный* полюс *англичанин* Скотт,
Тогда едва перенесла удар свой,
Заплакав водопадами, страна:
Ведь полюс — это орден государства!
А ты, Норвегия, отстранена...

Дался им этот полюс! Что он такое? Миф! Воображаемая математическая точка. И эту воображаемую «открыл» Пири. Ну и что? Кому от этого польза? Другое дело — Амундсен. Дрейф льдины, которую будет наблюдать Амундсен в течение семи лет, может открыть основную полярную артерию, самую тайну Арктики! Но что до всего этого «столпам общества»? Олисава жгуче ощущала неприкаянность, одиночество, безвыходность Амундсена. Как ясно видела она сейчас его затравленные глаза!

А сплетни становились языкатей,
Со всех сторон тянуло холодком.
Хоть Амундсен отчалил на закате,
Но город не махал ему платком.
И, выбросив какие нужно флаги
И вскинув пену белого белей,
За барками, почти в одной фаланге,
Отчалил он меж сонных кораблей.

Ни почестей, ни даже прощального привета. Героический корабль уходит во льды, затерявшись среди купеческих барок. Олисава ожесточенно треплет кончики енотового воротника. Руки ее дрожат от негодования. Теперь, чтобы еще более разбередить рану Амундсена, надо дать пейзаж — теплый, родной, пейзаж оставляемой родины и неприветливую, бесприютную картину моря, в лоно которого входит амундсеновское судно...

Просушивая оперенье крыл,
Сбиралась шхуна неводы забросить;
Овеянный величьем броненосец
Над бухтою мечтательно курил;
Блеснул маяк на северной косе,
Уходят доки, фабрики и домны...
И моря шар косее и косей,
И небо
одичалое
бездомней.

От этого сочетания сердце Олисавы щемит до боли, до стона. С мокрыми ресницами девушка шепчет строку за строкой, и строфы складываются так легко и быстро, точно Олисава знала их когда-то давно, а потом забыла, и вот они вспоминаются снова. Ей теперь самой интересно знать, что же будет с ее героем дальше. Мучения Амундсена не исчерпаны. Капризы, избалованность — как легко все это сдуло одним неприязненным шиканьем «столпов»!

Все мягче и синее материк.
Уж он совсем полиловел, как дымка,
И улетучился, оставя штрих,
Угадываемою невидимкой.

Что ж теперь делать? Отказаться от исследования Арктики? Ни за что! Уйти в дрейф, не обращая внимания на все, что произошло? Немыслимо! Можно быть выше своего общества, но нельзя быть вне его. И тут Амундсен сделал то, что мог сделать только один Амундсен. От его родной земли на горизонте осталась полоска, дымка, догадка.

Но только слился с горизонтом берег,
Как Амундсен
нежданно,
вдруг,
В чудовищных как будто фанаберьях,
Решительно поворотил на юг!
Его наука призывала ввысь
Для плаванья по дрейфу год за годом,
Но нации овации и свист
Несли на битву с капитаном Скоттом.
Пусть Арктику с лукавой глубиной
Сменили антарктические мели —
Корабль шел все к той же славной цели,
С поправкою всего на шар земной.

Да! Именно «поправка»! Это найдено гениально! Олисава даже засмеялась от счастья. Как это похоже на склад мыслей капитана Амундсена! «Поправка на земной шар». Но сам-то Амундсен? Что чувствовал он? Олисава поняла, что раскрыть бурю его души она не в силах, это выше ее дарования; поэтому предпочла, во-первых, предоставить слово ему самому (меньше ответственности!), а во-вторых, дать это в эпистолярной форме, которая, во всяком случае, будет более сдержанной, чем прямые лирические взрывы. Маленькая эта хитрость давала Олесе возможность быть на уровне своей задачи.

И Амундсен, улегшись на кровать,
Писал письмо своим друзьям о шефе:
«Безумие!
Чтобы идти на *север*,
Я должен *Южный* полюс открывать!
Но так спесивы наши лилипуты —
Изволь, как паж, нести за ними шлейф,
Иначе ведь не выклянчить валюты
на дрейф.
И, в точку эту чертову упялясь,
Я чувствую, что скован каждый палец,
Что жизнь моя всего лишь черновик...»

Так был открыт когда-то Южный полюс,
И так работал этот человек.

Все. Две заключительные строки с их интонацией под занавес и диссо-рифмами «полюс — палец», «человек — черновик» давали полное ощущение финала. Но странное дело — хотя поэма была окончена, чувства Олисавы еще себя не исчерпали. Руки ее были холодны, но в пылающем горле ощущение шара, который она почему-то никак не могла проглотить. Ничего похожего Олисава никогда не испытывала. Все ее существо было полно драмой скандинава, точно она была его подругой. А то, что он далеко не молод, особенно в нем дорого. Громкий, озорной, ни на кого не похожий, теперь же сумрачный, угрюмый, точно связанный путами, стоял перед ней образ, способный затмить мощью своего трагизма любую развязную юность. Нет, плохо, очень плохо написала она о нем в своей поэме. Сухо, скупо. Что же до письма Амундсена, то оно просто не удалось. Но горячая волна рвалась из груди Олисавы. Она хотела сказать об этом человеке не своими словами, а его сердцем, дыханием, слезами его, сказать так, как если бы она сама была Амундсеном:

«Как Гулливер меж лилипутов,
Кляня свою величину,
Систему карличью запутав,
Лежу, рукой не шевельну.
Как им страшна моя веселость!
Невинный, я кругом во зле...
Я Гулливер! Мой каждый волос
Прибит ничтожеством к земле».

Это было последней каплей. Девушка разрыдалась, но спертости уже не было. Она рыдала без горя, рыдала утоленно, только для того, чтобы омыть душу от осадков тумана. И лишь тут поняла Олисава, какая страшная вещь поэзия! До сих пор Олеся только играла в слова, как в камушки, только брала на кончик языка рифмы, точно карамель. И вот!

Она шла домой, и у нее было такое чувство, словно с ней произошло что-то очень большое, жизненно важное, но интимное, как если бы, например, она вышла замуж. Обессиленная, едва волоча пальто, которое висело теперь на одном плече, ввалилась Олисава к себе в каюту и, не включая света, бросилась на постель.

Снился ей Королев, который держал в руках ее поэму об Амундсене и говорил: «Для стенгазеты не подойдет — великовата. Но как вы могли догадаться, что я люблю вас?»

ГЛАВА 10

К вопросу о колонии сифонофор

Когда Кохановский явился по вызову Королева, тот, напряженно пригнувшись к столу, расчерчивал какие-то таблицы и хотя не взглянул на студента, но начал разговор так, точно отвечал на его вопрос:

— Вуз. Организуем на корабле вуз. Заниматься будем все без исключения, от командора до кочегара! Одобряешь? Профессор Басаргин читает географию Арктики, поэт С.— историю литературы, я веду кружок политграмоты. Хорошо, если б ты согласился рассказать о зверях Ледовитого океана. И чудовищ своих кстати продемонстрируешь. Как ты? Согласен?

— Конечно.

Плечи комиссара сразу утратили напряженность. Он весело обернулся, хотел что-то сказать, но увидел глаза студента.

— Болен?
— Да нет как будто.

Огромная ладонь Королева легла на лоб Кохановского, но температуры не почувствовала.

— Ну-ка, погляди мне в глаза.

О глазах комиссара немало говорилось на корабле. Глаза эти приобретали блеск высокогорного льда и замораживали душу, когда он кого-нибудь отчитывал; становились лукавыми и обворожительными, когда шутил (что, впрочем, случалось редко); слепли и превращались в белые очи статуй, когда задумывался. Но такого нежного, заботливого выражения, как сейчас, никто у него не видел. Но Королев быстро погасил в себе заботливость, и глаза его снова стали двумя полярными пейзажами.

— Какие у тебя отношения с Жанной Руссель? — сказал он прямо.

Голос его, как обычно, был низок, глубок и неподвижен, но для такого разговора ему явно не хватало мягкости. Королев этого не учел. С коммунистами он обычно разговаривал без всякой дипломатии, и все всегда шло у него в этом смысле хорошо. Но Кохановский беспартиен и влюблен.

Кохановский

На каком основании, Корней Корнеич, вы задаете мне этот вопрос?

Королев

Я разговариваю с тобой как товарищ.

Кохановский

У меня товарищей сто пятьдесят миллионов, но не стану же я перед каждым раскрывать сердце!

Королев

Ага! Значит, отношения у тебя с ней... сердечные?

Теперь студент в ответ на вопрос сам перешел в наступление:

Да, сердечные. Ну и что-с?
Какое тут преступление?
Ведь я доказал, что ваша бурда
Оказалась... кровью!
А вы? Покоряясь чьему-то злословью,
Вы травите женщину! Травите! Да!
Ваши сомненья меня не касаются.
Сомневайтесь. Я знаю свое:
Она не пролезла на «Грумант» зайцем,
Мы сами спасли ее.
От самолета остался лишь остов.
Вам подозрительно это? Ну что ж.
Возвратите ее на остров,
Но не травите. Слышите?

Королев

Ложь! Когда ж это я ее травил? Пример!

Кохановский

Вы обозвали ее первой встречной.

Королев

Только всего?

Кохановский

Для вас пустяк, одно озорство.
Но Жанне с ее ранимостью вечной
Вы нанесли оскорбление.

Королев

Брось!

Кохановский

Нет, не брошу. Ведь я не сдуру:
Надо понять чужую культуру.
Вы ж не матрос!

Королев

Ладно. Если обиделась, готов извиниться. Так и передай. Но только пусть этот разговор с ней будет у тебя последним. Мне твоя дружба с Жанной Руссель не нравится.

Кохановский

Да? Но зато она нравится мне!

Королев

Вместо тебя к ней будет заходить теперь Алисафия. А тебе, студент, придется обойтись мужским обществом, поскольку русские девушки выше твоего понимания.

Кохановский

При чем тут нация? Грек Платон
(Надеюсь, слыхали про этого грека?)
Писал, что Зевс, приоткрыв ладонь,
Выпустил молнию на человека
И этим надвое нас рассек,
Возникли женщины и мужчины,
Но ищут друг друга две половины,
И это любовь! — повествует грек.
Так вот, перед вами — извольте взглянуть! —
Друг друга нашедшие половинки,
А кто наши предки — галлы, инки,
Не в этом суть.

Королев

В какой-то степени в этом. По крайней мере, поскольку это касается американки на советском ледоколе. Неужели ты этого не понимаешь?

Кохановский угрюмо молчит.

Сначала я сам просил тебя навещать американку. Это было ошибкой. Я переоценил тебя. Ты человек одаренный, порывистый, прямой. Все это я принял за характер, но как раз характера-то у тебя и нет. Ты, наверное, уже рассказал ей про нас всю подноготную?

Кохановский

Что ж. Сознаюсь. Рассказывал, да!
Ну, например, что Жалейкин, балда,
Не чувствует новой жизни.
Но разве это измена отчизне?
Социализму? Партии? А?
Разве мы хороши лишь на смотре?
По мне — пожалуйста, пусть она смотрит!
Вот перед вами наша страна:
Не нравится, милая? Нет буржуев?
Чем богаты. Увы и ах!
Но даже личинка, солнце почуяв,
Прозябать не захочет впотьмах.

Королев

Ну, знаешь ли, это какая личинка...

Кохановский

Ладно, ладно! По-вашему так:
Ежели в ком какая горчинка,
Стало быть, он уже враг.
А не желательно слыть врагом,
Так будьте, мадам, комсомолки прытче!
Оставим это. Я о другом:
Умеете вы отгадывать притчи?

Королев

Ну?

Кохановский

На волна́х, омывающих форт,
Случается, словно бы путы нависли:
Это колония сифонофор,
Общество в полном смысле.
Как вам штуку сию объяснить
Без всяких терминов жутких?..
Представьте длинную, пышную нить
Всю в щупальцах и желудках.
Ясно как будто? Плывет по волнам
Некий такой организм.
Но если в сущность вглядеться нам,
Лупу если приблизим,
То станет понятно в короткий срок
Даже сквозь этакий способ,
Что каждое щупальце плюс пузырек
Есть отдельная особь.
Но эта особь, трусливо и зря
Поверя в свою околичность,
Сникла до щупа и пузыря,
Утратив, так сказать, личность.
А я, вы знаете, дал зарок,
Навеки в презрение канув,
Чтоб щупальце это плюс пузырек
Звалося «лично Иванов».

— Иначе говоря,— сказал Королев,— твое «лично Иванов» ставит свои отношения с американкой так высоко, что согласен пустить по ветру всю колонию сифонофор.

Телефонный звонок.

Слушаю. Я. Хорошо, Андрон Иваныч, буду через пять минут. *(Положил трубку.)* Меня беспокоит сейчас не сама Жанна Руссель, а щупальце плюс пузырек, которые зовутся «лично Кохановский». Слушай, Болеслав, вот что! И это совсем не притча. Если одна сифонофора задумала оторваться от всей колонии, пусть не обижается, ежели колония ответит ей тем же.

Студент вздернул подбородок, и Королев узнал в этом жесте Жанну Руссель.

ГЛАВА 11

Ответ губернатора Аляски

Командор встретил комиссара восторженно, почти бурно.

— Лялька моя сочинила поэму! Каково? Она хотела показать ее поэту С., но я отсоветовал: что поэты понимают в поэзии? Наверняка найдет тысячу недостатков. Читайте же! Читайте скорее!

Тут только комиссар заметил Олисаву, которая сидела в углу и пристально на него смотрела. Она была бледна зеленоватой бледностью, свойственной загорелым лицам,— может быть, поэтому бледность ее казалась болезненной. Но он не обратил на это внимания. Стул ему на радостях предложить забыли, и комиссар пробежал рукопись, стоя посреди каюты. Думал он при этом о Кохановском, но чувствовал на себе девичьи глаза,— обычно серебряные с голубинкой, сейчас они были глубинно синими.

— Ну? — нетерпеливо вскричал Басаргин, не давая Королеву кончить.— «Недурственно», как говаривал один чеховский герой?

Олисава напряженно глядит в глаза. «Неужели он сейчас скажет то самое?.. Хочу, чтобы сказал! Скажи! Ска-жи!»

— Для газеты не подойдет,— отозвался Королев чужим голосом,— великовата.

Олисаве показалось, будто все вокруг нее ненастоящее. Она подождала еще. Целую секунду! Но комиссар молчал. И тут девушку обдало таким жаром, что смуглота ее стала заревом.

Королев принял это за вспышку авторского самолюбия и, спохватившись, что деловитость его резолюции может показаться бестактностью, добавил:

— А вообще стихи толковые. Об Амундсене ничего лучшего в поэзии не читал.

— Это и нетрудно,— сказала Олисава с перехваченным горлом.— О нем в поэзии ничего и не было.

Королев засмеялся.

— Я считаю,— торжественно заявил Басаргин,— я считаю, что надо созвать весь экипаж и зачитать поэму вслух. Искусство служит у нас народу — так вот пускай народ и судит. Как вы находите? Удобно это? Я имею в виду, что автор моя дочь. Не будет ли это принято за использование родственных связей? А? За рекламу, что ли? Ведь как-никак, а такой литературный вечер — немаловажная страница в истории нашего корабля. О нем придется записать в судовом журнале! Да-да! А как же иначе?

Королев молчал. Он думал о Кохановском, о последних его словах. Вернее, о его молчании.

— А поэмка неплоха! — тараторил между тем командор, охаживая комиссара.— Говорю вам не как отец, а как абсолютно посторонний мужчина. Возьмите хотя бы это место:

В истории заняв гранитный цоколь,
Где рядом величавый Норденшельд,
Крутить бы ему желтый гоголь-моголь,
Курить бы трубку и солить бы сельдь
Да в пахнущем брусникою коттедже,
Построенном по типу корабля,
Слегка грустить о юности ушедшей,
Перед камином сердце пепеля.

Как хотите, а это картинка! Я бы сам с удовольствием пожил в таком коттедже месяц-другой. Или вот такой образ: «заплачет водопадами страна». А? Страна, которая плачет водопадами! В этом же вся Норвегия! И заметьте —

в Норвегии Лялька никогда не бывала. Молодец, дочка! Пиши, работай — толк будет. Не нравятся мне только... Можно тебе сказать? Не обидишься? Не нравятся некоторые твои рифмы. Например: «Тессем — тесен», «Сольнес — полюс».

— Это ассонансы, а не рифмы. Теперь все так пишут.

— А ты не пиши, как все. Я бы рифмовал: «тесен — чудесен», «Сольнес»... э... Ну, не знаю. Как-нибудь все же иначе.

— Старо это, папа.

— Ну и что же из этого? Не все старое плохо. Не правда ли, комиссар? Вы, однако, мрачны, комиссар. Что это? Благородное воздействие святого искусства или что-нибудь случилось?

Королев очнулся:

— Что?

— Ну вот видишь, дочь моя Алисафия, этот человек, оказывается, все время отсутствовал!

— Нет, я слушал внимательно: он совершенно явно дал мне понять, что готов на все. Даже на одиночество.

— Кто? Амундсен?

— Кохановский.

— О, господи! Опять вы со своей американкой?

— Теперь уже дело не в ней, а в нем. Он совершенно явно... И нужно, Андрон Иваныч, принять меры. Самые решительные. Срочно.

— Час от часу не легче! Меры. Вы что же, в форпик хотите его посадить? Или, может быть, в канатный ящик?

— И главное — за что? — вмешалась Олисава.— За любовь?

— О, варварство раннего социализма! — комически вздохнул Андрон Иваныч.

Но Королеву было не до смеха.

— За любовь не сажают. Дело, однако, в том, что парень предпочел общество этой пошлой дамочки обществу всего коллектива. И вот тут-то мы, сифонофоры, обязаны действовать.

— Какие сифонофоры?

Королев молчал. Он был очень бледен. При его огромной ярко-черной бороде бледность эта приобретала какой-то драматический характер. Видно было, что он решается на что-то очень суровое, даже жестокое, но что это дается ему недешево.

— Если человек,— глухо и отрывисто начал Королев, пытаясь убедить прежде всего самого себя,— если человек отрекается от общества... надо... чтобы и общество отказалось от него. Я предлагаю объявить Кохановскому остракизм.

— Что это значит? — спросила Олисава.

— Это значит, что корабль должен перестать с ним разговаривать. Спросит — ответить, но и все. Ни в какие беседы не входить, в пререкания не вступать, реплики пропускать мимо ушей.

Олисава подняла брови.

— И это наказание? Да ведь он просто высмеет вас, Корней Корнеич! Если он действительно влюблен, то ему, кроме его Жанны, никого на свете не нужно!

— Поглядим.

— Лялька права. Впрочем... если за Жанной пришлют самолет, студент останется один и тогда, пожалуй, кое-что почувствует.

— Нет! И тогда не почувствует! — запальчиво воскликнула Олисава.— Вы, товарищи, хотите применить к нему наказание, которое будет применяться только в будущем коммунистическом обществе. Но до этого Кохановскому надо еще дорасти! Нужно быть *достойным* такого наказания!

Королев с Басаргиным переглянулись и оба посмотрели на Олисаву: Басаргин — с гордостью, Королев — с любопытством. Но тут в каюту постучались. Вошел радист Вайсберг и, придерживая треснувшие очки с веревочными заушниками, вручил командору ответ губернатора Аляски.

Остров Грумант
Остров Грумант
командору Басаргину

от имени моего правительства
благодарю за приют оказанный
подданной нашего государства
Жанне Руссель
весьма сожалею
условия Арктики не позволяют
выслать аэроплан.

Королев торжествующе взглянул на Басаргина и осклабился.

но если мистрис Руссель пожелает
крейсер *«Норсланд»*
может быть выслан.

Басаргин торжествующе взглянул на Королева и смешно сморщился.

стоимость рейса
тысяча двести
мистрис дает указание банку
о переводе означенной суммы
в город *Ном.*

Басаргин по-мальчишески свистнул. Королев сощурился. Такого дьявольски хитрого решения не придумал бы и сам великий Макиавелли.

— Итак, загадка Жанны так и остается неразгаданной? — усмехнулась Олисава.

— Нет, почему же! — протянул Басаргин. Как все заядлые оптимисты, он в одно мгновение очнулся и даже стал обрастать надеждами.— Даня! Деточка! Не в службу, а в дружбу — сбегайте к нашей американке, поздравьте ее с этой бумажкой и спросите, когда она может переслать деньги господину губернатору. У нее роскошные туалеты, значит, должны найтись и доллары.

Вайсберг схватил радиограмму и выбежал в коридор.

— Доллары найдутся,— сказал комиссар,— но так же верно и то, что она их не отдаст.

— Авось и даст.

— Нет.

— Ах, нет? Ну, тогда... Тогда пусть поторгуется с Аляской. Губернатор, видно по всему, паренек душевный, что ему стоит уступить пару-другую сотен!

— Я предлагаю,— глухо сказал комиссар, твердо глядя в глаза Андрона Иваныча,— я предлагаю в случае отказа американки ссудить ее нашими собственными деньгами.

— Собственными? — изумился Басаргин.— Какими же это собственными?

— Деньгами из кассы корабля.

— Вы что, дорогой... нездоровы?

— У Вас имеется неприкосновенный фонд.

— Вот-вот-вот! Именно! Неприкосновенный!

— Бывают обстоятельства, когда он должен стать прикосновенным.

— Эти обстоятельства — авария, товарищ комиссар! Оплата за вынужденный ремонт в иностранном порту, товарищ комиссар! Деньги у меня, таким образом, строго целевые!

— У денег уши не резаны. Дело тут серьезное, и считаться с бумажками не приходится.

— *Вам* не приходится! А я отвечаю за каждую копейку перед финчастью Главсевморпути.

— Но вы объясните им...

— Кому объяснить? Бухгалтерии? Хо-хо! Вы слышали когда-нибудь, чтобы можно было что-либо объяснить бухгалтерии?

— Андрон Иваныч! — решительно объявил комиссар.— Я принимаю на себя всю ответственность за эту сумму.

— О? — удивился Басаргин.— У вас имеются сбережения? Поздравляю! В чем же они? В американской валюте? В червонных монетах? В золотых слитках?

— Я отвечаю своим партийным билетом.

Басаргин совершенно неприлично захихикал. Остро́та уже висела на кончике его языка, и Королев *видел* эту остроту, но Басаргин сдержался. Комиссар вздохнул: он был бессилен воздействовать на этого человека, беспартийность которого делала его неуязвимым.

Вошел Вайсберг, придерживая свои веревочки.

— Ну?

— Она говорит, что, к сожалению, такими средствами в настоящий момент не располагает.

— В настоящий момент?

— Ну что ж, очень жаль. К сожалению, мы тоже не располагаем. В настоящий момент.

— А при чем здесь мы? — удивился Вайсберг.

Никто ему не ответил.

— Что будем делать дальше, Андрон Иваныч? — с прежней глухотой в голосе бесстрастно спросил комиссар.

— Ждать случая, Корней Корнеич. Случая ждать. Да. Вот. Таким образом.

ГЛАВА 12

Чукчи

К вечеру прибыли чукчи.
Прибыли они на собаках.
Собаки свернулись в кучки.
Здесь волки в седеющих баках,
Здесь многие, судя по лицам,
Обязаны чем-то лисицам,
Но есть и сосущие лапу
С повадкою белых медведей.
А чукчи восходят по трапу,
Святые в алеющем свете.
Их приглашают в каюту.
Чукчи сидят на диване.
Морем пахнет как будто
Тюленье их одеянье.
Молча их поят чаем.
Все им тут незнакомо.
Но наконец выручает
Переводчик Сомов.

Чукчи отвечали: давно видели — паароход двигался идущий. Всё ждали — станет, однако. Вот большой паароход остановился есть. Вот Чайвуургын, что означает «С того света возвращающийся», пришел с четвероюродным братом. Гостем быть. Почайпить.

Сомов им переводит:
— Спасибо. Мы очень рады.
В этой безлюдной природе
Это большая отрада.
Скажите: что нового в свете?
Скоро ль ударит вьюга?
И можно ли ждать, что ветер
Примется дуть с юга?

Чукчи отвечали: ветер с юга на восток ушел кочующий. Какой паароход стал есть это время, тот весны дожидаться будет. Так будет.

Сомов спросил, покачнувшись:
— Откуда такое мненье? —
Он верит познаниям чукчей,

Но все-таки тем не менее
Разве они видали
Собственными глазами,
Чтобы корабль из стали
Здесь когда-либо замер?

Чайвуургын отвечал: крепко помнит! Старик зимующий, моржовые усы, бороды нету, на губе градинка бурая — зимующий. Крепко помнит. Во — помнит.

Сомов: — Что вы, товарищ?
Вы ведь не песню поете.
Не было здесь аварий,
Все ж корабли на учете.
А стариков косматых,
Что ледоколы водят,
По пальцам счесть в наркоматах! —
Сомов им переводит.

Но чукча думал вот что: в прошлом веке
Корабль, отошедший из Норвегии,
Примерз ко льду у этих берегов.
Когда морей ледовый переков
Гвоздем последним звякнул над Чукоткой
И кончился на этом старый год,
Охотники падучею походкой
Пришли взглянуть на диво — пароход.
Он был с трубой и назывался «Вега».
Он тщетно бился, прорывая щель.
На нем царили брови человека,
Штурмующего север,—
Норденшельд!
В начале семьдесят восьмого года
Им первым экспедиция велась.
И чукчи наблюдали морехода,
А чукчи-зверобои — это *глаз*!
Их память — белизна да широта,
От веку все следы в ее пустыне!
И Норденшельд запомнится отныне
С подробностью горошины у рта.
Он стал своим непостижимым рангом
Легендою скитаться по ярангам,
Где памятка равняется глазам,
И все, что чукча, подшивая лыжи,

От деда или прадеда услышит,
Он верит, будто это видел сам.
Так стал воспоминанием рассказ.
За годом год, за веком век сменился,
А мореход ничуть не изменился,
Лишь чуточку становится раскос.

Чайвуургын настаивал: крепко помнит — старик, сердито зимующий, на губе градинка бурая, бороды нету, белый.

Сомов пожал плечами,
Шеей повел неловко.
Гм... Ведь за их речами
Явная зимовка!
Лицо его в краске пятен.
А чукчи молчат упрямо:
Сомов им непонятен —
Зимовка для них не драма.
Пускай-де буран колдует
Над белою тундрой нагою —
Они не болеют цингою,
О зелени не тоскуют.

И вдруг Чайвуургын, что означает «С того света возвращающийся», вынул изо рта индейскую трубку, сделанную из кочна кукурузы, и равнодушно произнес, ни к кому не обращаясь:

— Поселок, однако, вымер.

— Какой поселок?

— Однако наш. Злые духи — ке́ле — все яранги обходят. Одну за другой обходят. Люди все лежат черные. Шаман нужен. Чукотский плох. Русский шаман хорош. Русский шаман нужен.

Сомов стоит перед ними...
Исчезли буран и зима.
Целый поселок вымер!
Очевидно, чума.

А Чайвуургын степенно посасывает трубку ценою в американский цент и время от времени бесстрастно говорит: давно видели дым, паароход двигался идущий, все ждали, однако,— станет, спасение будет. Вот большой паароход остановился есть. Может, шаман на паароходе есть? Большиски шаман. Э?

Ясно: доктора просят.
А доктор у нас один.
Как экспедицию бросить
На милость полярных льдин?
Но речь ведь о целом народе...
И, сдерживаясь едва,
Товарищ Сомов точно переводит
Чайвуургына жуткие слова.
И все глядят на доктора Смирнова.
И спрашивает глухо Королев:
— Ну как, Иван Иваныч? Ваше слово.

И доктор отвечает: — Я готов.

— Отлично! — отозвался Басаргин.
Но комиссар... Он обозлился даже:
— Тут надобно решенье экипажа,
Ведь доктор-то на «Груманте» один!

И вот помчались юнги по каютам,
По общежитьям, трюмам и закутам.

Петух писал, напрягая зренье.
Удар пера — штыковой:
«Каково? есть? мое? мировоззрение?
Мое. Мировоззрение. Есть. Таково:
Бога нет? Раз!
Партия имеется? Факт.
Бытие опред. сознанье. (Фейербахт)».
Ну вот. Идея для всех проста.
Неплохо и с точки стиля.
Однако страница еще пуста,
А мировоззренья уже не хватило.
Жаль. А тетрадочка так и поет,
Аж пахнет весенней веткой:
У ней зеленый такой переплет
И лиловатая клетка.
Так и стоит сквозь нее пред глазами
В мокрой сирени полтавский край.
По арифметике даже экзамен
Вспомнишь, как месяц май.
Чего ж писать? Да ну! Поскорей!
В чернильнице ходит брага!
Петух из породы тех писарей,

Которых вдохновляет белая бумага.
И вот уж какой-то мотивчик возник,
И горло глаголом пышет,
И мой разбитной морячок-озорник
С постной рожицей пишет:

«Ах, горе-Олисавочка,
Хорошая моя...
Тата-ра-та, тата-ра-та,
Пронзила ты меня...»

Но юнга вбежал и крикнул: — Наверх! —
Петух подымается, мрачный, как туча...
Вспугнули музу. Теперь уж навек
Ему не найти к Олисаве созвучья.

Менашка, прозванный «Одиссей»,
С Колей играл в шашки.
Момент — и Колька бы, ротозей,
Публично сдался Менашке.
Но чертов юнга крикнул: — Наверх! —
И пропадает Менашкин верх.

Тит Агафоныч еще не стар,
Однако же и не молод,
Зачем же велел и ему комиссар
Взойти с молодежью на холод?
Он так уютно думал как раз
О теплом таком теленке:
Сам вороной, золоченый глаз,
Басок еще сиплый да тонкий;
А храп и грудки ежели взять,
Ежели взять коленки,
Видать, из голландцев отец и мать.
Семьсот — это, граждане, деньги!

Но тут паренек заорал: — Наверх! —
И Тит, посулив типуна,
Напялил шубейку — волчий верх
Из зимнего табуна,
А понизу был этот мех подбит
Уголышками из оленьих копыт.
Шубейка — теплынь. Просторна немножко,
Да не беда. Только стыдно людей:

Ходишь ровно какой халдей.
Неправославная это одежка.
Ну, да ведь нынче в нашей стране
Что православные, что не...

Чайвуургын оглядел собравшихся, покурил-покурил, выбил из трубки на ладонь золу и опять равнодушно сказал то же, что и прежде: люди лежат черные, паароход двигался идущий, на нем небось шаман русский есть, большиски шаман, вот Чайвуургын приехал с четвероюродным братом гостем быть, почайпить, шамана просить: пускай с нами идет.

— Медика просят! — сказал Басаргин.—
А медик у нас на судне один.

— Пустяк! — закричал, пробираясь по реям,
Менашка, прозванный «Одиссей».—
Гарантиру́ю, не заболеем!
Что за болезни ув жизни сей?

— Верно! — снизу откликнулся Коля.—
Это для нас не вопрос.
Я, заболемши, не чую боли,
Тиф на ногах перенес.

Но вышел на середину Тит,
Стуча уголышками из копыт.
Он не ломал от неловкости шею,
Не поводил нервозно плечом.
— Милые граждане! Вот я о чем:
Что до меня, то я заболею.—
И, миру отвесив поклон земной,
Как полагается, по-христиански,
Проворно ушел походкой крестьянской
Мимо президиума домой.

Народ на секунду опешил. И вдруг
Раздался такой оглушительный хохот,
Что эхо с полюса подняло грохот
И нерпы вынырнули вокруг.

Но выступил Петя:
— Вам весело вроде?

А мне вот грустно. И очень весьма.
Дело идет о чукотском народе:
У них *чума!*

— Так мы ж не мешаем! —
крикнул Менашка.
— А мы про что? — закричал Николай.
И тут вовсю развернулась «тельняшка»:
— Даешь медицину!
— Айда!
— Посылай!
— Все ли согласны? — спросил командор.
— Все! — воскликнул матросский хор.

Встал комиссар: — Итак, пойдут
Следующие. Товарищ писатель!
— Здесь.
— Петро Гаевой.
— Тут.

Костя *(с места)*. Товарищ председатель,
Один вопрос:
Против чумы голосую прямо.
Ну, а зачем поэт и матрос?
— Затем, что с ними отправится... дама.
— Я?!
— На Аляску.
— По всем этим льдам?

Корнеич вздохнул.— Придется, мадам.

— Но разве это под силу даме?

— Не делайте вывода сгоряча.
Вы будете биться, мадам, со льдами
Под наблюденьем врача.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА 1

К берегу на собаках

В балладе это прозвучало б так:
«Нарты рванул вожак,
Свора взяла разбег,
Синий звенит снег,
Мех на собаках седей...
«Э-гей!»

Мчатся они во весь мах!
Люди в белых мехах.
Ощерил вожак пасть.
Люди сидят,— не упасть! —
Го́нят они во весь дух...
«Кух-кух!»

Эх, погодка плоха...
Кутаются в меха.
Вьюга за шею ползет,
Ветром набила рот,
Льды грозит распороть.
«Подь-подь!»

Но, выполняя приказ,
Отряд не смыкает глаз,
И вот зачернела земля,
И вышел, земли не пыля,
Трупов лиловый строй.
«Той-тоой!»

Мертвые. Руки по швам.
Они окружили вигвам.

Но выступил, черен и тих,
Усопший водитель их
И отдал начальнику честь.
«Есть!»

В балладе это выглядело б так,
Но в жизни все и проще и серьезней.
Чайвуургын попробовал потяг
И говорит мне: — Ветер больно поздний.
Поторопися! — Было пять утра.
Товарищи воскликнули «ура»,
И мы пошли.
Передним Оцита́хин,
За ним собаки с грузом. Сзади мы.
Весь экипаж скопился у кормы,
Где ледолом был менее распахан.
Они стреляли в небо. Торопясь,
Три флага возгласили: «Будьте здравы!»
Вот загудел рокочущей октавой
Над Арктикой напутствующий бас,
Вот залетали в воздух малахаи,
Треухи, шлемы, даже волчий шлык.
Мы им махали шапками и шли,
Проваливались и опять махали.
Мы были веселы, и только Жанна
Не без причин печальна и мрачна:
На этот раз при ней ни чемодана,
Какая-то котомочка одна.
А может быть, плестись по диким льдинам
Ей было страшно: чудилось зверье,
Пурга, мороз... Я поместил ее
За положительным Чайвуургыном,
За ней поставил доктора, а сам
Замкнул собою шествие.
— Тага-ам! —
Пошли. Хоть грузом слегка и пригнуты,
Но шагом легким и молодым.
«Остров Грумант» через минуту
Стал похож на серый дым.
Через пятнадцать — *«Остров Грумант»*
Стал похож на дым голубой,
Через тридцать — большой и угрюмый,
Вынес марево над собой:
Сначала какой-то серебряный пепел,

Но вот серебро переходит в коралл —
И вдруг мы увидели в ясном небе,
Как в зеркале, отраженный корабль.
Черный дым его книзу свисся
Грозным знаменьем непогод...
Над сизым «Грумантом» в синей выси
Опрокинутый пароход.
В белой пустыне, лютой и голой,
На неоткрытой полярной тропе
Во льду и в небе два ледокола
Стояли валетом, труба к трубе.
Покуда нижний о льдину терся,
Пережигая гулкий металл,
Верхний чудовищной глыбой торса
Таял, лился и трепетал.
Вот бушприт потянулся, как жало,
Вот труба осела, как гном,
Вот отражение задрожало
И потекло синеватым сном.

А дорога трудна — что ни шаг, то сбой.
      А кругозор огромен.
Ледовый океан являл собой
До горизонта вид каменоломен:
Закованные водопады, грот,
Ущелья, лабиринты, сталактиты...
Вот чья-то пасть без голоса орет,
Украшенная гривою маститой;
А там, где намечаются поля
И голый плац торжественно отведен,
Как бы недвижным айсбергом пылал
До осязаемости плотный ветер,
И если руку в воздух окунуть
И, сняв перчатку, захотеть ощупать,
Вы ощутили бы утеса грудь,
Алмазные гранения и хрупоть.
Но этого-то делать и нельзя:
Нет ничего опасней и наивней.

Чайвуургын идет ко мне, скользя,
И сипло говорит: — Четыре Бивня! —
Что это? Лозунг, так сказать? Девиз?
Или языческое заклинанье?
Но тот спокойно указал на сани,

Отнюдь не помышляя удивить.
Ах, вот что! Понял: это мой вожак.
Он бурой масти, с красною опушкой.
Услышав имя, он наставил ушки,
Ссутулился, чуть замедляя шаг,
И, видимо поняв, что правит сворой
Плохой погонщик, начал отставать.
Потом сошел со следа. Очень скоро
Меж мной и всеми снеговая падь.
Тогда, решив, что время наступило,
Собако-волк во всю стихию пыла
Рванулся
вбок —
и понес.
Бегу за ним. Но проклятый пес
Почти улетает в безмолвной скачке.
Градинки свистят по его лицу...
— Ссукин сын... На-на-на! Собачки!
Как вас там? Шарик! Жучка! Тцу-тцу!

Но волчья стая, махнув на стену,
Слетела вниз — и нет их. Бегу,
Взбираюсь и вижу мирную сцену:
Мои собакевичи на снегу.
Сойдясь в кружок, они чинно пели.
Именно *пели!* Не лай и не вой.
Нарты с грузом застряли в ущелье,
Вися над провалом вниз головой.
А звери пели, задравши пасти.
Хор усиливался... Стихал...
С лирической силой вожак гривастый
Грудные звоны свои выдыхал.
И тот анимизм, что в предках моих
Обожествлял рычание зверя,
Вдруг на какой-то загадочный миг
Наполнил грудь мою дикой сферой...
И я удивился тайной судьбе
Поэтов, которые, точно боги,
Все времена совмещают в себе,
Душой вливаясь во все эпохи.
Но некогда тут разбирать лады,
Пора торопиться.
Сползаю в пропасть,
Рублю кинжалом выступы, и льды

Запоминаю боевую пропись.
Освободивши óлоз, я пополз,
Подталкивая головою сани.
Но чувствую — они несутся вскользь.
Но слышу снега странное сосанье
И, отирая у виска натек,
Соображаю под удары сердца,
Что псы мои пустились наутек,
        Чтоб я
                не успел усесться.
Опять бегу за ними. Сгоряча
Швыряю в них остóлом. Красно-бурый
Со злобой увернулся и, рыча,
Влечет ватагу бесшабашных фурий.
Я сбросил шубу. Путается шаг.
Упал. Лежу. На мех садится иней.
Два барабана бухают в ушах.
Но вижу, снова впереди теснины —
Сквозь ропаки заголубела щель!
Я так и думал: сапочки заело.
Собаки сели. Началась метель.
Как труп на плечи, подымаю тело.
Дыша, иду за шубой. Снова к псам.
Глотаю снег. Свалился. Отдыхаем.
Я весь отдался волчьим голосам,
Горячим обжигаемый дыханьем.
Прошла минута. Встал. К задкам саней
Сквозь пряжку я подвязываю пояс,
Другим концом потуже и сильней
Сковавши руку. Мой собачий поезд
Карабкается на ледовый вал.
Я отстаю от них секунды на три...
Но вдруг на скате улетают нарты,
И ты, как дуб, подрублен наповал.
И ты летишь во весь орлиный мах,
Как над Кавказом демону не мчаться!
И тут-то, в довершение несчастья,
Нога застряла в ледяных камнях.
Движенье перехвачено. Скорей!
Собаки рвутся... Ты лежишь, дымишься,
А на затекшей эполетной мышце
Свисают восемь воющих зверей.
Они висят, и лает хрипота,
Вытягивая по стремнине гладкой

Изгибы позвоночного хребта
И хрящевые все его прокладки.

А далеко за льдистою лудой,
Где под луною полюс величавый,
Три флага — синий, красный, золотой —
Прощально салютуют: «Будьте здравы!»
Но вот уже не флаги, целый флот.
Тире-тире... В мозгу проходит кабель.
Мне снится — я, как северный корабль,
Горячим сердцем прожигаю лед.
Я хочу
          добиться
                    от виршей бессмертья,
Чтобы принять свой смертный час,
     Точно хозяин гостя.
Опять очнулся. Примерзло платье.
Который час?
                    На руке меж ремней —
Часы, где на маленьком циферблате
Фотоулыбка дочки моей.
Дышу на стекло. Вот и челка тут,
Дыханье глазенок касается...
«А как доченьку зовут?»
«Таточка-к'асавица»...

Говоря без высокой фразы,
Я влачу свою долю, как вол:
Я за всю свою жизнь ни разу
Пятачка на земле не нашел.
Не была мне удача подружкой,
Не в подмогу ни бог, ни чох...
И вдруг
          я нашел
                    пятачок:
Курносенький, как у хрюшки.

И я встрепенулся, как будто баллада
О синем трупе объяла рекой.
Я изловчился левою рукой
И вынул справа плитку шоколада.
Попробую освободиться сам,
Не изучая стадий прозябанья.
Очистив «Золотой ярлык» зубами,

Я угол отломил и кинул псам.
Сначала было тихо. Понемножку
Я слышу — два соперника рычат.
К ним присоединяется Ричард,
А там и Кутька прянул на обложку...
А вот Пегашка... Вот Седой... Ну, как?
Я все ломаю и кидаю ближе.
Мои собачки «навострили лыжи»,
Ремень ослаб. Я снова на ногах.
Крестец и бок продрогли на морозце,
Плечо, ступня... Всего не перечесть.
Но чувствую, что вытянулся в росте
Сантиметров на пять или на шесть.
— Тагам!
Пошли! —
Я левою рукой
Держусь за пояс и бегу, хромая.
Собаки изгибаются дугой,
Проваливаются, пища и лая.
Я прорубаю тропы меж зыбей,
Я их зову на новые исканья.
Нет, не собаки возят в океане —
Мы сами псов таскали на себе.

Опять ущелье. Резкий поворот
Среди сквозисто-белогривых линий.
Но что это? Под торосом на льдине
Храпит Петро, полуоткрывши рот.
Рубашка задрана до подбородка,
Живот и грудь совсем обнажены.
Ему приятно. Парень видит сны
И дышит ровно, облачно и кротко.
Его рубашка, видно, пропотела,
Сменить ее недолго — пять минут.
Он стал снимать, но, запрокинув тело,
Подумал о постели — и капут.

— Ты что, Петушок? Вставай! — Сопит.
Я взял его на руки и поставил.
Он поглядел из ресниц, как из ставен,
Уютно зарылся в меня и спит.
Тогда я грубо тряхнул его, так,
Что он зазвонил зубами.
— Очнись, балда! Упустил собак? —

Он поглядел и... садится.
Забавно!
— Встаешь или нет? — Глядит... Нога!
Ноги не слыхать. Понятно?

— Вставай, вставай! Налетят снега!

— Видал? На ноге уже черные пятна.

— Ссадины это от мелких льдов.

— Брось! Гангрена. Я, брат, готов.

Беспомощно стою я перед ним.
Ну что поделать с этаким соседством?
Хоть бы владел я бабушкиным средством —
Припаркой или снадобьем каким.
А ночь близка. А перед нами трасса
Заносится опасною пыльцой.
Но в жизни главное — не растеряться.
Я делаю «научное» лицо:
— Вот что, Петя. Держи этот факел.
(Я дал ему спички.) Зажги. Так.
Был я когда-то год на медфаке,
А ногу отрезать — сущий пустяк.
(Я вынул финку.) Сними-ка торбас.—
Он испугался:
— Врешь! —
Но снял обужу и глядит, изгорбясь,
Как я на спичке прогреваю нож.

— Ты что это? Вправду?
— Да я моментально!
— Ну нет, брат! Это уж наотрез.—
Я тронул голень плоскостью металла
И сделал вид, что делаю надрез.
Тогда он вздрогнул. Он ощупал тело,
В нем снова засветились провода.
— Ну что нога?
— Ничего. Зазвенела.
Вроде как сельтерская вода.—
Он шел теперь, хохоча от мурашек,
Хоть сразу осунулся и похудел.

Ай, молодцом! Говорю, знай наших!
А ты меня, дядя, бросить хотел.

Я дал ему в руку кожаный пояс,
Чтоб он не отстал, а сам впереди,
Скользя и проваливаясь по пояс,
Показывал бурому, где перейти.
И умный волк, увлекая ватагу,
Нес дыханье в раскрытых зубах
И только рычал, когда, мчась в атаку,
Петух уморительно лаял на собак.

А я старался, не теряя ритма,
Хотя б и увеличивая путь,
Ямбически шагать меж ям и рытвин,
От перебоев охраняя пульс.
И эта мерность, добрая, как няня,
Мне пела песню, всем ветрам назло.
С простым напевом слитое сознанье
Куда-то в подсознание несло.
Я шел по льдине и предвидел дом,
Где я, глядящий в мир из-за гардины,
С улыбкою задумаюсь о том,
Как я *сейчас* бреду по этой льдине...
И я кажусь себе воспоминаньем,
Полувесомым чувствуя себя,
И эти льды, и пение собак —
Все кажется невероятно странным,
Как будто во вселенной жизни нет,
Есть только смутных мыслей очертанья
Да сквозь туман, влекущий, словно тайна,
Неуловимый человечий след.

Оглядываюсь — мой Петух исчез.
Иду к задкам, чтобы проверить пряжку.
Она на месте. Никаких чудес:
Отбился парень. Я назад упряжку —
Не тут-то было: псы мои рычат,
Захлебываясь с хищною осанкой.
Тогда я меж копыльев, как рычаг,
Просунул посох и вращаю санки.
Тогда
        вожак,
                не издав ни звука,

Смертью кинулся мне на грудь!
Но промахнулся — пылила вьюга.
Он рухнул и сам загруз.
Тут я его.за́ ухо! Из сугроба!
Визжащего, как свинья!
И страшным ударом, буквально звеня,
Чуть-чуть наповал не угробил.
Потом я разжаловал вожака,
Поставив первым Ричарда.
— Тагам! — и легкая запела нарта,
Меня опередив на два шага.
А я гремел: — Подь-подь! — Или:
— Кух-кух! —
И, возвратясь дорожкой ледяною,
Услышал рев: шатается Петух
И плачет от стыда передо мною.

ГЛАВА 2

Думы комиссара

Королев лежал на своей койке и, перелистывая «Этюды о природе человека», думал о Кохановском. Настроение у комиссара было хорошее: Жанну Руссель удалось наконец с корабля сплавить, и переброска ее на Аляску дело, вероятно, одной недели. Таким образом, с мадам покончено, и эту проблему можно считать решенной.

Теперь о проблеме № 2. Кохановский. Собственно говоря, комиссару пора было бы заняться внутренним миром Тита Жалейкина с его бычком. Но Тит для комиссара был так ясен, что эту операцию он откладывал со дня на день. На всякий случай, в виде пролога, Олисаве поручено взять над Жалейкиным шефство и научить его грамоте. Иное дело — Кохановский. С этим медлить нельзя: этот чувствует себя очень плохо. Но вот вопрос: в чем истинная причина? В том ли, что от него отвернулось общество, или в том, что уехала Жанна Руссель? Королев просил Олисаву как-нибудь навестить Кохановского и выяснить, чем он дышит. Королев полагает, что неожиданное появление девушки не может быть для студента подозрительно: у девушек, если память Королеву не изменяет, мягкое сердце, и

Олисава могла на свой страх и риск прийти к Болеславу, чтобы облегчить ему его одиночество. Так ведь? Необходимо это сделать и по другой причине: наличие на корабле загнанного человека не очень большое достижение. Надо знать психологию масс. Еще день-другой — и ребята начнут испытывать к студенту жалость, а там, глядишь, и заговорят сами...

В окне надо льдами горел закат. Закат был ярко-рыжий с желтым и черным. Он казался огромным плакатом, изображающим башку тигра. Впрочем, сравнение было мгновенным и не отвлекло комиссара от студента. Королев думал, будто возвращается мыслью к Кохановскому потому, что этого требует сама обстановка: комиссар отвечает за политико-моральное состояние корабля, а Кохановский на этом корабле — болевая точка. Но в чем сущность этого юноши? Королев стремился к обобщению, но Кохановский не обобщался.

Королев не верил в любовь Кохановского к Жанне. Сначала, вероятно, бывшего беспризорника поразил тот культ женственности, которым Жанна пронизана, насыщена, которому была посвящена как бы самой природой и который проявлял себя в каждой мелочи. Взять хотя бы такую деталь: когда экипаж провожал группу, идущую на собаках, Жанна подошла к студенту и, вырвав из блокнота листок, написала на нем что-то карандашиком губной помады. Она могла сделать это автоматической ручкой, у нее имелся превосходный «паркер» изумрудно-зеленого цвета. Но слово, написанное губной помадой, напомнит о цвете ее рта. Студент в разлуке будет видеть ее губы.

Королев плохо знал Запад, но знал дореволюционную Россию и отдавал себе ясный отчет в том, что быть буржуазной женщиной — это уже само по себе профессия. Атмосфера запахов и красок, окружавшая Жанну, ее духи, дым ее сигарет, цвета и тона бесконечных ее пижам, блузок, свитеров, пуловеров, джемперов, джерси, набор театрального грима, работа над лицом, над походкой, над каждой позой — сядет ли, всегда крепко сжав колени и повернув их вправо или влево под легким и точно выверенным углом, облокотится ли, едва касаясь рукой перил или барьера, обратит ли голову к одному, слушая глазами другого,— от всего этого веяло как бы артистизмом. Имеет значение и то, что Жанна американская француженка, и все то немногое, что было в Жанне от англосаксонской и галльской культур, Кохановский приписывал ей как ее собственное достижение. Ну, и затем, он говорил с ней по-английски, а самая банальная мысль на чужом языке кажется свежей.

Нет, Кохановский не мог серьезно увлечься Жанной Руссель. Просто парень, войдя в ее каюту, впервые в жизни попал за границу, и ему там все интересно. Пройдет неделя-другая — и мальчика потянет домой. Так что тут опасаться нечего.

Гораздо хуже эта его теория сифонофор. У Кохановского явно болезненное отношение к понятию свободы. Будь он старым интеллигентом дореволюционного образца, все было бы понятно: старый интеллигент принимал за свободу анархию капиталистического строя, при которой случайность играла огромную роль в жизни человека и нередко решала его судьбу. Возможность пользоваться случайностью расценивалась интеллигенцией как свобода. Иначе говоря, раб случая мнил себя его господином. Пример одного тряпичника, ставшего миллионером, утверждался как закон общественного развития.

Но откуда такое у Кохановского? Самое легкое — объяснить все это тем, что он-де бывший беспризорник. От этого, конечно, не отмахнуться, но чутье подсказывало комиссару, что дело много глубже.

Комиссар восстановил пядь за пядью всю свою беседу с Кохановским. Разговор о сифонофорах благодаря своему неожиданному драматизму приобретал не только философский ореол, но и глубоко житейскую жилку. Именно поэтому решение его нуждалось в философском ключе.

Комиссар устроился плечами поудобнее и со смаком принялся размышлять в этом новом направлении. Королев принадлежал к тому типу пролетариев, которые в революцию получили высшее образование, не имея среднего. В ранней молодости наглотался он брошюр по самым насущным проблемам и считал, что для практической жизни этого достаточно, самим же проблемам не посвятил ни одной папиросы. Длительное общение со средой партийных интеллигентов заменяло ему культуру. Собственно, это и была его культура. От них он усвоил литературный язык, впитал их вкусы, даже мировоззрение, но за тридцать пять лет жизни не прочитал ни одной серьезной книги, ни одного глубокого романа — некогда было. Но когда партия от каждого коммуниста потребовала не только знания политграмоты, но всестороннего образования, когда требование неустанно повышать свой идейный уровень железной строкой вошло в самый устав партии, Королев нехотя принялся за книжки. И, оказывается, время нашлось! Рабочий-грузчик пушного склада, он, естественно, прежде всего стал заниматься основами зоологии — и вдруг за шкурами тигров и лосей, которые были для него всего только «мягкой рухлядью», отправляемой в экспорт, ему открылись законы природы. И тогда, как это часто случается с одаренными самородками, Королев с такой жадностью бросился за упущенным, что прошел семимильными шагами курс среднеучебного заведения и стал заочником философского факультета, заглатывая при этом огромное количество русской, советской и мировой литературы. Там, где другие читали, чтобы развлечься, он насыщался, чтобы утолить голод ума. С течением времени не только окружающие, но и сам он уже не отделял себя от интеллигенции, и лишь иногда, услышав какое-нибудь изречение вроде «ex oriente lux», «veni, vidi, vici» и прочую гимназическую премудрость, внутренне весь как-то съеживался и снова чувствовал себя грузчиком пушного склада. Эти содрогания остались у него на всю жизнь. Но случались они с ним не часто, и Королев рос и наливался, как богатырь Илья, в сиднях просидевший всю свою молодость. Так прошло пятнадцать лет. Он облысел, внешне состарился, но эти годы стали для него годами запоздалой студенческой юности и необычайно освежили его. Но прежде всего, конечно, обогатили. Королев научился мыслить. Если для коренного интеллигента мыслить так же естественно, как дышать, то для Королева мышление стало явлением не только логическим, но и поэтическим. Он мыслил страстно, возбужденно, с повышением пульса, с перерывом дыхания. Отсюда бил родник его счастья, но здесь же гнездилась и его слабость, так как, войдя в культуру уже зрелым человеком и не обладая той гибкостью ума, которая воспитывается смолоду, Королев часто страдал от отсутствия меры. Иногда побеждал в нем «здравый смысл», и тогда он впадал в примитив, иногда, напротив, увлекался абстракцией в совершенно дистиллированной чистоте и тогда терял под ногами почву. Королев знал за собой этот порок, но спохватывался не всегда вовремя.

Сейчас он мыслил о Кохановском. Размышляя о человеческих характерах, думал Королев, мы ищем влияния среды, подразумевая под этим соседей по квартире и сотрудников по работе. А где же *книги?* Ведь книги те же люди! Придя в библиотеку, Кохановский садится за стол рядом с таким же студентом, как и он сам. Часа через два они вместе отправятся в «обжорку», оттуда в кино или в гости к девушкам и будут спорить, обсуждать, доказывать, убеждать, оспаривать, соглашаться. Это его среда! Но здесь, в библиотеке, у Кохановского совсем иные знакомства. Подобно окованной медью двери Кембриджского университета, открывается тисненный золотом переплет, и оттуда в черном пасторском сюртуке и старомодном шапокляке выходит мистер Чарлз Дарвин. Он подходит к столу, ставит на него шапокляк донышком вниз и, раздвинув фалды сюртука вправо и влево, чинно садится против студента. Начинается беседа. Через некоторое время распахиваются все новые и новые тома: оглаживая бороду, появляется Менделеев, за ним Мендель, Павлов... Беседа пересекается дуэлью реплик, реплики превращаются в стычку, стычки осложняются эпизодами, и перед глазами студента разворачивается генеральное сражение на недели, месяцы, годы. Среда ли это? Безусловно! Причем среда буйная, воинствующая, нетерпимая, требующая от студента не только внимания, но и участия в споре. И студент очертя голову бросается в дискуссию. Принимая на веру факты, которыми забрасывают его ученые, юноша вынужден философскую сторону проблемы проверять своим жизненным опытом, как бы мал этот опыт ни был, ибо человек уже с самого раннего детства философ: трехлетний крошка, думающий, будто ночь возникает оттого, что он зажмурился, уже берклианец.

Итак, почему Кохановский так испугался сифонофор? Кохановский — биолог. В биологии прочное гнездо свили себе люди типа Зыкина. Да, да, к сожалению, так. Зыкин, например, утверждает, будто социальный инстинкт человека, будучи еще очень молодым, отстает от древнего социального инстинкта муравьев и пчел. Общественный строй этих насекомых, по Зыкину, до того «совершенен», что члены его уже и рождаются специалистами: этот — воин, тот — рабочий, а вон тот — производитель потомства. Зыкин убежден, что человечество со временем подымется до этого уровня. В этой убежденности Зыкин видит похвальную свою преданность идее коллективизма. И Зыкин не одинок. В своих *«Этюдах о природе человека»* сам великий Мечников очень близко подходит к этой мысли. Королев перелистал странички и нашел абзац, темпераментно подрезанный ногтем:

> «По мере прогресса к истинной цели существования люди должны будут *в значительной мере* отказаться от личной свободы, но зато приобретут *высшую степень* солидарности».

Если эту «значительную меру» возвести в эту «высокую степень», то социальное сознание, пожалуй, действительно заменится биоинстинктом, и тогда человечество действительно превратится в колонию сифонофор.

Кохановский, несомненно, знаком с идеями этого рода. Но Кохановский — бывший беспризорник. Это его жизненный опыт, его критерий. Беспризорничество, понятное дело, нетерпимо ни в каком обществе. Но если рассуждать чисто диалектически, то есть в нем и светлая сторона: оно приучает к самостоятельности, а самостоятельность — это начало личности. Мера свободы человека определяется мерой его самостоятельности. Так, видимо, смотрит на дело и Кохановский. Поэтому он, как человек с огоньком, боится всего, что хоть чем-нибудь смахивает на сифонофору. Что же до Зыкина, то он жаждет ее, ибо ему, Зыкину, абсолютно не нужна никакая самостоятельность. Цитаты подменяют его мышление, директивы заменяют волю.

Королев незаметно коснулся своего больного места. Нет, он не хочет думать о Зыкине слишком дурно. Он, например, вовсе не утверждает, будто Зыкин писал в главк исключительно для того, чтобы, свалив Королева, занять его место в зверосовхозе. Зыкин честно пытался удержать Королева от смелого решения, которое, по мнению Королева, только и могло поправить дело. Зыкин телеграфировал главку, что нет разницы между тем, будут ли резать оленей волки или тигры. В главке сидят люди кабинетные, соображение показалось им здравым. К тому же, когда надо решать вопрос срочно, да еще издали, всегда норовишь оставить его таким, каков он есть, дабы не впасть в еще большую ошибку. Между тем разница между волками и тиграми в отношении оленного поголовья огромна! В среднем, по данным Королева, один взрослый тигр зарежет в год около тридцати рогачей и важенок общим весом в тысячу килограммов. Для того чтобы ветер донес до волков тигриный запах и принудил их уйти из зверосовхоза, достаточно загнать в зверосовхоз десяток тигров. Помножим десять на тридцать. Таким образом, расход оленей будет равняться трем сотням голов. А волчья стая вырежет за год до трех тысяч! Этого не понимает зоолог Зыкин, а не понимает потому, что боится соображать в неожиданном для него направлении. Такие люди думают, но не мыслят.

Так же обстоит вопрос и с социологией, которую Зыкин намерен свести к высокобиологическому инстинкту. В проблеме тигра он ухватился за первое попавшееся, лежащее на поверхности: волки режут оленей, тигры выгоняют волков, тигры режут оленей. Просто и убедительно, не правда ли? Здравый смысл! То же и в социологии. Общественная жизнь муравьев древнее человеческой, муравьи утратили личное и приобрели социальное, человечество, развиваясь, утратит личное и приобретет социальное. Здравый смысл!

Королев сощурился и стиснул зубы: он почувствовал тошноту. Порода Зыкиных даже на суше возбуждала в нем приступы морской болезни. Комиссар встал и подошел к шкафчику. На белом блюдце с синим ободочком лежала половинка лимона с выпяченным пупком. Королев уложил ее на ладонь мякотью вверх и вонзился зубами в ее злую золотистую воду до брызг, до оскомины! Есть люди, которые не выносят запаха сена — у них от него делается удушье. В Королеве мысли Зыкина возбуждали рвоту. Я утверждаю это как клинический факт!

Корней Корнеич выбросил кожуру в иллюминатор, вытер усы и раскольничью свою бороду и снова улегся.

Зыкины ошибаются. Человек никогда не превратится в щупальце и желудок во имя торжества колонии сифонофор. Зыкины путают законы классового общества с законами природы. Зыкины исходят из принципа разделения труда, считая этот принцип законом природы, ибо наблюдают его у муравьев и пчел, которые кажутся Зыкиным прообразом нашего грядущего. То же, в сущности, утверждали и буржуазные ученые. Гегель, например, в своей «Феноменологии» изображает гражданское общество как духовное царство животных, совершенно упуская из виду то, что отличает человека от зверя: *зверь приспосабливается к природе, тогда как человек приспосабливает природу* *к себе* (муравей развил свои усики в антенны, человек же заставляет радиоволны звучать у себя в ящике). Между тем разделение труда всего лишь порождение определенной и довольно краткой эпохи в развитии человечества. Эпоха эта — капитализм.

В эпоху капитализма гармоничными могут быть только дети. Они-то и есть настоящие люди. Это не парадокс. Недаром вдохновенные строки Карла Маркса звучат почти как стихотворение в прозе: «Мужчина не может сделаться ребенком, не становясь смешным. Но разве не радует его наивность детства и разве сам он не должен стремиться к тому, чтобы на высшей ступени воспроизводить свою истинную сущность?» Истинная сущность — это всестороннее развитие сил человеческого духа,— да простится комиссару сия идеалистическая терминология. Пока человек юн, пока он не стал в тесном смысле членом общества, он развивается естественно, то есть всесторонне. Но есть такая болезнь — акромегалия. Растет человек нормально, как положено ему природой,— и вдруг начинает расти только в лоб, только в скулы, только в нижнюю челюсть. (Кажется, так?) Этой болезнью и страдает человечество в условиях капитализма. Пока ребенок принадлежит своей детской стихии, он Человек. Но затем Человек выбирает себе профессию и становится только слесарем, только агрономом, только музыкантом, развиваясь в узкоопределенном направлении. Так появляется человек-Лоб, человек-Рука, человек-Ухо, и этими уродцами наполнен мир.

Коммунизм — это не только замена одной системы хозяйства (эксплуататорской) другой системой (народной). Это также освобождение человека от необходимости быть только деталью общественного механизма. Общество, которое будет регулировать все производство на земном шаре, даст мне возможность стать и слесарем, и боксером, и виолончелистом, и авиатором одновременно, и я буду хорошим слесарем, хорошим виолончелистом и авиатором, так как дарования человека тем ярче развиваются, чем богаче круг его опыта. Что это не утопия, доказывают некоторые счастливые примеры в прошлом: Авиценна, Ломоносов, Леонардо да Винчи. Но мы ставим вопрос глубже и шире: задача сведется к «леонардизму» как массовому явлению.

К тому же великий Леонардо еще не предел. Истинных возможностей человеческого гения человек еще не знает, они выявятся только в эру коммунизма. Все здоровые люди даровиты. Бездарность — это болезнь. Каждый человек обладает многими способностями. Но пока труд является на земле товаром, мы можем развивать только ту из своих способностей, на которую имеется рыночный спрос. Поэтому в эпоху капитализма человек дает человечеству не лучшее, что он в состоянии дать, а только то, чего от него требует биржа, и юноша, будучи, допустим, гением в химии, вынужден стать крупье в казино или бильярдным маркером, чтобы не умереть с голоду. Вот это право каждого человека стать по своему выбору крупье, не имея возможности посвятить себя музыке или физике, и называется у капиталистов «свободой» и даже «демократией».

Коммунизм уничтожит биржу дарований. Мой внук будет владеть многими специальностями, не продавая ни одну из них, ибо рынок исчезнет. Человек из категории «трудящихся» (то есть утруждающих себя) перейдет в категорию «творящих», и жизнь его станет жизнью художника, свободно отдающего свои силы каждый раз новой области науки, искусства, техники. Итак, коммунизм будет пиршеством, роскошеством человеческой свободы. Но тысячу раз права партия, утверждая, что, прежде чем освободить личность, надо освободить человечество. Подобно тому как путь к отмиранию государства лежит через укрепление социалистической государственности, так и путь к истинной свободе личности лежит через укрепление в ней социалистической дисциплины. Понять это сейчас — значит наполовину почувствовать себя в будущем! Понять это сейчас — значит услышать в дисциплине нечто большее, чем подчинение распорядку, а что-то дающее чувство благородного идейного переживания. Так строгая дисциплина пальцев на клавиатуре дает душе великое ощущение мелодии. О каком же обществе сифонофор может идти речь, товарищ Кохановский? Вы стоите перед изумительным, сказочным царством и пятитесь от него, потому что никто не раскрыл перед вами его чудес. Но в этом виноваты уже мы, коммунисты. Нам, видите ли, некогда. Мы обладаем временем на то, чтобы «прорабатывать» заблудших, но не находим ни минутки свободной, чтобы заняться не менее серьезным делом — мечтанием о грядущем. А ведь, кажется, пора!

ГЛАВА 3

Болеслав и Олисава

Озираясь, как вор, вышел студент
И выплеснул чай за́ борт.
Здесь угол чугунными бочками заперт,
Здесь белой карты огромный стенд,
Холмы брезентового покрывала,
Бревен каких-то мощный обвал —
Все это, как баррикадный вал,
Студента от всех прикрывало.
Он отрешенно к перилам приник,
Глядит на полянки пустые.
Чай,
плеснув
на одну из них,
Так сиротливо стынет...
Над ним снеговые тучи плывут,
Вокруг ветровые пашни.
Пятно остывает. Мелочь. Уют.
Теплый такой. Домашний.
А тут еще вьюга пошла в налет,
Чаинки заносятся пушью,
И так их жалко, как будто на лед
Чью-то плеснули душу.

А разве не так? За что? Ну за что?
Он заявляет смело:
Жанна была его первой мечтой!
Кому до этого дело?
Корней Корнеич ему не указ.
Легко говорить: «Мещане!»
Ты спорь! Убеди! А это же казнь,
Казнь через молчание!
Он снова взглянул туда, где исчез
Пар желтоватого чая,
И, озираясь, вернулся в отчаянье
Не коридорами, а сквозь «лес» —
Навалы бревен, досок, стропил,
Сосны горно-речного сплава.
Вот и каюта. Нажал. Ступил.
Но кто это здесь? Олисава?

— Что вам угодно?
— Мне?
— Вам!
— Я, собственно, в гости...

— А, собственно, кто вы?

Она удивилась: — Вы что? Нездоровы?

— Пришли утешать? Напрасно! Я хам!
Я беспризорник с волчьим билетом!
К тому же еще изменник при этом,
Госпреступник. Вы зря поднялись.
Ваша каюта налево и вниз.

— Что ж. Если так — извините. Пошла.
— Вот-вот!
— Прощайте.
— Однако вы злючка.
— Откройте, пожалуйста,
тут что-то с ручкой.
— Ладно. Сидите. Я ж не со зла.
— Да нет уж, откройте.
— Ну ладно. Бросьте.

— Моя каюта налево и вниз.
— Останьтесь, Олеся.
— Вы меня просите?
— Пришла и уходит. Это каприз.

— Так, Болеслав, не беседуют с другом,
Который пришел поделиться досугом,—
Запомните это раз навсегда.

— Слушайте, вас подослали?
— Куда?
— Ко мне.
— Зачем? —
Кохановский замялся.
Она дружелюбно смотрела в глаза.

— Вы сами знаете: наша масса,
И все это... общие голоса...

— Вы сами себя замкнули в тюрьме,
Вы отравились собственным ядом.

Он осветил ее в полутьме
Злобно-умоляющим взглядом.

— А кто мне нужен? Со мною труды!
Со мною мысли, поймите!
Да я вот в этом стакане воды
Увижу миры событий:
Радиоллярии, коккосферы,
Веслоногий каланус —
Вот мое общество! Вот моя сфера!
Я никому не кланяюсь!

— Вас и не просят кланяться, мистер!
Или мосье? Не знаю.

К студенту опять возвращаются мысли,
Рожденные выплеском теплого чая,
Но уже не было прежних чувств...
И вообще — с приходом Олеси
В окошке оттаяла снежная плесень
И вещи принарядились чуть-чуть.
Правда, студент еще смотрит совою,
Хоть и ослаблены тормоза,
Но здесь
глядят
такие глаза,
Что вся каюта зажглась синевою.
И жажда жизни хлынула вдруг
Буйно, обильно, всею аортой!
Студент встрепенулся: «Какого черта?
Чем я несчастлив? Со мною друг!»
Он сам удивился такой перемене...
(Юность эгоистична, друзья,
Но укорять ее в этом нельзя!)
Ему б улыбнуться. Но тем не менее
Он исподлобья метнул стрелу,
Как первоклассник, стоящий в углу.
Она засмеялась. Ну да, он застенчив.
Взрослый как будто, а все еще мал.
Но если б студент понимал бы женщин,
И, в частности, Лялю бы понимал,
Он услыхал бы в невинном смехе
Тот воинственный рокот трубы,
С которым девушки без помехи
Идут на нас и куют в рабы.

И он с нее не спускает глаз,
Как если б открыл комету,
Он только сегодня в первый раз
Увидел девушку эту:
На ней был синий комбинезон.
Новенький. В свежем дегте.
У сердца вышит красный бизон,
А рукавицы по локти.
Хотя, конечно, бизоний рог
Был явно здесь неуместен,
Ее архангельский говорок,
С которым не надо песен,
Таким ручьем очаровывал слух,
Забитый полярной стихией,
Точно играл на свирели пастух
В березовой России.
Ляля красавицей не была,
Ее б не воспела Эллада.
Она была просто по-русски мила
Тем дружелюбием взгляда,
Тем обаянием простоты,
Той чистотою древней,
Что выше классической красоты,
Дороже ее, задушевней.
И, глядя на тихую статность ее,
На трогательность прически,
Вы слышите птах, полевое зверье,
Шелест весенней березки,
И видите небо в лазоревой мгле,
И дышите милой Россией...
Есть ли красавицы на земле
Моей Олисавы красивей?

— Олеся! Вы хороши, как сон!
Только зачем вам этот бизон? —
Она улыбнулась. Блеснули зубы,
И снова архангельская свирель:
— Это совсем не бизон, а зубр.
Надо знать российских зверей!

Студент озаренно глядит на нее.
Глазам не насытиться, не наглядеться.
Да, да, Россия... Зеленое детство...
Шелест березок... Птичье пеньё...

И тают в груди голоса ледяные.
Он будто вернулся в края родные,
Он узнает в них себя самого!
Ну что ж. Я очень рад за него.

Вы спросите, читатель, почему
Я так вожусь с каким-то Болеславом?
А что с ним делать? Выбросить во тьму,
Подобно тем писакам-костоправам,
Что лишь в парадах видят торжество,
Ведя рассказ асфальтовой дорожкой,
Горбатого же героя своего
Чуть-чуть не так — за ножку да в окошко?
Ну, нет уж, извините! Я не гунн.
Хоть по врагам и я стрелял неплохо,
Но если друг, мне дорог и горбун,
Которого подранило эпохой.
И я считаю доблестью своей,
Партийною писательскою честью,
Очистить эту рану от червей,
А не загнаивать нелепой местью.
Ведь все мы люди, все мы человеки.
Хоть доброту иные ценят в грош,
Без доброты, пожалуй, в нашем веке
Ты и фашисту в лоб не попадешь.

ГЛАВА 4

К берегу на собаках

(Продолжение)

Арктика! Заповедник героев!
Мудрого сердца
университет!
Кто, мелкие чувства в мире усвоив,
Ее белизною хоть краем задет,
Кто видел во льдах китовье ухмылье
И тысячеклыкий митинг моржей,
Кто слышал мысы́, за многие мили
Звучащие именем древних мужей,
Кто гнал по застругам собачьи сани,
Ломая щиколотку о заструг,
И кровью впитал первобытное знанье

Простых понятий: «земля» или «друг»,—
Тот возвращается в Пензы да Жиздры,
Будто проживши тысячу лет,
И не уложишь теперь его жизни
В клетку самых дотошных анкет.

Ночевку проводили мы на льдине,
У нас четыре волчьих кукуля.
Собаки, под метелицею стыня,
Уже не пели. Жалобно скуля,
Они сворачивались поудобней,
Чтоб рыльце в пах, а сверху душный хвост.
Вот улеглись. Затихли. Куча звезд
Заносит их, позвякивая дробью.
От этих звезд в кукуль набился иней,
Но мы с Петром покрепче обнялись.
Огромный кокон на соленой льдине
Соскальзывал в подтаявшую слизь,
Но мы заснули. Спали, наслаждаясь
Способностью бесчувствия. А вкось
В самом дыхании полярный хаос
Торчал в гортани, точно рыбья кость.
Но часики стучали все быстрее,
И в сердце сквозь полет нетопыря
По римским цифрам башенные стрелы
Блестят полярным блеском топора.

— Вставай! Пора! —
Далёко до утра ли?
Как передать серятину пурги,
Когда в ресницах сны еще застряли,
А на ноги не лезут сапоги?

Беру сапог, что почерствей копыт,
И выбиваю ледяную примесь,
Потом поставил, как ведро, на примус
И выжидаю: скоро закипит;
Тогда паров лиловые туманы
Охватят ногу дымкою степной,
Но он, меня водивший по Тамани,
Не сходится во взглядах со ступней.
А впрочем, пусть помирятся дорогой!
День короток. Пошли, пошли. Пора!

Я на закорки посадил Петра
И закричал Чайвуургыну: «Трогай!»
Он крикнул Оцитахину: «Тагам!»
Тот привязал бечевкою мадам,
И поезд молча двинулся.
Но Петя
Мне шепчет в ухо, привалясь к плечу:
— Да бросьте вы спать! Ей-богу, успеете!
　　Я про Олесю хочу.
Что в ней такого, а? Ничего!
　　Девушка. Таких тыщи.
Ну, а сравните с ней большинство —
　　Разве такую отыщешь?
И думаю я,— продолжает Петя,—
　　Дело тут не в красе.
Даже на ледоколе — приметьте! —
Есть покрасивше. Может быть, все!
Но, видишь ли, Нина — Нина и есть,
　　Наташа и есть Наташа.
А Олисаву никак не учесть,
　　Хотя она вроде та же.
А? Вы согласны со мною? Вот то-то!
　　Я ведь тут не шучу:
Взглянешь на тех — целоваться охота,
А эту увижу — плакать хочу.

Но что случилось с чукчей-великаном?
Он оглянулся и застыл. Глядим,
В тылу — за льдом, за мглой, за океаном —
На горизонте возникает дым.

Мы молча смотрим. Все уже понятно.
Переглянулись и опять молчим.
Черно клубясь и растекаясь в пятна,
Над горизонтом столбенеет дым.

Опять я вожаком поставил волка —
Теперь собачий гон неукротим!
Бедняга мучился довольно долго:
Собаки так самолюбивы. Дым...

Но чувствую — не избежать событий,
Все кровожадней псы мои рычат:
Ричардовская партия в обиде...
Собаки ж так самолюбивы! *Чад!*

И вдруг блеснули мачты. Вон труба!
Иллюминаторы и даже трюмы...
Разломанные льдины торопя,
Проходит, как виденье,
«Остров Грумант».

Сияющие никелем каюты,
Наверное, по-прежнему чисты.
Салон... Спардек... Уютные закуты...
Рояль крылатый... С музыкой часы...

Бои со льдом, пронесшиеся былью,
Весь этот вузовско-военный быт...
Он шел. А мы — мы так его любили,
Как можно только родину любить!

Огромная волнующая сила
Вздымалась и хлестала о края!
А родина далеко проходила,
Не догадавшись о таких, как я.

Пустынный торос, ветерком увитый.
Пустое небо в первозданном сне...
Я слово «одиночество» увидел
Во всей его полярной белизне.

А наш корабль, огибая айсберг,
Проносится на мощных скоростях.
Он был похож на старый город Страсбург
В своих балконах, стрелах и крестах,
Он уносил сокровище преданий
И пафос открывателей.
Стоим...
Но вдруг опять над сбившимися льдами
Пред айсбергом остановился дым.
Опять преграда!
Дым струится прямо.
Корабль километрах в десяти.

И тут спокойно заявляет дама:
— Я ослабела, не могу идти.
Вы продолжайте двигаться на берег,
А я вернусь. Ведь *«Грумант»* сел на мель.

— Америка вас ждет, мадам Руссель.

— Мосье начальник, никаких Америк!
— Я должен вас доставить в город Ном.
— Насильно?
                    — Нет, но у меня заданье.
— Прошу простить, но я иду с трудом,
А берега не видно. До свиданья.

Проклятая... Вот не было печали!
Я, сбросив Петьку, попрощался с ним,
Зову врача:
— Отныне вы — начальник.
Желаю счастья! —
                    Колкий, словно еж,
Он отвечал, все горести изведав:

— Удачи пожелайте. Хоть на грош.
А счастье что же... Счастье для поэтов.
Уж извините — я душою прям.

И, отвернувшись, стал по следу топать,
Обиженный на Пушкина, должно быть.
Но, как и все поэты, я упрям:
И, видя пар, что выдыхал он часто,
Вдогонку прошептал: «Желаю счастья!»

И вот бегу за дамою. Она,
Хоть у нее сапожки точно бутсы,
Уже успела где-то поскользнуться
И падину измерила до дна.
Я обошел американку сбоку
И стал вожатым: — Попрошу быстрей! —
Красавица пошла довольно бойко,
Хоть пар валил из розовых ноздрей.
Но мне сейчас совсем не до нее
Со всей ее красой необычайной.
Хождение по льдам — сплошная тайна:
Зеленоватый прочен, как литье,
Белесый, белый, серый, голубой
Не так прочны, но все-таки надежны,
Бесцветные ж задулиною ложной
Нередко воду прячут под собой.
Поэтому не шел я, а ступал,

Прощупывая — сало или льдина,
Поэтому теперь уж я не спал:
Передо мною нет Чайвуургына.
И как бы для того, чтоб убедиться,
Что вправду нет дорожки слюдяной,
Взглянул вперед —
и вдруг
предо мной
Усатые, добрые, тучные лица...

Покуда не вспыхнул Великий Лось,
У озерка, протянувши выи,
Моржовое лежбище улеглось,
И только торчали одни часовые.
Рыжее, бурое, цвета беж
Стадо занимало огромный рубеж;
Как производство, наладив сон,
Хрюкали, храпели со всех сторон.
Но и дозорный до дремы падок...
На кой человеку торчать, как мыс?
И вот возник остроумный порядок,
Высокого плана моржовая мысль:
Вахтенный морж соседа толкает
И с храпом охрану ему поручает,
Сосед вскочил, от озноба дрожа,
И сонно будит второго моржа;
Пятый шестого — и валится спать,
Седьмой восьмого — и на бок опять!
Так, тормоша и будя друг друга,
Все храпят. И спокойна округа.

Но Жанна Руссель закричала сдуру —
Очнулась орда секачей и коров,
И вмиг такой подымается рев,
Как будто с оркестра сдирают шкуру.
Я обернулся,— может быть, резко! —
Хотел ей словцо по-русски ввернуть,
И вдруг провалился.
Абсолютно без плеска.
Сразу по грудь.

Но, как всегда в опасный час,
Стало лихо и весело!
К тому же моржиха голову свесила,

Глазенапами тупо светясь,
И плюхнулась рядом, обдавши бурей!
За нею детишки, рыжий да бурый,
За ними тетки и прочья родня —
И всё симпатяги! И все на меня!

Но я человек от природы не робкий.
К тому же бабы! Какой тут страх?
Я даже по-дружески хлопнул по попке
Одну меховую наяду в усах.
Гораздо хуже то, что моржихи,
Падая наспех в этой шумихе,
Сломали весь отлогий припай —
Попробуй теперь ухватиться за край,
Да и вползти по скользким отвесам,
Да еще мокрый, да с этаким весом.
Все-таки шуба. Под шубою ватник.
Хорьковый жилет. Потом трикотаж.
А сколько еще мелочей приватных?
Одних сапожищ пара. Куда ж?
Тем более что ни каблук — подковка.
Немало к тому же весит винтовка.
Обоймы в карманищах тоже груз.
        Дело тут не простое.
А вечер синеет. А в сердце грусть.
Мне затонуть? Чего же я стою?
Мне? Затонуть? В этой патоке липкой?
Нет-с! Погибать — так уж лучше в армии,
Я ведь
            не какая-нибудь золотая рыбка,
Чтобы красоваться
                                в ледяном аквариуме.
Бух! Посторонись которые!
Бух! Кожушок промерз добела!
Бы-бы-бывало, у нас в Евпатории
Температура выше была.
Брызги слюдой примерзают к векам.
Плечом раздвигаю шугу, разъярясь...
Был водокачем, был дровосеком,
Но ледоколом — в первый раз!
Вот прорываюсь к приземистой льдине.
Хватаюсь за выступ. Хочу вползти.
Но лед крошится. Режет ладони.
Я лезу. Я, кажется, крикнул: «Пусти!»

Дама, достав сигарет и огня,
Сверху в испуге глядит на меня.
Явно трагически подняты бровки...
Видимо, час мой действительно лих.
— Слушайте, Жанна! Нет ли веревки?
— Нет, веревка осталась у них.

Гм... Вот это уж вовсе не весело.
Ну, хоть бы что-нибудь! Жердь! Кольё!..
Одна моя амуниция весила
Около двадцати кило.

Бесцветная каша смерзалась литьем,
Уже по воде кружились «блины».
Глядел я на Жанну и думал о том,
Что подо мной верста глубины.

А Жанна, присев у отвесной грани,
Ноздряшкой и губкой прячет рыданье.

По сонным ногам моим бегает рябь —
Подводный поток ощущают они.
А льдина ворочалась, как корабль,
В кровавых перчатках моей пятерни.

И Жанна слез уже больше не прячет,
Некрасива и даже стара,
Она стоит надо мной и плачет
Громко, по-детски, совсем как сестра.
«Милая...» —
подумалось мне.
Но долго думать не приходилось:
Шуга, тихонько шипя в тишине,
Склеивалась от мороза в нилос.
— Идите домой! — говорю я.— Ну!
Идите... Не то пойдете ко дну...—
Но Жанна стоит, будто вбитая в льдину.

— Корабль застрял. Идите туда...
Скорей!..
— Но как же я вас покину?
— Иди ты, дрянь! — заорал я тогда.

У дамы вздернулся подбородок,
Она повернулась и тут же ушла.
Короткий день уходил на отдых.
Уже опускалась полярная мгла,
Уже подымалась легкая вьюга,
И слышалось всюду кряхтение льда,
Уже не увидеть мне никогда
Ни матери, ни жены, ни друга,
Уже не спросить среди милых минут:
«А как доченьку зовут?»

Выхода нет. Спасения нет.
И все ж раздражает пиликанье скорби.
Гордости больше!
                                   Придет рассвет,
Берег очнется от Нома до Скорсби,
Я же вольюсь в океанский сон.
Так отчего этот вздох и стон?
Разве до этой жизни моей,
Длившейся столько и столько дней,
Не был
            ракушками
                                 мой скелет
Столько-то миллионов лет?
Разве не жил я жизнью воды?
Жизнью ветра? Жизнью руды?

Что же ужасного в том, что сейчас
Снова я стану ветром, волной?
Смерть — это только новая связь
Между природою и мной.
Но, зябко дрожа, говорит мой бред:
«Этого я никогда не пойму.
Что мне волна? В ней разума нет».
Но отвечает кто-то ему:
«Ах, разве разум не для того,
Чтоб осознать свое естество?»

И замирает мой маленький бунт.
Крякнул лед. Пробежала рябь.
В сонной душе возникает сквозь зябь
Пафос огромности этих секунд.
В нем предвиденье новизны,
Какое-то свежее чувство стихий...

Как жаль, что об этом сквозь смертные сны
Я не смогу написать стихи.
И вдруг я слышу — вблизи частушка.
Идет. Приближается. Это Петрушка:
— Ах, шпилечка-булавочка,
Пронзила ты меня!
Олеся-Олисавочка,
Любимочка моя!

Петух подошел: — С крещением вас! —
Сел на лед у отвесной стены
И, кожаные снимая штаны,
Крикнул мне: — Раздевайсь!

Я засмеялся. Нырнув глубоко,
Вылез из кожуха.
Тулуп, со святыми его упокой,
Перенял жест вожака:
Поднявши руку, он уходил,
Как бы за собой маня,
С моими плечами, совсем один,
Он тонет вместо меня.
Опять я в прорубь, как домой.
Вода относит вбок.
Жилет долой. Белье долой.
Но жалко мне сапог.
Один широкий, ничего.
Я не возился с ним,
Другой же скользкий, как налим,
Сплошное озорство!
Уж я и этак, я и так,
А он, проклятый, ну никак!
Но я содрал его рывком —
С носком, с гвоздями, с пяткой.
Да так, что сам же кувырком
На собственные лопатки.
Теперь на кочку из шуги
Свои я ставлю сапоги.
А впереди немало дел,
И я ныряю вновь.
Короче, выплыв из штанов,
Я сапоги надел.
Тогда-то раздался Петуший голос:
— Держи! —

Штанина спустилась впотьмах,
И я взлетел,
дымящийся и голый.
Совершенно голый. В сапогах.

— Дыши! — Я дышал.
— Прыгай! — Я прыгал.
Прошлась рукавица — я стал сухим.
При этом Петух изъяснялся криком,
Как с иностранцем или глухим.
Но все ж он меня потрепал по шее
И причесал во всю пятерню.
(Теперь у него ко мне отношенье,
Примерно как к собственному коню.)

А я? Мой шаг и теперь не шарящ,
Хоть и бреду из последних сил.
Я в проруби голой рукою схватил
Великолепное слово: «Товарищ!»

ГЛАВА 5

Легко ли выклюнуться из скорлупы

В дверь постучались почти опозаранку.
— Да-да! —
Комиссар вошел.
Студент глядел в какую-то склянку
И буркнул: — Чай поставьте на стол.—
Затем, позабыв о чае, добавил: —
Дико, но он!!
— А что?
— Но это ведь против правил:
Photocarinus и русский планктон?

И вдруг, заметив, что чей-то голос
Против правил с ним *говорит,*
Вмиг обернулся. Весь его вид
Являл потрясенье. С минуту Болесь
Глядел неподвижно: сам Королев?!
Корнеич разглядывал Болеслава
С таким же вниманием, как тот свой улов.

— Фотокаринус? Не слыхивал, право!
Что за фрукт?
— А вы... А вас
Интересует?
— Представьте, да-с! —
Надменно вскинувши подбородок
Привычным движеньем Жанны Руссель,
Студент сказал: — Не заметил досель.
— Не все замечаете-с, в ваших водах.—
При вежливом обороте таком,
Чреватом опасностью тем не менее,
Студент заерзал и от смущения
Стал говорить шутовским говорком:

— Ну что ж, если вправду — извольте!
Рипусь!
Глядите. Видите? Вот.
Печальная рыбка «photocarinus»
В склянке этой живет.
Печаль этой рыбки не без причин:
Дружка, извините, нету.
У этой породы мало мужчин,
Их сотня на всю планету.
Для всех на свете приходит весна —
Поэзия, игрища, пляски...
А эта рыбка осуждена
Всю жизнь прожить без ласки.
Не ждать ей свиданья к семи часам,
Не ныть серенаде от страсти.
Но рыбка знает, что каждый сам
Кузнец своего счастья:
Покамест несутся белужьи свадьбы,
Пока на башку становится кит [1],
Покудова сельдь к селедке летит
С мыслью: «Не опоздать бы!» —
Рыбка-то наша в планктон струится,
В планктоне находит икру,
Ждет, покуда малек родится,
И с ним заводит игру.
В надежде будущих молок
Обдаст клеевиной свою головизну,

---

[1] Ухаживая за самкой, кит нередко становится на голову, делая в воздухе хвостом всякие уклюжие движения.

И вот к щеке прилепился малек —
И тут прощается с жизнью.
Собственно, он превосходно жив,
Но жив, как живет... ухо.
Он спит, плавнички спокойно сложив,
О нем ни слуху ни духу.
Когда ж поэтическою порой
Самка окутывается икрой,
Впаянный в щеку карлик-самец,
Что так и не рос как личность,
Прыщет молóками наконец
И снова впадает в сомнамбуличность.
Нет, вы подумайте: это ж плотва!
Тюлька! Тьфу, мелочь!
А приспособленность какова?
Какая в идее смелость!
Тут жизнь утверждает свое торжество!!

Студент бушевал, огневой, вдохновенный,
Но комиссар вполне откровенно
Глядел не на рыбку, а на него.

— Вы очень на меня сердиты? — спросил комиссар тише и глубже обычного.

Кохановский вздрогнул и промолчал.

— Сердиты. И все же хочу просить об услуге. Не откажете?

— Это смотря какая услуга.

— С кораблем дела плохи,— прошептал Королев таким тоном, как будто доверял эту тайну только Кохановскому.— В продвижение с дрейфом я не верю, потому что у нас под самым носом айсберг, и дрейф от этого может уйти черт-те куда, а это значит, корабль рано или поздно крахнет. Но для меня корабль — это прежде всего люди. Их моральный дух должен быть на высоком уровне. Вы согласны с этим, Болеслав?

Кохановский не мог стряхнуть с себя огромного обаяния этого человека. Когда комиссар обратился к нему на «вы», это больно ужалило студента, когда же он назвал его «Болеслав», это наполнило его счастьем. Он тихо таял от рокота его голоса и зачарованно глядел в его глаза. Королев ждал. Чего он ждет? Ах да! Кохановский кивнул головой и, насупясь, сказал:

— Согласен.

— В таком случае я прошу вас прочитать матросам и кочегарам небольшой докладец на тему «Духовный облик советского человека». Можете это сделать?

— Нет

— Так. Почему?

— А кто мне поверит?

У нас делами ораторов мерят,
А что у меня за авторитет?

— Если я поручу такую лекцию, допустим, Олисаве,— сказал комиссар, как всегда держась становой жилы в разговоре,— если Олисаве, то это ни в ком не вызовет жажды соревноваться: всем известно, что эта девушка существо безупречное. Но иногда нужно давать ответственное поручение не праведнику, а как раз человеку грешному. И вот когда именно этот грешник вдруг обнаружит тягу к правильной жизни...

Кохановский
(усмехаясь)

То этим он так обрадует всех,
Что будет стоять гомерический смех.

Королев

Быль молодцу не в укор. Важно, кто этот молодец сегодня, ну, и, понятно, каким обещает быть завтра.

Кохановский

Это конечно. Тут вы правы.
Не прошлое важно, а существо.
Ну что ж, я, пожалуй... Не знаю, право,
Если вам кажется, что ничего,
Что я могу приобщиться снова,
Я бы, пожалуй, сказал два слова.

Королев

Ну вот и отлично. Пойдемте.

Кохановский

Куда?

Королев

В трюм номер первый.

Кохановский

Зачем?

Королев

На собранье.

Кохановский

Но я не готовился.

Королев

Не беда.

Кохановский

Я так не умею... Я должен заранее...

Хоть «Грумант» ждет от ветерка чудес,
Но и к зиме готовится попутно:
Там конопатят, обшивают здесь,
В строительных лесах дымится судно,
От чушки ожидается приплод,
Коровок с «поля» пригоняют к ваннам,
И, ставши из стального деревянным,
На хутор смахивает пароход.
С утра на дровнях, запряженных тройкой,
В пыжах Олеся едет за водой.
Жалейкин с бородою завитой
За коренного. Он бежит не бойко,
Но четко. Слева, как бы стороной,
Держа очки с веревочной оправой,
Подскакивает Вайсберг, а направо
Пофыркивает Коля-воронóй.
Олеся с детским хохотом летит,
Покрикивая: — Веселей, каурка! —
Ах, что за кони! Особливо Тит.
Но вдруг гудок. Неужто перекурка?
Не рано ли? Однако политрук

Уже сзывает в рупор на собранье.
И вот в мехах да коже «хуторяне»,
Шумя, рассаживаются вокруг.

Профессор Басаргин безучастно присутствует за столом президиума. Последнее время он почти не улыбается. Глаза его утратили влюбленное выражение. Уставясь в одну точку, Андрон Иваныч сидит, трогая языком зуб мудрости, что означает у него растерянность или беспомощность. Собрание совершенно его не интересует. Он ясно видит неизбежную гибель корабля и думает о судьбе работ экспедиции, материалы которой по океанографии и метеорологии Арктики могут погибнуть даже и в том случае, если люди спасутся. Зато комиссар — комиссар думает только о людях. Как врач прислушивается к биенью сердца тяжелобольного, так Королев следит за моральным пульсом корабля. Сейчас, когда судно впаяно в дрейфующую льдину и само по себе неподвижно, главное — не давать людям бездействовать. Девять часов в день комиссар занимает их тяжелым мускульным трудом: он придумал околку, в которую не верит, заготовку пресной воды, втрое превышающую потребность, бессмысленную перегрузку трюмов. Для этого организованы бригады, налажено соревнование, выставлена Доска почета! Далее — учеба. Не менее шести часов народ обязан учиться. Но если прежде этот плавучий вуз напоминал клуб и был развлечением, то сейчас это нагрузка, и притом нелегкая. Так и должно быть! Комиссар сидит за столом президиума и разглядывает своих питомцев: перед ним буйные кудри Вайсберга, придерживающего свои очки на веревочках, аккуратный ежик Сомова, челка Жалейкина, золотой венец Олисавы.

Кстати, об Олисаве. Королев неплохо знает женскую душу: Олисава занялась воспитанием Кохановского, она затрачивает на него душевные силы, а это даром не проходит; она, конечно, почувствует к нему теплинку и, несомненно, им увлечется — как раз то, что нужно всем троим: Кохановскому, чтобы забыть американку, Олисаве, потому что она никого еще не любила (а в двадцать лет это не обещает ничего хорошего), наконец, ему, комиссару, по причинам столь понятным: не он ли творит счастье этих людей? Но беспокоит комиссара новое обстоятельство. Обстоятельство это обладает карими глазами и скулами печенега — кочегар первого класса Фрязин Константин. Изо дня в день, как только кончается вахта, он замирает у борта наискосок от каюты № 5, где живет Олисава. Сто́ит девушке появиться на палубе — Константин тут как тут. Он, правда, несколько смущен, излишне насуплен, даже хмур, заговаривать с ней не решается, но неотступно сопровождает ее повсюду. Вот и сейчас кочегар сидит рядышком с Олисавой, полуотвернувшись от нее, чтобы она чего не подумала. Однако на ее тюке места ему явно не хватает. Сидеть неудобно, Костя почти висит, но Королев понимает, что он провисит подле нее все собрание. Хуже всего то, что это понимает и Олеся. Она могла бы отодвинуться и дать ему место, но ей хочется, чтобы он висел. Не из злорадства, конечно, а просто так, из врожденной потребности всякой девушки помучить влюбленного в нее юношу. Тем самым она уже вступает с ним в какие-то тонкие внутренние отношения. Олисава этого не подозревает. Не догадывается об этом и Костя. Но *он* понимает это! Комиссар! А зачем ему все это нужно? Он хочет поместить Олесю и Болеслава в одну общую для них орбиту чувств, как, бывало, помещал в одну клетку канадского чернобура с камчатской огневкой,— к чему же тут еще этот посторонний лис? Оглядевши Костю, Корнеич безотчетно обернулся к Кохановскому. Студент стоял у стола и напряженно глядел на комиссара. Королев очнулся, ободряюще ему подмигнул и нажал звонок.

Кохановский

Черты... советского... человека...
Это не а́тлас. Да. Не музей.
Историк поймет их в явлениях века,
Но мы... мы их видим в поступках друзей.
Я мог бы, товари... Я б мог перечислить
Многие грани советской души:
Сказать об уменье по-новому мыслить,
Сражаться насмерть, до гроба дружить,
О беззаветном служенье народу,
О притягательной силе идей,
Что в нашей стране воспитали породу
Сильных и бескорыстных людей.
Но я повторяю: душа не атлас,
Она проявляется в сложной борьбе,
И вообще у ней собственный адрес.
Позвольте же мне рассказать о себе.
Я человек заверченный. Знаю.

Но думал, что если я чист душой,
Если верую в красное знамя
И если путь предо мною большой,
То я и могу ни с чем не считаться
В утвержденье желаний своих.
Хочу — и все!
А проще и вкратце —
Не мог понять я: как большевик,
Личность яркая и волевая,
Так удивительно ладит с собой,
Что, даже командуя, повелевая,
Вмиг подчиняет свой внутренний строй
Предписаньям партийных линий?
Однако, товарищи, был я слеп:
Личность, поднятая дисциплиной,—
Это хозяин слепых судеб!
И может быть, эта духовная область,
Пока еще недоступная мне,—
Самая-самая гордая доблесть
Человека в нашей стране!

Королев вздрогнул: Кохановский совершенно в других словах и образах повторил ту самую мысль, которая была одной из самых любимых мыслей его, Королева.

— Как вам кажется, это он искренне? — тихо спросил Басаргин, продолжая трогать языком отдаленный зуб.

— Не сомневаюсь.

— Вы хорошо его знаете?

— Настолько знаю.

Кохановский

Я дезертиром, товарищи, не был,
Верьте не верьте, а это так.
Меня наказали. Внешне — пустяк,
Но сердце мое испылалось в пепел!

— Ох, и любит наш брат, советский человек, распинаться перед народом! — усмехнулся капитан Воронин.— Казните, православные!

— Как вам не стыдно! — вспыхнул голос, ставший сейчас из глубокого глубинным.— Человек раскрывает перед нами душу...

— Да нет, я ничего. Парень, видать, сто́ящий.

Басаргин не слышал этого разговора, но, наклонившись к комиссару, недружелюбно сказал:

— Если зайца крепко бить, он спички зажигать научится.

Выражение лица его было брезгливым, что очень не шло к его доброте. Комиссар взглянул на командора искоса и ничего не ответил. Однако совершенно неожиданно за него ответил капитан:

— Нет, тут не спички. Это уж такое дело, Андрон Иваныч. Когда цыпленок выклевывается из яйца, он выходит на солнце весь, извините, в дерьме. А здесь человек заново рождается!

Кохановский

Может быть, я не все осознал...
Все-таки не был я дезертиром.
Но вот
меня
средь ледовых скал
Оставили с моим внутренним миром.
Что же я в этом мире нашел?
Радиоллярии и коккосферы?
Кару мою с моей лирикой сверя,
Думал сперва, что удар не тяжел;
Думал: ну что ж, обойдусь и один.
Знанья при мне, остальное «всуе».
И вдруг оказалось, что я — гражданин!
Что я вне общества не существую.
А главное — то, что беден я. Беден!
Несу я душу, как нищий суму.
Меня сослали к себе самому.
И стала душа как разорванный бредень:
Вся великая жизнь морей
Килькой
и той не задержится в ней.
Вот что понял я наконец.
Это была очень мудрая кара.
Хоть я и сердился на комиссара,
Но он сейчас для меня как отец.
Да, да! Извините, Корней Корнеич,

Может быть, я бестактен и тут,
Но я не могу в себе это развеять.
Впрочем, уверен — меня поймут...
Ведь я не прощенья пришел молить
Ради удобства или покоя.
Я сам не знал, что скажу такое.
Я... я почувствовал кровную нить
Со всеми. Вы понимаете это?
Со всей страной. Навсегда. Навек.
Поймите! Я не прошу участья.
Нет, это просто... просто от счастья!
Ей-богу, я тоже теперь человек.

Он засмеялся.

— А где же доклад? — спросил комиссара капитан.

— Доклад действительно затерялся в песках,— ответил совершенно сияющий Королев.— Но это не важно. Важно, что Кохановский почувствовал именно то, чего мы от него добивались.

— Да, но говорит он об этом совсем не так, как было бы нужно,— процедил Басаргин.— Здесь много безвкусицы.

— Для искренности шпаргалок нет! — сказал Королев.

Кохановский стоял, тяжело и облегченно дыша. Тыльной стороной ладони он отирал со лба пот вдохновения. Ощущение неловкости, как соль в крутом кипятке, таяло в тех больших чувствах, к которым он неожиданно для себя пришел. Студент ни словом, конечно, не обмолвился о Жанне Руссель. Никто от него этого не требовал, но все знали, *что* именно он имел в виду, когда говорил, что не был дезертиром. Кохановский оценил это и был жарко, всем сердцем, благодарен товарищам за чуткость.

И тут-то на трапе № 1, спускаясь вниз ступенька за ступенькой, показались желтые сапожки, отороченные мехом, за ними широкие полы узкой шубки, далее белый воротник лисицы альбинос и, наконец, красно-бурая грива, надменным движением головы вскинутая кверху.

Все, как по команде, повернули головы к студенту. И только один Тит Жалейкин продолжал глядеть на Жанну не отрываясь: готов побожиться — он где-то видел эту женщину. Но где? Где?

ГЛАВА 6

О ненужном, но неизбежном

Ах, молодость!
Твой «пламень неизбывный» [1]
Жесток без умысла и озорства.
Как жизнь сама, ты в жадности наивна,
И, как природа, ты во всем права.
Олеся позабыла комиссара
Со всеми тиграми его. Теперь
Не только он, но и прекрасный зверь
С глазами затухающего жара,
Что так в ее сознанье дополнял
Необычайный образ Королева,
Уже совсем ее не занимал.
Душа коснулась нового, иного...
И о норвежце пламенный рассказ
Не повторился бы на этот раз.

Басаргина задумчиво сидит
И пришивает пуговку. Пред нею,
Над книжкою вытягивая шею,
Уселся равнодушный дядя Тит.
Теперь ее любимый коренник
Читает бегло, но порою мысли
Бегут куда-то в низменное, ввысь ли,
Но, несомненно, в сторону от книг.
Быть может, в буквах прыгают бычки,
Грудастые, которые погуще...
Но классной дамой смотрит сквозь очки
Олесин взор, по-детски «власть имущий»,
И коренник сконфузился, краснея,
Но дама «продолжайте» говорит,
И вновь трудолюбивый дядя Тит
Вытягивает розвальни из снега:
— «Цыганы шумно... шумною толпой... —
Прочел Жалейкин, глыбину корчуя,—
Цыганы шумною толпой
По Бе... по Бесса...»
— Что это с тобой?
«По Бессарабии»!
— Ага. «Кочуют».

---

[1] Ломоносов.

Он все это читал десятки раз
И вдруг споткнулся у начала фраз.
Но и наставница была не в духе.
Как это плохо, что как раз тогда,
Когда студент, пускай не без труда,
Но все же вылезая из порухи,
Сказал все то, что должен был сказать,—
Вернулась эта, эта вертихвостка!
Он на нее взглянул довольно жестко,
Но этим ли и кончится? Как знать!

«Есть что-то общее у Болеслава
С Алеко»,— смутно думает она.
Такая же неудержимость нрава
И та же страсть, не знающая дна,
Вернее, пыл чудно́го человека
В отстаиванье обветшалых прав...
Но если побежденным был Алеко,
То явный победитель Болеслав.
Его большая речь перед собраньем,
Окрашенная подлинным страданьем
И в то же время радостью,— она
Не у суфлерской будки рождена.
Он глубже всех понять себя сумел!

Ведь этакий, казалось бы, пострел,—
А для иных и нравственный калека,—
Поднялся он, все личное поправ.
Вот этого-то не сумел Алеко,
Но смог его потомок Болеслав.
И вдруг явилась эта... эта пава,
Чтобы улыбкой сжечь его дотла.
Не удалось!
И все же Олисава
Всю ночь от той улыбки не спала.

Жалейкин тоже плохо спал.
Он видел березовый лес и пал,
Избушку серенькую на краю
И в красной паневе женку свою.
Выходит она в предрассветную тьму
И думает: каково-то ему?
И плачет, сбирая пепельный мох
В березках, плывущих, словно дымок.

И верно: как же ей не тужить?
Сам-то был выдающий мужик,
Строгий, степенный, еще молодой,
В челке, однако же с бородой —
Образ этакого письма
Многие одобряли весьма.

А «сам» писал ей кажинный день:
«Выйдешь, Васильевна, ватник надень —
Остерегись лихоманку поймать,
Ты, мол, теперь не жена, а и мать...»
Всяко по Лизоньке изнывал,
Даже «товарищка» называл.

После, конечно, писал про быка:
Хвост каков, каковы бока,
И, словно бы сам богомазом был,
Больно уж золотинку любил —
Вылепит идола и разок
Искоркой подожжет глазок.

Опять же еще говорил про еду:
Кофий, значит, коржи на меду,
Вчерась наделали белых плюх.
Ну, за обедом у кажного лук.
Без луку в Арктике не моги:
Оно пользительно для цинги.

Раз в пятидневку пожалуй на ют:
Кажному чарку водки дают.
Он-то, понятно, водки не пьет,
Хотел, было дело, сменять на мед.
Мед, похоже, в двадцатом числе
Вконец окончится на корабле,
Тогда его можно будет продать
Рубля по четыре, а то и пять.
Однако, тово... Сказали «они»:
«Пей не пей, а менять ни-ни!»

Далее, учится он хорошо:
Школу неграмотности превзошел.
Очень ему за это почет:
Чего ни увидит — в момент прочтет!
Нынче с барышней тут одной

Вместе читают под выходной.
И вот хотя мужичок от сохи
И, как бы сказать, для безделицы стар,
Но вам, Лизавета Васильевна, в дар
Он посылает свои стихи:

«Чукчане шумною толпой
По Арктике кочуют,
Они сегодня над замерзшею рекой
В шатрах, покрытых моржовыми шкурами,
ночуют.
Жду ответа, как соловей лета».

А «барышня», не ведая того,
Во что преобразилися цыгане,
Испытывала чуть не содроганье
При мысли, что возможно торжество
Накрашенной улыбки над судьбою
Несчастного студента. Злой от мук,
Заслыша человека за собою,
Как он, бывало, прятался за тюк!
Отброшенный, изверженный из круга
Враждой как будто дружественных сил,
Он из упрямства сам себе внушил,
Что славно обойдется и без друга,
И, на безлюдье быстро одичав,
Все злее становился Болеслав.
В такой-то час, наивна и светла,
Олеся к Болеславу и пришла.
Но та «наивность» не забавы ради!
Он ухватился за ее приход...
Он в ней почувствовал противоядье,
В ней означался как бы переход
К друзьям, к единомышленникам, к массам,
К большому, всенародному пути...
Как вздрогнул он и как он сдался разом,
Когда Олеся собралась уйти!
Да! Оказалось, без Олеси пусто.
Они по-человечески близки.
Она прошла сквозь муть его тоски
И в нем затронула такие чувства,
Которых он не замечал в себе.
Она сыграла роль в его судьбе,
Пусть маленькую. Не беда... Но все же...

И тут-то Олисава поняла,
Чем стал ей дорог паренек прохожий:
Ведь он впитал дымок ее тепла.
И слезы так и брызнули из глаз!
Она простила все его бесчинства.
В ее слезах частица материнства
С какой-то долей творчества слилась.

Жалейкин тоже глубо́ко вздохнул...
Волненье наполнило уши, как гул.
Он видит колхозное стадо вдали,
Низкое солнце в красной пыли,
Двух собак и в медном огне
Черного пастуха на коне:
Рубахой пузырясь, он кличет баском
В буденновском шлеме и босиком.
Бурая телка от глупости — брык!
И тут же вбок,
по-телячьи,
назло...
Но пожилой огнедышащий бык
Уверенно стадо ведет на село.
И стадо сходится все плотней.
Шумен да истов бычачий дых.
Старухи уныло стоят у плетней
И выглядают бывших «своих»...
И вдруг Буренка в сторону мчит,
Стала у старых ворот и мычит,
Здесь Чернопегая, Манька там —
Каждая к собственным воротам,
Тянут ноздрями знакомый дым...
Что это все? Непонятно им.
Но вместо привычного:
«Мань-Мань-Мань!» —
Бабки с плачем их гонят прочь...
Солнце садится. Восходит туман
И на корню превращается в ночь.

Долго тогда он бродил окрест.
Вышел на кладбище, ближе к своим.
Сел на могилку. Березовый крест
Кротко раскинул руки над ним.
Пахло мятой. Троицын цвет
Запах свой излучал в ответ,

Ветер подул в духовую полынь,
И на кресте зазвенело: дзинь!
Тит оглянулся и обомлел:
Крест как крест. По-березному бел.
Но в суковатое, что ли, крыло
Белая чашечка привита,
И от нее звенят на село
Телефонные провода.
Всю отцовщину в этот миг
Вспомнил вдруг дремучий мужик —
И, омрачая кладбищенский сон,
Сиплый, как сыч, вылетает стон.

Сказ о дымах крестьянской души
В эпоху борьбы за коммунный кряж
Ты из насыщенной мятой тиши
Только стоном и передашь —
Пахотник, сеятель да косарь,
Скуп языческий твой словарь:
«Пришел Евсей —
Овса отсей!»
«Святой Акундин
Разжигает овин».
«Глеб
Сеет хлеб».
«Тит
Гриб растит».
«Пришел Ларивон —
Траву с поля вон!»

Древние боги стоят за тобой,
Шевеля деревянной губой.
Новое старому наперекор
Их, как поленья, швыряет в костер.
Где ж тебе взять, дремучий мужик,
Достоевщины страшный язык?

Ты ходишь истово по кораблю,
Каждый удар ценя по рублю,
Звякаешь, тюкаешь да стучишь,
Северный полюс беря в обмолот,
А все в тебе горбатая тишь
Сидит, поджав старушечий рот.
Эта горбунья знает одно:

Неистовое
справляет пир,
Пути-дороги ведут на дно,
В безумье адово ввергнут мир,
И навсегда уходили в бега
Самые домовые бога.
И только в самый последний миг,
Когда обрывалось начало начал,
Вдали
прояснялся
божественный бык
И, как хозяин, властно мычал.

ГЛАВА 7

Олисава и мадам

Кохановский глядел на склянку с водой
И думал. Думал о Жанне.
Рачок, не гоняясь теперь за едой,
Бредил в своем стакане.
Хоть свет был тот же и та же вода,
Но, умирая от скуки,
Рачок беспрестанно менял цвета
В интересах науки.
Но зря старался бедняжка рачок,
Впустую его прилежанье,—
В сонную воду уставив зрачок,
Студент размышлял о Жанне.

Помнится, это была среда.
Что? Или нет, четверг.
Как страшно отвергла его среда...
Он сам себя отверг.
Он вышел на палубу, точно вор,—
Он так опасался встреч!
По вантам шел ветровой разговор,
Звучала полюса речь.
Как бред, курилась на льдине бурда.
Был это, кажется, чай.
Ты отошел потом от борта,
Ты дверь открыл невзначай —

И вдруг... Минутку! Не торопись!
Дай перевесть дух.
(Во что превратилась бы наша жизнь
Без чудного слова «вдруг»?)
Это был самый обычный жест:
Просто нажал и открыл —
И вот каюта на восемь мест
Стала тесной от крыл,
И сразу могучие крылья орла
Тебя потянули в полет.
Какая же сила в Олесе была,
Что взмыла тебя из болот!
Глаза и очки мерцают пред ним,
Коронка волос и чуб...
Но что это за слоистый дым,
В губы плывущий из губ?
И линия стана в ладонях его
Статуей ожила!
Нет... Это так... Совсем ничего...
Какая же сила в Олесе была,
Что взмыла его из болот!

Она ничего не сказала ему;
Пришла и села, как дома.
Но ниточка света проходит сквозь тьму
Без грохота и грома,
И там, где ниточка эта прошла,
Теперь золотая жила.
Да! Таинственная игла
Не только рану зашила,
Не только с живой водой эликсир
Душе принесла Олисава:
Она, обновив его внутренний мир,
Гордиться собой дала ему право!

Хоть славен тот, чей идеальный путь
Привел его к величественной цели,
Но тот, кто ищет, падая от пут,
Впивающихся до рубцов на теле,
Кто, задыхаясь, шаря и ползя,
В конце концов выходит на дорогу,
Тот также славен, и ему нельзя
Совать в пример иного недотрогу,
Который получил из рук отцов

Под бурями отстроенный корабль,
Кто знает только дробь осенних капель
И лишь читал про заполярный рев.
Вот потому-то хочет Олисава
Пойти к американке и сказать,
Что этот путь, и без того корявый,
Не надо в беспризорном искажать.
Она уже пимы свои надела
И в малицу нырнула с головой,
Но замерла: а ей какое дело
До мук студента с этой... гулевой?..
И, медленно оправивши овал
Коричневых пыжей у смуглой шеи,
Олеся, от смущенья хорошея,
Глядит в окно на дровяной обвал.
Однажды комиссар ей поручил
Зайти к студенту в трудную минуту...
Но Кохановский выплыл из пучин,
Задание исполнено как будто.
Начальник попросил помочь? Изволь.
Она посильно выполнила роль.
Но посещенье иностранной дамы
Сейчас уже как будто сверх программы.
И девушка застыла у стола.
Идти... Зачем? Все это как-то зыбко...
Но, вспомнив о чарующей улыбке,
Олеся покраснела и пошла.

Дама сидела, закинув руки.
Хоть с палубы несся говор и смех,
Глаза ее, полные скуки,
Глядели в окно на бескрайний снег.
Он удалялся во все концы,
Пуржинка с сугробов его сдувала...
Как снег, на кровати валялись песцы,
        Сползающие с одеяла.
И вдруг послышался сдержанный стук,—
Так Болеслав не стучится,— и вдруг
Входит Олеся. Дама впервые
Видит девушку у себя:
Черты напряженные и живые,
Пальцы, что, воротник теребя,
Ни на секунду не застывали,
Горло в пыжиковом овале,

Гордо выгнутое сейчас,
И, наконец, выражение глаз —
Все говорило, что девушка эта
Пришла не с одним изъявленьем привета.

И дама с улыбкою говорит
Слегка взволнованной Олисаве:
— Мне очень и очень приятен визит
Одной из русских красавиц.
Вы знаете, я ведь в вас влюблена!

Но Олисава ответила сухо:
— Кораблю от вас нужна
Маленькая услуга...

— О, пожалуйста! Все, что угодно!
Хоть я, увы, ни к чему не пригодна,
Но если я в силах...
— Вы в силах, мадам,
(Реплика прозвучала на ноте,
Едкость которой не передам!)

— Вы, вероятно, нас не поймете.
Нам историей суждена
Жизнь, закладывающая начало
Мира, которого не бывало.

— Вы про коммуну?

— Наша страна
Взяла такую тяжесть на плечи,
Какой никто никогда не брал,
Какая даже не снилась прежде.
Вот почему в государстве аврал.
А там, где аврал, любой человек
Должен знать свое место и дело.
И если какой-нибудь имярек
Держит себя в строю неумело,
У нас воспитывают его,
Надо сознаться, довольно сурово.

— Вы восхитительное существо!
Но только к чему тут слова Королева?
Мы с вами женщины, мадмуазель,

И если студент наказан жестоко
За то, что держался красиво и стойко
И вызвал общество на дуэль,
Так неужели, Алиса, и нам
Нужно его обойти улыбкой?

— Вы не поймете его, мадам:
Эту дуэль он считает ошибкой.

— Ошибкой?
                    — Да.
                              — Ошибкой — дуэль,
В которой стоял у самой могилы?

— Он каялся.
                    — В чем? В благородстве? Милый!
Как ему ваш Королев надоел!

Зубы ее, сплошные от сходства,
Иронически вспыхнули сплошь
В сознании полного превосходства
Ее морали над нашей.
                              — Ну что ж!
Студент, как я вижу, отлично вырос.
Теперь уж ему не страшен мой вирус,
И я не смогу его опьянять.
Чего ж от меня желают опять?

Они впились глазами в глаза,
Веки раскрыв и веки сощуря,
Черная, в белых молниях буря,
Синяя, в пламенных искрах гроза,
Одна — чужой судьбы пожелав,
Другая — в своем убежденная праве,
И — да простит меня Болеслав! —
Обе не думали о Болеславе.
Вся перед схваткой напряжена,
Ляля сказала с нервной одышкой:
— Корабль желает,— сказала она,—
Чтоб вы перестали... играть мальчишкой!

Плечом поведя, чтобы в мех зарыться,
Дама взглянула сытой тигрицей.
— *Корабль* желает? — спросила она.—
Корабль или... Басаргина?

Трудно придумать лучший ход —
Удар пришелся по сердцу.
Ляля вскочила, рванула дверцу
И устремилась в левый проход.
Жанна, забыв песцов на полу,
Бежит, теряя алую ленту,
Чтобы увидеть на дальнем углу —
Свернет ли Олеся к студенту?

Так. Не пошла. Проносится мимо.
Жанна опять обретает уют,
Вернулась за шубкой и вышла на ют
В клубах виргинского дыма.
Студент услышал ее шаги...
Вокруг «Ипполита» пошли круги,
Как если бы в склянке завихрился ветер.
Идет...
Приближается...
Вот уж вблизи!
И он опустил на окне жалюзи,
А на легкий стук не ответил.

ГЛАВА 8

Идея личного бессмертия

Корней Корнеич был очень возбужден. Вернее, взбудоражен. Час назад он вызвал к себе поэта С. и долго распекал его за то, что поэт, будучи начальником отряда, не обеспечил доставки Жанны Руссель на берег. Начальник отряда поступил с этой женщиной слишком по-джентльменски, тогда как надо было взять ее за воротник и повести туда, куда ему было указано. Поэт, улыбаясь, ответил, что по характеру своей профессии он лишен возможности обращаться с дамами подобным образом, ибо страшится гнева муз, которые тоже дамы. Комиссар нахмурился от этого «стиля рококо», но, вспомнив о том, что поэт С. человек беспартийный, вынужден был на его шутку ответить более или менее понимающей улыбкой. Улыбка вполне удалась, но комиссар ею не ограничился.

— Чего вы этим достигли? — продолжал он мучить поэта.— Если бы вы поступили с нею грубо, она сейчас сидела бы у себя дома перед камином и была бы вам очень благодарна. Уступив же ей, вы вернули ее на корабль, а с кораблем неизвестно что будет.

— Корней Корнеич! — неожиданно спросил поэт.— Скажите откровенно, что вы думаете о мадам Руссель?

Только поэты могут задавать такие наивные вопросы. Осторожный комиссар по своей привычке твердо уставился в брови собеседника и сказал недвижным голосом:

— Не больше того, что она собой представляет.

— Но имейте в виду одно,— заявил поэт, точно ему ответили совершенно определенно.— Имейте в виду, что когда я тонул, она плакала!

— И что же из этого?

— А то, что она не меньше того, что собой представляет.

Потом комиссар угощал поэта чаем, а поэт комиссара балладой. Несколько лет назад, еще студентом, С. принял участие в облаве на тигра, случайно забредшего в район города Никольск-Уссурийский. По его словам, это была не столько охота, сколько расстрел, потому что тигра обложила чуть ли не целая воинская часть. Но поэта потрясло самое зрелище тигра в тайге. И это передалось Королеву,— кто-кто, а уж он-то понимал это ощущение! Затем поэт прочитал свою балладу вслух. Голос у него был горячий, раскатистый, тигриный, читал он мастерски, зверя чувствовал печенкой,— короче, он заразил Королева тоской о тигре, к которому за годы своей работы в Сихотэ-Алине привязался так, как привязывается судебный следователь к обвиняемому, если дело сложное, захватывающее, длинное, а сам обвиняемый «хотя и виновен, но заслуживает снисхождения». Сюда же прибавилось и воспоминание о полемике с Зыкиным. Воспоминание это ныло в нем, как зуб. Ведь тигры в Сихотэ-Алинь все-таки вошли, но исчезла ли в связи с этим волчья стая, Королев так и не выяснил, потому что его тут же сняли под предлогом перевода в Главсевморпуть. Но, уже находясь в возбужденном состоянии, Королев услышал от поэта рассказ о том, как он тонул в полынье и какие переживания при этом зафиксировал.

— Слушайте, товарищ философ! — сказал в заключение поэт.— Надо что-то сделать с идеей личного бессмертия. Без этого жить скучно, а умирать еще скучнее.

Комиссар усмехнулся.

— Энгельс говорил, что идея личного бессмертия глупа.

— А что говорит Королев?

Королев сконфузился.

— Я как-то не задумывался над этой проблемой. Слишком уж она несерьезна.

— Но если не задумывались, как же вы знаете, что она несерьезна?

Комиссар крякнул, как медведь, сунувший было в огонь лапу.

— Если бы кто-нибудь смог,— продолжал поэт,— не по-церковному, а строго научно одарить человечество идеей личного бессмертия, он стал бы для мира величайшим благодетелем. Впрочем, зачем я вам это говорю? Вы ведь слишком умны для этого.

Он произнес это с таким нескрываемым превосходством, что комиссара покоробило.

— Слишком? Это что же, недостаток?

— Да, потому что мешает вам стать талантливым.

— Как вас понять?

— Очень просто. Ум есть хорошо развитое чувство реальности данного момента. Прекрасное качество. Но если оно становится чрезмерным, то начинает увлекаться деталями и впадает в близорукость, то есть мешает увидеть современность, претворенную в идеал.

— Иначе сказать, мешает видеть ирреальное? — усмехнулся комиссар.

— Нет, зачем же! Тоже реальность, но реальность возможного, а это уже талант. Талант — это ум, помноженный на воображение. Так в поэзии, так в политике, так, конечно, и в науке.

Потом он ушел, оставив Королева, как я уже говорил, взбудораженным. Разговоры с поэтом всегда возбуждали в комиссаре ощущение недовольства собой, какого-то беспокойства, что ли, точно случилось что-то неладное в его домовитом мировоззренческом хозяйстве. Королеву было ясно, что поэт не умел, да и не хотел мыслить научно, называя это «думать по ниточке». Поэтому он часто делал непростительные ошибки, но иногда у него бывали догадки такого простора, что Королеву казалось, будто от слов его пахнет морем. Вот и сейчас. Разделяя талант и ум, он, конечно, чего-то здесь напутал. И все же какое-то зерно истины в этом есть — недаром Лев Толстой и Максим Горький говорили, что очень умный человек противен. Но поэт сказал об этом применительно к идее личного бессмертия, а это уже глупость при любом воображении. М? Глупость, конечно... Но позвольте: разве не глупостью была мечта о «философском камне», который превращал бы в золото самые неблагородные металлы? А ведь сумели же люди в наши дни осуществить эту древнюю грезу и, найдя способ изменять атомное строение вещества, превратили же медь в золото? Не сам ли Энгельс о естественнонаучных истинах писал в своем труде «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии»:

> «То, что ныне признается истиной, имеет скрытую теперь ошибочную сторону, которая со временем выступит наружу; и совершенно так же то, что признано теперь заблуждением, имеет истинную сторону, в силу которой оно могло считаться прежде истиной».

Таким образом, противоположность истины и заблуждения — относительна. Но если так, почему же заблуждение о личном бессмертии должно рассматриваться нами как абсолютное заблуждение, а не относительное, то есть происходящее от ограниченности наших знаний? Не могут ли пролить свет на этот вопрос новейшие данные о сущности материи?

Королев заметался по каюте. Глаза его стали совершенно белыми. Чтобы протрезвиться, решил выпить. Подошел к шкафчику, соорудил «николашку». Говорят, будто Николай II пил коньяк с лимоном. Этот способ вошел в быт и стал ценным, хотя и единственным, вкладом всероссийского императора в мировую культуру. Опрокинув две рюмки, Королев постоял, точно вслушиваясь в себя, и медленно втянул третью. Он действительно очнулся. Взбудораженность улеглась, мысли пришли в ясность, но острый интерес к проблеме притупился. Напротив, в комиссаре возникло никогда раньше не испытанное поэтическое вдохновение. Мысли его были настолько грандиозны, настолько захватывали дух, что изложить их можно было только стихами. Королев схватил бумагу и карандаш.

Вошел политрук Сомов. Как всегда чистенький и аккуратный, Сомов спокойно сообщил комиссару, что, проходя мимо каюты Кохановского, он, Сомов, слышал, как стукнули опущенные жалюзи. Значит, студент был у себя. В этот момент к двери подошла американка и постучалась. Кохановский не ответил. Американка окликнула его. Студент, заметьте себе, молчал. Американка тоже слышала, как стукнули жалюзи, и понимала, конечно, что он дома. Студент не мог этого не знать и всетаки не отозвался.

— Ну и что же? — рассеянно спросил комиссар.

— Ничего,— ответил Сомов.— Поскольку многие считали, что самокритика Кохановского неискренняя, то я и думал, что, может быть, вам интересно.

— А! Да, да! Конечно, конечно! Так ты считаешь проблему «Болеслав — американка» абсолютно снятой?

Сомов не знал философского языка и на всякий случай осторожно ответил:

— Я человек маленький.

Королев взглянул на Сомова. Политрук — работник тихий, скромный и на редкость исполнительный. Он никогда не позволит себе сфантазировать. Таким образом, дело идет неплохо. Когда Королев увидел на собрании алую шубку Жанны, он, откровенно говоря, сначала очень испугался, но теперь ему ясно, что все вышло, пожалуй, даже хорошо: большие слова Болеслава тут же подверглись проверке. Как говорил один мудрец: «Золото испытывается огнем, женщина — золотом, мужчина — женщиной». Итак, комиссар может умыть руки. Болеслава удалось от Жанны оторвать. Однако долго переживать эту радость Королев сейчас просто не в состоянии — его ждали бумага и карандаш. Он очень благодарит Сомова — такой милый человек,— он жмет ему руку, он улыбается ему, он выпроваживает его. Наконец можно сесть за стол! Поэтическое не отпускало его ни на минуту, Жаль, конечно, что он не владеет стихом. Но рифма, размер — разве это главное? К тому же современные европейские поэты пишут без рифмы и без размера. Было бы что сказать!

«Энгельс называл
идею личного бессмертья
глупой.
Но люди моего столетья
убедились,
что ослепительные грезы древних
все чаще утверждаются наукой,
и глупость первобытного мечтанья
преображалась в мудрость.
Атомная догадка Демокрита
подтверждена Дальтоном,
«философский камень»
открыт,—
так почему отвергнуть
идею личного бессмертья?
Природа гениальна и бездарна,
она неистощима,
но порой,
как бы закономерною ошибкой,
способна повторяться.
Отчего же
не допустить,
что тот рецепт сложенья электронов,
который породил мое дыханье,
через десятки миллионов лет
ошибкою
не повторится снова?
Ведь что такое «я, Корней Корнеич»?
Ужели чудо,
единожды открытое природой
и навсегда утраченное?
Или
закономерность,
то есть повторимость
при том же самом отношенье чисел?
Бытие
не только время и пространство.
Это
движенье бесконечных вариаций

одних и тех же электрочастиц,
из коих
и состоит от века и навеки
все мировое естество.

Мучение материи приводит
к случайностям любых соотношений,
любого превращения количеств.
Один из этих случаев —
дыханье,
которое мы называем «я».
Кто утверждает, будто никогда
не повторится в мире
та структура,
из коей соткан — ну, хотя бы Петька,—
не представляет, что такое вечность.

А как ее представить?
Предположим,
в пустынной комнате стоит рояль,
и мыши скачут по клавиатуре.
Так вот: когда б они скакали вечно,
то из мильярдов комбинаций звуков
одна сложилась бы в этюд Шопена,
а через сотню миллионов лет
этюд бы повторился нота в ноту.

Вот мое ученье.
Оно недоказуемо, конечно,
но в то же время, люди, опровергнуть
его нельзя!
Пока еще оно совсем наивно,
какой была догадка Демокрита,
но знаю — рано или поздно
появится у этой грезы
и свой Дальтон.
Монах,
что утешает
у смертного одра любую душу
переселением в загробный мир,
и врач,
который ничего не обещает,
основываясь на распаде ткани,—
в конце концов невежды в равной мере:

один парит на сказке о Христе,
другой не подымается над трупом.
Мое ученье
не утешает и не угнетает.
Оно дает надежду,
вот и все.

Ты можешь отнестись к нему с усмешкой,
которая заслужена бесспорно,
ты можешь даже привести цитаты
и этим обнаружить перед всеми
величие учености твоей,
но в час, когда ты будешь умирать,—
монах ли над твоим одром склонится,
иль эскулап ухватится за пульс —
ты отстранишь их слабою рукою
и позовешь
меня...»

Королев поставил многоточие, перечитал написанное и подумал: «А и пьян же ты, братец!» Он взял рукопись за ушко, чиркнул спичкой и сжег ее над пепельницей дотла, после чего долго дул на пальцы, хотя нисколько не обжегся. Он спалил свою рукопись, ибо не знал, правильны или неправильны его домыслы, противоречат или не противоречат марксизму. Он сжег ее, чтобы не увлечься глубже идеей личного бессмертия и не сползти с той линии сознания, на которой находится в данную минуту и которая дает ему покой, ибо на сегодняшний день признается правильной. Энгельс назвал идею личного бессмертия глупой. Энгельс назвал. Том такой-то. Страница такая-то. Энгельс. Но Аристотель сказал когда-то, что у мухи три пары ног, и вслед за ним все мудрецы в продолжение двух столетий с ученым видом повторяли эту истину, а ведь чего проще — поймать муху! Да, но идея бессмертия не муха, а если Энгельс сказал, что идея эта глупа... Однако тот же Энгельс в своей работе «Людвиг Фейербах»...

«Сейчас не время заниматься этим вопросом!» — заявил себе комиссар, чтобы успокоиться.

И самое удивительное было то, что это его действительно успокоило.

ГЛАВА 9

Берингов пролив

Корабль, влитый в торос, дрейфовал,
Сосульчатый, пушной, беломедвежий.
Вмурован винт. Не повернется вал.
Зато на юге открывался Дежнев.
Слегка подернут сизой высотой,
Рябой от бурь, в прекрасном безобразье,
Угрюмый, грубый, бурый и седой,
Казак стоит на карауле Азии.
А на границе, где широкий бриз
Гоняет в небе тучки-недомерки,
В туманной сырости Уэльский Принц
Стоит на страже Северной Америки.

Природа бредит. Сил ее прилив
Подчас творит бездарного урода,
Но гениален Берингов пролив,
Аляскинско-Чукотские ворота.
Здесь вечно звона заполярный гам.
Здесь трутся льды. Здесь мира перекресток.
Два океана к двум материкам
Сплылись, дыханьем затуманя воздух.
Здесь, в этой точке, делится Земля
На Ost и West — два княжества удельных,
В самом пространстве время разделя
На воскресение и понедельник.
И человек на корабле у мыса,
Приняв пролив на ледокольный щит,
Себя впервые в жизни ощутит
Открывшим клад! Миллионером мысли!
Так серенький мечтатель-звездоплав,
Что прожил юность, собирая марки,
В студенческие годы прочитав
С товарищами эпос Карла Маркса,
Уже не в силах вытравить из глаз
Глубинный блеск созревшего мужчины
И с этих пор, как воин-водолаз,
Стремится в социальные пучины.

Меж тем туман надумал оползать,
Угрюмый, неприкаянный, бездомный,—

И в тот же миг из полыньи огромной
Неясность пробежала по глазам.
Что это было? Снежная пылинка,
Растаявшая в теплоте ресниц,
Иль воздуха предутренняя линька?
Но вот опять! Как это объяснить?
В промоине, где ветру полный нуль,
Где льды как заколдованные струги,
То здесь, то там попыхивали струйки
Как бы от разрывающихся пуль...

Киты!
        И снова сердце запялось
Тоской о первобытном обаянье.
Он шел под нами, траурный колосс,
И слышал, как играли на баяне.
А мы его не слышали. Стихало.
Светало. Мы не видели его.
Лишь опереньем пар над синевой
Увенчивал открытое дыха́ло.
И оттого, что тишина вокруг
Не выдавала шумного гиганта,
Его захлёб, его усы и гланды,
Его посапыванье или хрюк
(А он был здесь! Он лился, проносясь
То там, то тут по курсу парохода),
Мы глухо ощутили против нас
Величественный заговор природы.

И вот блеснул какой-то синий зверь,
Мелькнул спиной и, воду взбаламуча,
Ушел в глубины. В тот же миг, как туча,
Как материк, поверхности разверз
Второй, еще огромней. Прокатился
И, нагоняя, в глубину ушел...
Под снегом зыбь ударилась о кильсон,
И треснул паутинками пушок.
Мы потрясенно все переглянулись.
Никто не понял, что произошло.
Но вот, как прежде, взорванною пулей
Стрельнуло сизоватое тепло,
И снова вспыхнул серо-синий зверь,
Опять нырнул. И вновь, за ним охотясь,

Из-под снежин причудливых, как лотос,
Преследователь вылетает вверх.

Мы поняли — всплывала голова,
Затем ныряла, и волна косая
Успела спину отделить едва,
Которая нам чудищем казалась.
А кит работал, мощью обуян,
Безмолвной жизнерадостности полный,
И тут-то я до горизонта понял
Всю непомерность слова «океан».
Обшарьте звуков шумную орду —
Его не передаст ни гул, ни шелест.
Оно не умещается во рту,
Как будто глобус вкатывая в челюсть.
Возвышенней, чем «бор» или «поля»,
Оно одно уже звучит как ода,
И кто его поймет, как понял я,
Тому уже подругою природа.
Я до могилы с нею обручен!
В любой судьбе, пусть самой окаянной,
Отныне я навеки обречен
Глядеть на мир очами океана.

И мы глядим на водяную гладь.
Моря лежали в трудовом покое.
Какою бездной надо обладать,
Чтоб выкормить и выпянчить такое,
Какой глубинной тайной без границ,
Чтоб в эру зоопарков и музеев
Одно чудовище для ротозеев
На положенье мифа сохранить!
А кит метался делово и пылко!
И вдруг открылась грубого грубей
Свирепая китовая ухмылка
С затерянным глазенком на губе.
Пред новизной всего святого в мире,
Готового планету повернуть,
Он вынырнул с улыбищею — шире
Всей нашей памяти. И в этом суть!
Я увидал не просто облик зверий,
А лирику, приплывшую сквозь даль,
Какую-то интимную деталь
Мильонолетья допотопной эры;

И тут неукротимое сознанье,
Что это ведь не Брем, а наяву,
Что в полынье, где я сейчас живу,
Живет и это странное созданье,
Что мы с ним современники,— но он
Глядит из прамильонного былого,
А я гляжу из будущего — слово,
Перед которым тоже прамильон...
Все это вихрем в нервы, будто в снасти!
Дымилось и стреляло вкривь и вкось —
И вдруг, как в химии, оборвалось
И замерло в одном кристалле: «счастье»...

Однако Воронин счастливым не был:
Петух, на язык бы ему типун,
Нынче свистал — и вот уже небо
В ответ говорит, что на юге тайфун,
А это значит... Впрочем, не стоит.
Авось пройдет. Не накаркать бы зла.

А небо, вымытое и пустое,
Уже покрыла траурная мгла.
Дыханье океана в темноте
Из полыньи, из прорубей, из снежниц
Обильным паром, брезжущим в воде,
Окутывало холод, словно нежность.
И темнота потела и лилась,
Заумной краской наливая тени,
Их, как незрячий, впитывает глаз,
И нет им ни названий, ни сравнений...
Но если долго напрягаешь взгляд,
Почудится сквозь мреющие космы —
Глубины с безднами к тебе летят,
И, как звезда, ты осязаешь космос.

«Смелый». «Смелый». «Смелый».
Говорит «Грумант». Говорит «Грумант».
сильным течением юга отброшен
снова от Беринга норд
дрейф устойчиво тянет
в район полярного пака
безветрие сильно снижает надежду
разломом дремучего льда
в силу таких условий

прошу оказать помощь
зная о вашей долгой зимовке
также усталости экипажа
я посылаю тяжелым чувством
  эту радиограмму
но выхода нет — околка бесцельна
льдина моя окружении льдин
    жду ответа
    координаты
    70—161».

На западе туманная звезда,
Стрельнувши искрой, мягко прояснялась.
За ней другая. Вот погасла та
И запылала эта. Словно шалость.
Их ветер слил и к северу загнал.
И капля замигала, но не кротко,
А властно и призывно, как сигнал:
Четыре долгих и один короткий.
Налево брызнул пурпурный мазок,
Зеленое пятно поплыло книзу,
А семь огней, как зубы, по карнизу
Ощерились в таинственный смешок.
Он задрожал, полярный парадокс...
И тихо-тихо в небо воспарило
Из ясписа, рубина и берилла
Великое созвездье — Пароход!
А капля вызывала и звала,
Горячая на траурном морозе,
И, чуть картавя,— ей мешала мгла,—
Заговорила азбукою Морзе:
«Грумант». «Грумант». «Грумант».
Говорит «Смелый». Говорит «Смелый».
только сейчас оторвавшись от дрейфа
бью вашу льдину от норда на ост
  учитывая аварийность
  на успех не надеюсь
  ветер упорно гонит назад

    жду ответа
    координаты
    68—160».

«Смелый». «Смелый». «Смелый».
Говорит «Грумант». Говорит «Грумант».
льдина в которую я вмурован
размером с город Париж
если нельзя пробиться
прекратите попытки
принял решенье направить к вам
всю экспедицию часть экипажа

нужен ли уголь
также дрова
информируйте
координаты
69—162».

«Грумант». «Грумант». «Грумант».
Говорит «Смелый». Говорит «Смелый».
виду короткого дня
нужно идти без груза
встрече буду искренне рад
жду нетерпеньем
координаты
68—160».

«Грумант». «Грумант». «Грумант».
Говорит «Смелый». Говорит «Смелый».

жду нетерпением торопитесь
потеплело падает град
возможны разводья
координаты
68—160».

«Грумант». «Грумант». «Грумант».
Говорит «Смелый». Говорит «Смелый».

ваше молчание беспокоит
нужно ли выслать навстречу отряд
координаты
68—160».

Шуга — шапуга — шауш — шорох — шерех,
Как сизая, в звездинках борода,
Как Млечный Путь, мерцала у борта
И уходила за канадский берег

Спокойно, в ночь, туманною порою,
Без лоции, сквозь воду и сугроб
Нас проносило за море Барроу,
На север от Аляски, к мысу Хоп.
Так мы зашли из Дальнего Востока
На Дальний Запад. Дымчатый четверг
Попятился к среде. Уныло вверх
Всползало солнце с юга и жестоко
Осело через час. У фонаря
Крикливо гаги закружили в ссорах.
Подрагивала в холоде заря,
Хотя температура только сорок.

Нам выдали зачем-то шоколад.
Есть не хотелось. Но потом подумал,
Что все равно затонем: едким шумом
Вокруг все эти шауши шуршат,
И Арктики беломедвежья полость
Вся целиком теперь ползет на полюс.
Тогда я скушал плитку, как пшено.
Не слыша вкуса. Деловой и строгий.
(Вот прочитал бесхитростные строки,
И стало как-то грустно и смешно.)

Сегодня день рожденья моего,
А может быть, и больше: дата смерти?
И все же — хоть меня вполглаза смерьте —
Не стану чтить двойное торжество.
Сегодня дата моего рожденья,
И жажда жизни рвется на дыбы!
По фонарю промахивают тени
Еще не познанной моей судьбы...
Еще не время! Сослепу нашаря,
Я букли казуистики надел:
Ведь мы вошли в другое полушарье,
И, значит, нá день я помолодел,
И, значит, погребенье завтра, завтра!
Не все прошло сквозь невод моих жил,
Еще мой глаз от удивленья задран,
Еще я многого не довершил!
Я хочу
        добиться
                от виршей
                        бессмертья,

Чтобы принять свой смертный час,
Точно хозяин гостя.

«Смелый». «Смелый». «Смелый».
Говорит «Грумант». Говорит «Грумант».

виду короткого дня
также наличия женщин
по льду идти не рискую
вашу операцию считаю законченной
благодарю
счастливый путь
если погибнем последним вздохом
будет слово Москва
кланяйтесь близким
координаты
68—152».

ГЛАВА 10

Гибель «Острова Груманта»

Тринадцатого февраля корабль
Еще был жив. Заснежен добела́,
Он осыпался дребезгами капель,
С него ползли слепые зеркала;
Под полюсом склонясь немного вкось,
В своем девятигранном силуэте,
Он высился меж торосов и стось
Обледенелым призраком столетий:
Мерцающий отливами луды,
Он был таким же, как другие льды.

Вокруг безмолвие. Но в полумиле
Из белых глыб рождался горный вал.
Сквозь курево за пеною и в мыле
Змеился гребень, падал и вставал,
И вновь нырял, то образуя кратер
И снежный верх заваливая в падь
Под грохот и туманы, то опять

Дымящаяся сталь неровных ядер
Вползала ввысь — и, неприкаян, дик,
Вздымался снова одичалый пик.

Но тишина спускается над пиком.
Ледовый вал, все глыбины собрав,
Как сам Эльбрус, недвижен, величав,
Задумался в безмолвии великом,
Блестя своей вершиною седой
Под самою Полярною звездой.
Однако думы гордые его
Не обещали кораблю отрады.
Но экипаж бодрился: «Ничего!»
Уж мы давно разбились на отряды,
И *«Остров Грумант»*
вглядывался в тьму,
Тревожный, но готовый ко всему.

В три пополудни колокол на баке
Ударил на обед. И в тот же миг,
Сигнал почуя в медном этом знаке,
Раздался плач тюленей-горемык,
И, вьюжное свое взметнувши знамя,
Эльбрус качнулся. Грянувши камнями,
Он каменной метелью сквозь снега
Продвинулся вперед на два шага.
И вдруг решил. И вдруг раздумал стлаться.
То в пух одет, а то прозрачно-гол,
По торосам на мертвый ледокол
Рванулся айсберг ледяного сланца.
Он излучал зеленоватый свет,
Но белое в его штандарте иго!
Сквозь вьюгу вырастает силуэт,
Приобретая очертанья брига.
Военной дробью рассыпáлся град —
И вот огни на «Груманте» горят.

Сначала с пика ветер набежал,
С вершин снялись белеющие стаи,
Борта коснулся ледяной кинжал
Из полированно-полярной стали —
И, содрогая ледокол до дна,
По черным броням промахнула гонкой
Большая музыкальная волна

От колокола гаммою до гонга.
На первый раз гора отражена:
Под белым «языком» железо, вспучась,
Бежало рябью вверх. Но все же участь
Была, конечно, явно решена.
Уже слетают гвозди и заклепки,
Трещат по швам железные листы...
Еще напор — и вот из темноты
От носового трюма и до топки,
Золой и шлаком льдины пепеля,
Под вьюгу, налетающую рьяно,
Разверзлись электрическою раной
Уют и внутренности корабля.
И сразу обнажился в ребрах остов,
И стал водой пропитываться грунт...
Прощай навеки, наш любимый
«Остров Грумант»!
Но люди тверды. Люди стоят.
Для них этот бой — раскрытая книга.
Хоть страшный удар ледяного брига
Поддержан набегом ледовых стад,
Хоть север хлестнул сиверком вперекат,
Раздувши лебяжий веер,
Люди
в составе
шести
бригад
Наладили конвейер:
— Два! Раз! Два! Раз! —
Драга. Колбы. Реторты. Баллоны.
Карты да лоция про запас.
Обмороженные лимоны.
Снова колбы. Снова баллоны.
Сало. Мука. Сало. Мука.
Сорок четыре спальных мешка.

Кто такой Сомов? Так. Человечек.
Вспомни любого — и он таков.
Не из красавцев широкоплечих,
Не из лобастых мудрецов.
И вдруг в ответственный, грозный час,
Когда в сражение вышел полюс:
— Два! Раз! Два! Раз! —
Несется его повелительный голос,

И каждый, не зная сам почему,
Ревностно подчинялся ему.
В этом особенность русской нации:
Тих да глух у иного шаг,
Но буря ему помогает размяться,
И каждому ясно — вот он, вожак!
Звучит над нами железный ритм:
— Два. Раз. Два. Раз.—
А судно склоняется книзу бушпритом,
И вдруг запел его сиплый бас!
В жаркой копоти, в пепле и пемзе,
Словно рыданием горло свело,—
Черного лебедя смертной песни
Выдохнуло его жерло́...
И вспомнился давний его салют
При первой встрече со льдами в небе,
Когда, понимая, *куда* его шлют,
Он шел во всем своем великолепье.
И тут мы почуяли каждою жилкой:
Ведь это же тонет гнездовье, дом...
Но Сомов кричит пронзительно-пылко:
— Вниманье, товарищи! Плакать потом! —
И с новым счетом
из рук
в руки
Пошли было снова тюки́ да вьюки,
Но с мостика тихо сказал капитан:
— Все на лед! Разгрузку отставить.—
Так. Доска легла через заводь,
И только работал подъемный кран.

Хоть глыбами льда наполнены трюмы,
Он опускал палатки да чумы,
Хлам, деревянный, древесный брак —
Авось и удастся построить барак...
Но где чемоданы с наклейкой «Alaska»?
Сойдя на льдину, в девичий круг,
Дама с надеждой, но и с опаской
Глядит на цепной витающий крюк:
Под скрежет его, до истерики ржавый,
То бочка меду, то ящик галет.
Но где ж чемоданы? Найти Болеслава...
Послать бы его... Но студента нет.

Вот захлебнулся нижний ярус.
— Все на лед! — Корма задралась.
Но уж теперь загорается ярость,
Гремит над севером черный бас,
Точно корабль за яростным дымом
Грозно клянется грядущим днем!
(Вот так же когда-то и мы под Крымом
Гибли с кличем: «Опять придем!»)
— Все на лед! — призывает рупор.
Айсберг
эхом
зовет
на лед.
Тогда совершает нестройная группа
По кораблю прощальный полет.

Жалейкин искал на полочке письма:
Авось и удастся вручить жене...
Он хлюпал по лужам средь мышьего писка,
Слушая сутолоку в вышине.
И вдруг подсохло! Круги́ да канатцы
Посыпались на пол из кладовой,
А угол
тихо
стал
наполняться
Черною и косою водой.

Корнеич шагает в кают-компанию.
Здесь был вуз. Но его не узнать!
Средний стол, опрокинувшись в панике,
Стал почему-то похож на кровать.
Милая комната напоминала
Мать, сошедшую с ума.
Сияли зажженные люстры зала,
Где в зеркалах проскользала зима.

Черный рояль, занесенный снегом,
Щерился, траурен и зловещ.
Как спасти его? Нечем и некем.
Жаль. Такая богатая вещь!
Он тихо тронул какой-то клавиш —
Рояль отозвался ему, как живой...
— Что, брат? Плохо? М-да... Не поправишь...

(— Айда! — кричит Петро Гаевой.)
Он снова погладил крыло воронье,
Его провожая в последний полет.
Но вот перед ним капитан Воронин:
— Приказываю, комиссар, на лед!

Олеся несется к своей кроватке.
И вдруг — Королев! И вдруг — вода!
И вдруг — обнялись, горячо, как в схватке,
Точно затем и бежали сюда!
Она зарыдала, стараясь укрыться,
Уйти в его плечи, в руки его...
Мимо плыла утонувшая крыса,
Сбоку трещал барабан боевой,
С севера несся торжественный гул...
Но их глаза сияли от счастья,
Точно корабль затем и тонул,
Чтоб им
          сейчас
                    повстречаться.
Но тут же, в догмах своих коренея,
Сиянье пытаясь дымкой одеть:
— Ляля! — мягко сказал Корнеич...
(Так называл Олисаву отец.)

Взрыв! Погружается третий ярус.
Еще тяжелей орудийный бой.
Пиратского судна огромный парус
Вырос под скошенною трубой.
С точек снята последняя вахта.
Кричит политрук: — На льдину! За мной! —
И только в рубке, наполненной ватой,
Вайсберг выстукивает позывной:

«Говорит «Грумант». Говорит «Грумант»,
    иду ко дну
    раздавленный льдами
аварийный запас отгружен на лед
    надеемся балки и бревна
    всплывут часов через десять
      люди здоровы
      скажите Москве
      что Арктика будет нашей
      сейчас выключаю свет

тринадцать два пятнадцать тридцать
координат нет».

И тут же, вызвав радиобригаду,
Руками в цифрах посинелых жил
Приборы в вату нежно уложил
И перебрался через баррикаду.
За ним, покинув обреченный мир,
Следя за тем, чтобы не торопиться,
Последними спустились командир
И командор полярной экспедиции.
Воронин всюду и всегда Воронин —
Он деловито поглядел на брони,
Как будто можно чем-нибудь помочь!
Но Басаргин, обняв за плечи дочь,
Качает головой, как на погосте,
И кашляет... (А это душит скорбь.)
Тогда, неся романтику, как горб,
К Андрон Иванычу подходит Костя.
— Профессор!
На этом на полустанке
От гибели, видимо, нам не уйти.
Пусть! Мы умрем! Но наши останки,
Дрейфуя, укажут науке пути.

Но Петька его перебил словами,
В которых героики ни следа:
— В следующий раз
я опять пойду с вами.
Да?

Корабль догорал. Скулой ударясь,
Он книзу шел по стрелке часовой.
Свеча в окне, дрожа за венчик свой,
Глядит в пучину. Капитанский ярус
Готовится принять волну. Труба
Под двадцать пятым градусом склоненья.
На серой льдине черная толпа
Стоит в безмолвии оцепененья.
И вдруг, когда, казалось, пароход
Сейчас нырнет под ледолом и доски,
На юте,
там,
где вырублен проход,

Туманно возникает Кохановский.
— Болесь!
— Прыгай сюда!
— На след!
— Лестница где?
— Скорее!
—Вот глупый...
— Ребята, ребята, подложь тулупы! —
Но неподвижен его силуэт.
Уйдя в воротник, приподнявши плечи,
Руки засунувши в рукава,
Улыбкой тихой и сумасшедшей
Он отвечал на эти слова.
Он был от всего уже отрешен.
Быть может, он думал, что мы — его сон?
И все приумолкли. Его решенье
Ясно из самой позы его.
В этой секунде кораблекрушенья
Сделать нельзя уже ничего.
Он это знает. Дыхание ровно.
Он ждет. И льдины чего-то ждут.
Стоит человек, ни в чем не виновный,
А жить человеку — пять минут.

И хлопнул вымпел на тонкой цепочке,
С трезвоном тупым нефтяные бочки
Вдруг покатились к пучине седой,
Рояль, как мельница кувыркаясь,
Плюхнулся с бака в шапугу, в хаос
И, грянувши арфой, исчез под водой...
И тут-то, корму занеся под зенит,
Словно бы это так и задумано,
«Остров Грумант» на дно скользит
Уверенно и бесшумно.

Священное молчанье на морях.
В сугробинах залег мохнатый ветер.
Сменив собою блекло-серый вечер,
Над полем битвы налпвался мрак.
Нигде ни звука. Черная пора
Не пропушит и снеговою пылью —
Недаром из тумана проступили
Четыре нежно-голубых пера.
Сквозные, точно пальцы привиденья,

Повиснув надо льдом, который сиз,
Они как бы указывают вниз
И указуют волю провиденья.
Вот верхний край ресничками оброс.
Вот пальцы на глазах порозовели
И стали как бы арками из роз
С шипами нежной зелени на теле.
И вдруг шипы взошли, как острия,
Как трубы золотистого органа,
Пока лилась, кипела и моргала
Внизу сталелитейная струя.
Стоцветное негреющее пламя
Переливалось над огнистым льдом.
Здесь Арктика отъявленно и прямо
Вещала человечеству о том,
Что никому она не покорится,
Что полюса к району не свести,
Что белый бриг ее — «Полярный рыцарь» —
Всегда на страже северной звезды.
И реял стяг над дикостью пейзажа,
Над летаргией вздыбленных зыбей,
Пока летала траурная сажа,
Черня сугробы горечью своей.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА 1

Лагерь во льдах

14/II 1934

Если б во льдах очутился один,
Он бы сошел с ума. Если б двое,
Они поседели б от мрака и воя
В диком безлюдье полярных льдин.
Но сто человек на плавучей льдине —
Это республика! Это народ!
Здесь флаг единый. Здесь труд единый.
Здесь каждое сердце отчизну найдет.

Там, где погиб ледокол,— яма.
В дыхании пара торчит из нее
То дном, то крышей, то косо, то прямо
Со дна вылезающее былье.
Сосна норовит сквозь доски пробиться,
Бочка всплывает за ней впопыхах.
А над могилой стынет убийца.
Огромный.
　　　　　Белый.
　　　　　　　　　В мехах.
И все-таки трагический пейзаж
Уже смягчен рукою человека:
По-прежнему багряный вымпел наш
Восставлен историческою вехой.
Вздымается бревенчатый барак —
Он от воды и холода набряк,
Его оконца несколько угрюмы
В зеленой мгле бутыльного стекла,
Но от него пошли деревней чумы,

С которых копоть мокрая текла,
Но он дымится пригорелой кашей,
Но в нем столярничают и куют,
Но он звенит Наташей и Любашей
И даже претендует на уют.

Вот с хриплым визгом двери отворились,
Седой угар ползком оттуда вылез,
Потом расправил уши да хребет
И, вскинув хобот, потянулся к яме.
За ним Олеся повезла обед,
В оленьей парке путаясь ногами,
И чудится — олень и поволок
В санях бригаде Сомова паек.

Бригада
        Сомова,
                номер один,
С гиком и криком тащила из ямы
Брусья, пробсы, оконные рамы,
Бревна, доски, связки тесин...
А пар из промоины, словно из бани.

Какое в простом труде обаянье!
Недаром, когда этот горестный труд
Вскинул дыхание целой артели,
Здесь уже люди не только пыхтели —
Песня вприпрыжку порхала тут.

Стоя часами без всякого дела,
Молча в сторонке Жанна глядела...
Вон Степанида несет ведро,
В радиорубку протопал Вайсберг,
Тит «помечтать» уходит за айсберг,
И Петька орет, подмигнув хитро:
— Ох же ж и дедушка! Во человек!
Шагает в сугробах
                белых, как снег!

Молча в сторонке дама глядела.
Но дамочку не замечали на льду,
Та́к вот, попросту, не замечали,
Знай получай по раскладке еду
И пребывай в своей черной печали.

(Видно, все светлое сгинуло в ней
После пропажи любимых вещей.)

Над Арктикой уже спустилась полночь.
Меж торосов шагает комиссар,
Уж не тоской ли думая заполнить
Пустую тьму? Как он, бедняга, стар!
Седую бороду заносит вправо
Прозрачными туманностями звезд.
Остановился. Перед ним кроваво
Над хаосом пылает лисий хвост.

Как разрешить Басаргину вопрос —
Идти на берег или оставаться?
Сам Басаргин на это не ответит:
Его как бы ушибло,
Он как будто стал глуховат.
Что спрашивать с него?
Все дело в комиссаре — Королев
Отныне вождь вот этого народа.
Ну?!
Что же ты?
Решай!
Решай скорей:
Идти на берег или оставаться?

За дальней далью появился луч.
Он был, как спица, тонок и колюч
И чудился самой земною осью,
Что вылезла из полюса в зенит.
От этой спицы небеса знобит...
Цветному чуждые многоголосью
И все-таки предчувствуя его,
Не лили звезды света своего.
И вдруг цветное побежало к нам!
Безвкусистое по своим тонам,
Базарно сшитое, хоть ярко ново,
Трехцветное, как грубая панева,
Каких не носят больше на Руси,
Тряпье висело на земной оси.
Оно трепалось ярмарочной лентой,
Срывалось, обнажая лезвие.
Сиянье больше не было легендой,
Отныне это быт, житье-бытье.

Мы путь-дорогу к дому потеряли.
Придется на задворках мира жить,
Где новую паневу постирали
И вывесили, чтобы просушить.

Так, значит, оставаться?
Сесть на льдине?
Разбить на ней невероятный лагерь
И ждать?
Над ним, пожалуй, посмеются...
Действительно: сидеть и дожидаться —
Геройство небольшое.
А студент?
Его взъерошенная голова,
Которая на миг в ледовой яме —
И тут же сгинула.
Идти на берег?
Взмочаленная голова студента,
Приподнятые в удивленье брови
Перед виденьем смерти...
А?
На берег?
Походным маршем, чтобы оставлять
В сугробах женщин или стариков
С такими ж удивленными бровями?
Нет. Это уж... Нет, нет!
И он решил,
Что Басаргин останется на льдине!

Но тут возникают другие вопросы.
Как отнесутся к решенью матросы?
Восемь месяцев без земли,
Вдали от жен, матерей, детишек.
Все они сделали, что могли,
Только одним возвращеньем и дышат,
А им предлагают этот амбар.
Домой!
Попробуй теперь вразумить их...
Домой, домой!
И все ж комиссар
Созывает летучий митинг.
Минуту вниманья, товарищ читатель!
Я мог бы ничем не задерживать вас,
А взять стенограмму и честно, как дятел,

Выстукивать свой правдивый рассказ.
Но тут мы вступаем в сложное поле
Действий почти исторической Воли:
Великий закон открывается тут,
А потому, не поддавшись лени,
Позволю музе на пять минут
Философическое отступленье.

Фрейбургская школа идеалистов —
В частности, Риккерт и Вебер —
Считает, что как бы ни был неистов
Какой-нибудь лось или вепрь,
Но он от грома уносится вскачь,
Как всякий кабан и всякий рогач.
Стало быть, в особи вся порода.
Их не разъять. Такова природа.
Но в людях такой нормативности нет,
Как в лосях, вепрях и тиграх.
Держит себя какой-нибудь Игрек
Совсем не так, как брат его Зет.
Что ни характер — особая масть,
    И сколько факты ни мучай,
Не установишь законов для масс:
    Все их деяния — случай.

Но разве случай необъясним?
Уж не господь ли стоит за ним?
Но если так, то, значит, наука
Не смеет сказать о людях ни звука:
Не человечество отозвалось
В любом человечьем крике?

Увы, но так решают вопрос
Мыслители Вебер и Риккерт.

Напротив, статистикой обуян,
    Кетле́ объявляет народам,
«Что «средняя личность» — l'homme moyen —
    Действует, как по нотам.
А «средние личности» — весь их чин —
    Равны друг другу и в бреднях;
Народ же простое сложение средних
    (L'homme moyen) величин.

Значит, предвиденье — это подсчет!
    Лишь приложи старанье —
И можно всегда угадать заране,
    Куда людей повлечет.

Так, разложив цифирь на столе,
Нас изучает мосье Кетле.

Но голая цифра — не точный метод.
Есть в душе человеческой штрих:
Иван, похожий на́ сто других,
    Все же по Гегелю — «этот»!
Да, обыденный, стообразный,
    Как вы, как я, как и все,
Он все же особенный, очень «разный»,
Именно «этот Иван», мосье.
Тут что ни характер — целый роман
Для зорких писателей-великанов.
Но изменяется ль «этот Иван»
В кругу таких же «этих Иванов»?
Чутьем поэта в громах и в тиши,
        Трудностями не смутясь,
Следил я
        за тайной
                течения души
В духовных
        пучинах
                масс.
Научных выводов у меня нет,
        Я сердцем с ними знаком,
И все же глубины народных недр
        Мне подсказали закон:
Иван Иванович Ивано́в,
        «Средней души» человек,
В массе становится точно таков,
        Как ею творимый век.

Сперва комиссар изложил свое мненье.
Корабль молчит. Глухонемой.
Тогда комиссар предлагает решенье.
Корабль молчит. Он хочет домой.
Но вот подымается бывший ворюга
Менашка, прозванный «Одиссей».
Он хочет сказать: «Слухайте друга!

Черта ль нам кормить карасей?
Разве написано мне на роду
Жизнью свою поломать,
Когда я свое отсидел на льду,
А дома имеется мать?»

Так приблизительно думали все.
Им опротивел снег.
Так и хотел сказать Одиссей,
«Средней души» человек.
Кажется, я выражаюсь ясно?
Тут уж метафорам крест!
Выходит. Парень. Чтоб. Громогласно
Выразить протест.

Но вместо этого сей парниша,
Сей, как сказано, Одиссей.
— Коля! — кричит он.— Колечка! Миша!
Чтоб я так жил — не пойму друзей...
Насчет «домой» — закройте калитки!
Какой дурачина с матросиков думал,
Что су́дно пройдет себе, как на открытке
С видом «Привет из Батума»?
Шли мы на полюс. Чего ж теперь ахать?
Конечно, тут за углом Канада,
Конечно, льдина — это не сахар,
Но раз это надо — надо!

Он сходит, не веря своим словам,
Ровно ничего не понимая:
«Выходит, что я подпевал соловьям?
Говорил, как Первого мая?»

В этот такой волнующий миг
Вопроса жизни и смерти
Не мог Менашка сказать напрямик
О том, что лежало на сердце.
Что это было? Страх? Лесть?
Надо проверить снова...
Перед народом
он мог
произнесть
Лишь благородное слово.

Тогда, передернув крестину плеч,
Слово берет Коля.
— Товарищи! Эта, товарищи, речь —
Оскорбление, товарищи, не боле!
Я ж сам поня́л. Накажи меня бог!
Я ж сам рабочий, работал при домне!
Неужли же скажут, шо Коля темный,
Как в два часа ночи сапог?

Толпа сочувственно загудела,
И Век —
это было в два часа —
Ответил на разные голоса:
— Всё!
— Остаемся!
— Чём дело?

ГЛАВА 2

Думы комиссара

Королев видел сон. Будто сидит он ночью на дереве в засаде, а внизу, под ним, вороные лоси лижут белую соль. Он смотрел, как движутся среди ветвей их рога, сами похожие на ветви, как проходят эти рога по льдистой поверхности месяца и снова обрываются во мрак.

Проснулся Королев с гнетущей тяжестью — его болезненно потянуло на старую работу. В самом деле, насколько легче заниматься зверем, чем человеком! Неожиданно просто вышло с Басаргиным: Басаргин впал в апатию, и это пока было очень на руку Королеву — командор ему не мешал. Но мучило комиссара дело Жанны Руссель. Он по-прежнему был уверен в том, что держится правильной линии. Дело представлялось ему так: соответствующий отдел военного министерства США следил за движением *«Острова Груманта»*, чтобы подбросить на корабль своего агента. Если бы ледокол шел как положено, он встретил бы Жанну на скалах острова Киров или острова Медвежий. Но когда он резко свернул на север, где островов нет, Жанну решили посадить на льдину по курсу «Груманта», с таким расчетом, чтобы он обязательно наткнулся на останки ее самолета. А тут случайно оказалась земля, не нанесенная на карту. К этой-то земле и двигался корабль. На эту-то землю Жанну и посадили. Итак, все ясно. Неясно только, каким манером все это было проделано. Однако вопрос сейчас не в этом. Но странная все-таки женщина эта дама. Вчера, проходя мимо укладки бревен в штабеля, Корнеич увидел американку и спросил, зачем она тут стоит. Американка не ответила и пошла прочь. Корнеич догнал ее и проворчал: «Я вас не прогоняю. Смотрите, если интересно. В конце концов можете передать *там* все, что видите, нам прятать нечего». Он ожидал, что дама вздернет подбородок и так далее, но Жанна неожиданно произнесла с непередаваемой грустью: «Какие вы все счастливые: у вас есть родина!» — «Но ведь родина есть и у вас!» — ответил Корнеич. Но Жанна только печально улыбнулась.

Странно! И вообще — все люди странные, если к ним присмотреться. Тут стандарта нет. Правда, существуют типы, но это очень условное обобщение: оно правильно, пока глядишь на людей под углом зрения больших чисел, но стоит выбрать из типического любую единицу... А ведь работать надо с единицей. Ну вот, например, Кохановский. Бывший беспризорник, ставший студентом. Тип? Безусловно. Но что же в таком случае повлекло его к искусственной красивости Жанны Руссель, когда перед ним расцветала естественная красота Олисавы? Откуда эта... эта испорченность, что ли? Ответить на это Королев не мог. Возможно, что это его непонимание и сгубило Кохановского. Когда политрук Сомов сообщил ему, что студент не ответил на оклик американки, Королев принял это как что-то очень благоприятное. Но какой же он, к дьяволу, комиссар, если так примитивно думает о людях? Допустим, что вопрос о Жанне был для Болеслава внутренне решен. Но если так, почему же он побоялся открыть ей дверь? Вот что не пришло в голову товарищу комиссару! А ведь это черточка, которая подчеркивала самое существенное в душевном состоянии Кохановского. Да, Королеву теперь ясна его ошибка: сначала он переусложнил психологию студента, введя в действие целую цепь соображений, связанных с этой дурацкой колонией сифонофор, но затем впал в другую крайность и недооценил сложности его психологии. Из-за этой недооценки погиб очень дельный парень.

Но позвольте: в свое время он, Королев, действительно резко вмешался в отношения студента с американкой, но ведь никто не принуждал Болеслава раскрывать свою душу перед экипажем! Корабль отрекся от Кохановского. Это его потрясло. Но это же заставило его заново и с пронзительной остротой почувствовать свою связь с обществом. Прийти к народу и открыться ему было не просто осознанной Болеславом обязанностью, но жгучей потребностью Болеслава. В пламени этого чувства должен был сгореть для него и самый образ этой дамы. Так почему же студент ее испугался? Ведь он победил! И тут комиссар впервые попытался подойти к внутреннему миру студента не с деловой стороны, а с лирической. Королев стал думать о любви.

Я уже говорил — для Королева процесс мышления был огромным наслаждением, но в то же время он внушал ему страх. Покуда Корнеич двигался в областях, освоенных марксизмом, в нем жила могучая уверенность в том, что он разрешит любую проблему. Мир философии, экономики, политики, физики, биологии казался ему как бы глобусом, на котором в самых разных широтах отмечались флажками несокрушимые твердыни партии. С высоты такой цитадели, как Марксов «Капитал», Королев мог издеваться над Джевонсом, объяснившим кризисы капитализма... пятнами на солнце, опрокидывать теорию предельной полезности Бем-Баверка, самодовлеющий индустриализм Туган-Барановского — и все это с такой убежденностью, как если бы он сам открыл закон прибавочной стоимости. Из бойниц ленинской крепости «Материализм и эмпириокритицизм» он поражал без промаха не только махистов, но и всю новую американскую философию, всех этих Пирсов, Джеймсов, Дьюи, Шмидтов, хотя сам Владимир Ильич не обмолвился о них ни словом. Но, когда Королеву приходилось вступать в пустыню, обозначенную белым пятном, он терял веру в себя, вспоминал, что он всего-навсего грузчик пушного склада, и не столько мыслил, сколько испуганно следил за тем, чтобы не впасть, с одной стороны, в догматику, с другой — в релятивизм.

С темой любви дело обстояло именно так.

О любви думать страшно, потому что величайшие поэты мира подняли ее на такую высоту и так при этом запутали философскую ее сторону, что малейшая попытка спустить ее на землю воспринимается обществом как пошлость. Между тем классики марксизма не коснулись внутренней природы любви. В полемике с Фейербахом Энгельс обошел любовь, заменив ее темой счастья. Это, однако, не одно и то же. Нет большего несчастья, чем неразделенная любовь, но кто откажется от нее? Правда, можно сказать, будто это несчастье и есть счастье, но, по совести, это уже софизм, а не диалектика. В ряду тайн, которых человеку не дано постичь, Екклезиаст отметил тайну пути мужчины к женщине. У нас в народе об этом говорят так: «Полюбится ворона пуще ясна сокола». Но неужели же нет ключа к раскрытию природы этого чувства? Пока, очевидно, нет. Если б нам была ясна эта природа, мы могли бы влиять на нее. А можно ли заставить кого бы то ни было полюбить не эту, а вон ту?

Так что же такое любовь? Она, конечно, не голая страсть, ибо животные ее не знают: любовь открыта только человеку. Однако — совсем по-ученически спохватился комиссар — логика учит, что определение не должно быть отрицательным.

Так что же такое любовь? Королев начал скликать факты, как Буденный конников. Геродот утверждает, что агафирсы — соседи скифов — со всеми женами живут сообща, у масагетов женщины «общее достояние», аусейцы Ливии общаются со своими супругами все вместе и не имеют собственных жен. Уже в наше время — Королев это знал из собственного опыта — береговые чукчи до самой революции обменивались женами, совершенно не думая о согласии своих подруг. Значит, первобытные племена, жившие родовым бытом, любви не знали: ведь любовь — это такой накал чувств, когда одна, именно *эта* женщина кажется прекрасней всех остальных, единственной, воплощающей в себе все женственное, когда персты ее, уста ее, очи ее представляются явлением небывалым, тогда как пальцы, губы, глаза других не кажутся ничем. Шопенгауэр называл эту аберрацию «ловушкой природы». Но в этой «ловушке» повинна скорее история. Нубийский воин у себя в Африке разделял ложе страсти со всеми женщинами своей деревни. Знал ли он, что такое любовь? Но вот его взяли в плен. Если бы в плен взяли готтентоты, он был бы тут же съеден. Но земледельческий Рим стоял по своей культуре выше охотничьей общины готтентотов. Риму нужны были рабочие руки, чтобы обрабатывать землю и ее плоды. И Рим отказался жевать нубийца — он превратил его в раба. И вот нубиец пляшет в каменной цистерне, выжимая из винограда алый и золотистый сок. Он пляшет, радуясь своей молодости и силе и весело подмигивая рабыням из Армении, Сидона, Иудеи, Финикии: ночью он будет переползать из шатра в шатер, так и не подозревая об Одной, Единственной. Но однажды по голубоватым плитам двора прозвенели красные сандалии белокурой римлянки. Нубиец оскалил зубы и весело подмигнул дочери хозяина. За это он получил пятьдесят плетей. На следующий день он снова подмигнул ей, но уже грозно. За это получил он сто. Когда дело дошло до пятисот, нубиец смирился. Он перестал подмигивать, но с этой поры затосковал, похудел, ослаб. Изо всех прекрасных и доступных девушек одна, далеко не самая лучшая, оказалась недоступной, и это пронзило нубийца: гнет неволи утолялся до сих пор свободой в страсти, но тут недосягаемость римлянки, объясняемая только ее положением хозяйской дочери, стала уже невыносимой. Нубиец думал, будто в нем ревет страсть, а это вопила боль о неравенстве, и мечта о римлянке была, в сущности, жаждой победить эту боль. Нубиец совершенно выбился из ярма. Он часто задумывался и топтал виноград без всякого увлечения. Тогда его прогнали в термы банщиком, но руки его тряслись, к тому же он пел заунывные песни о красных сандалиях и тихо плакал, а басы в гулком пару невыносимы. Он никуда не годился, и его спустили готтентотам на мясо. Так родилась любовь. Ее изобрел раб. Но это сделало раба поэтом: он стал создавать в сердце своем легенду об Единственной, он стал лепить из обычного облика небывалый образ. С тех пор все влюбленные чувствуют себя рабами и поэтами! Может быть, это осталось как смутная память о происхождении любви.

Любовь вошла в природу человека золотою жилой, она засверкала в нем среди отвалов, мусора и грязи. В эпоху крестовых походов под начальством Вильгельма следовало три тысячи продажных женщин. Готфрид Бульонский имел в своей свите две тысячи проституток, у герцога Альбы во время его нашествия на Нидерланды тысяча двести шлюх делились на отряды и стояли в строю под своим знаменем. Какое предельное унижение для женщины! И в то же время именно эта эпоха стала эпохой рыцарской любви. Рыцарь открыл в женщине Даму. Но, конечно, речь шла не о девушке из отряда Альбы. Кто воспоет красотку, если для обладания ею достаточно позвенеть дукатом? Все баллады, канцоны и сонеты посвящены недосягаемой, той, о которой можно только мечтать. Итак, любовь — это страсть, ударившаяся о препятствие. Рожденная с разделением общества на классы, она с годами усложнилась, утончилась и стала казаться самородком, но это неверно: сущность ее осталась неизменной. Лейла и Меджнун, Ромео и Джулия, Демон и Тамара — самые потрясающие образы любви связаны с преградами, вызваны ими, порождены. Поэзия женщины в ее недоступности.

Королев содрогнулся от этих выводов. Неужели же он, комиссар, стал тем препятствием, о которое ударилась страсть Кохановского? Не наложи он запрета на едва-едва раскуривавшееся чувство к Жанне, оно заглохло бы само собой. Серьезный, одаренный советский юноша не мог же по-настоящему увлечься такой чуждой ему во всех смыслах дамочкой. Он, он, комиссар, сделал буржуазную американку недосягаемой для советского студента и превратил ее тем самым в Прекрасную Даму! И после всего этого он еще посмел наложить на мальчишку такую тяжелую кару, как остракизм!

В палатку вошел празднично улыбающийся Даня Вайсберг и, протянув Корнеичу радиограмму, сказал, стараясь быть сдержанным:

— Счастливый я человек! Первый приношу людям радостные вести!

— Москва? — отрывисто спросил комиссар.

— Москва.

— Кремль?

Королев отодрал заледеневшую бороду от волчьего мешка, в котором спал, вылез наружу, влез ногами в меховые унты и, не надевая кухлянки, как был в рубахе сурового полотна, схватил радиограмму и принялся громко читать. Каждое слово вылетало изо рта его дымом:

«Лагерь профессора Басаргина
шлем героям горячий привет
напряженно следим за борьбой со стихией
    будьте стойкими
    приняты меры...»

Здесь комиссар стиснул зубы, крепко потянул воздух ноздрями, чтобы не всхлипнуть, и продолжал читать про себя:

«Верим: в историю битвы за Арктику
впишет свою боевую страницу
    славное ваше перо
четырнадцать два пятнадцать тридцать
    Кремль Политбюро».

Королев шагнул к Дане, жарко обнял его, точно схватил в охапку, и вдруг его огромные плечи заходили, а глубинный голос почти шепотом просипел:

— Я не мог поступить иначе...

Рубаха его закоробилась и одеревенела, но комиссар ее не слышал. А Даня Вайсберг, приписав эти слова тому, что-де комиссар не настаивал на походе к берегу, подумал, что надо пойти и рассказать всем и каждому, как тяжело досталось комиссару это решение и какое, оказывается, геройство сидеть на льдине, вместо того чтобы идти. Выводы эти проистекли из неверной предпосылки. Но сами по себе они были правильны.

ГЛАВА 3

Свидание

Аэродром за три-четыре мили
От лагеря. Шестнадцать человек
Его взрывали, рыли и громили,
Накатывали, гладили и мыли
И, понаставив два десятка вех,
Ушли на лыжах.
                Он лежал в сугробах,
Голубо-серый и литой, как сталь.
По нем играл муар. Над ним свистал

Широкий ветер. Две палатки обок
Присели, отражаясь глубоко
В его слюде. Они держались прямо.
Из них вился дымок. Седой бугор
Раскуривался, точно Фудзияма.

Аэродром! Он был задуман впрок.
Его сквозь веки наблюдает дрема,
Его лелеет вдоль и поперек
Олеся — комендант аэродрома.
Вот кстати и она. Пушистый мех
Ее звериной куртки был просолен.
Трещали флаги низкорослых вех.
Синело небо. Словно с колоколен,
Срывались звоны ветра с высоты.
Одна минута до дневного чая.
Но Ляля мчится на коньках, качая
У пояса нашитые хвосты.
Ей все безумно нравилось: и взмахи
Метельных крыл, и лед, и этот пост,
И новая одежда не под рост
Из карих пыжиков и росомахи,
И отдаленность от материка,
Где все живут трагизмом их событий...
Она скользит и ножкою в копыте,
Не думая, выписывает «К».

А правда, мне Олеся удалась?
Я и ночами вижу пред собою
Пробор, овитый русою косою,
И с голубинкой серебристый глаз,
И милые, душевные черты,
Прямые, полудетские поступки...
Но это после долгой череды
Видений, улетающих из трубки,
Когда ты над бумагою сидишь,
Охваченный поэмой недопетой,
И вьется в хаотическую тишь
Седой самсун из чубука поэта.
Как я люблю вот этот мудрый дым!
В нем всё и вся. В нем порох, но и ладан.
Но если образ
в дымке
лишь угадан,

Я безраздельно властвую над ним:
Могу едва дышать голубизной,
Могу пыхнуть из трубки, как из пушки,
И он тогда сквозится голизной
Или закутается в мех с опушкой,
И если это девушка, ее
Я слышу, как дыхание свое.

Но незаметно переходит власть
От автора к его же героине:
Я думал о Тамаре, о Марине,
А та взяла да «Лялей» назвалась...
А ведь задумана как Олисава!
Но в мире нет прелестнее имен.
Не правда ли? Должно быть, я влюблен...
Да нет. А вдруг? Поэзия лукава!

Что может быть печальнее судьбы
Творца, влюбленного в свое творенье?
Я говорю не о стихотворенье,
Где автор и за букву на дыбы!
Я говорю о линиях и красках,
Которые, в портрет соединясь,
Незримо отделяются от нас,
От наших исправлений панибратских,
И дерзко дышат собственною жизнью,
В своих движеньях, чувствах и мечтах,
В то время как создавший их монах
Терзается в бессильной укоризне.
Меж строк ничтожных, точно червяки,
Где кляксы, закорючки да помарки,
Вдруг сердцем выдыхают образ яркий
Кровавые твои черновики —
И этот образ более не раб
Твоих чернил. Он сам себя находит!
Герои при тебе, пока ты слаб,
Но если ты силен, они уходят.

Снежинками опушены ресницы,
Глаза переливают синеву...
Она летит. Ей ничего не снится.
Она летит! Все это наяву!
Она летит. Она полным-полна.
Ей стало жарко. Обнимает ветер.

Раскинув руки, кружится она
И шепчет, шепчет: — Я живу на свете! —
И вдруг упала. Но в душе возник
Какой-то луч, как ожиданье счастья.
От сладости зажмурилась на миг,
Но веки задрожали часто-часто...

Вы знаете, читатель, так бывает:
Вы, верно, сами ощущали вдруг,
Как будто стало призрачно вокруг
И в сердце что-то упоенно тает...
И вы на миг заслушались... И вы
Чему-то улыбаетесь заране...
Оно — как бы предчувствие свиданья,
Оно — как обещание любви.

Но тут с горы, описывая круг,
Летит аэродромная команда
И, креслице составивши из рук,
Под хохот умыкает коменданта.
Они взлетают в ногу. Ветер сух.
Аэродром течет, змеясь и блеща,
И Ляля, обнимая их за плечи,
Как бы воркуя, засмеялась вслух.

Ах, молодость! Твой пламень неизбывный
Жесток без умысла и озорства,
Как жизнь сама, ты в жадности наивна,
И, как природа, ты во всем права.
Олеся позабыла Болеслава.
То есть не то что позабыла, но...
Казалось, это было так давно,
А жизнь во льду, простите, не забава:
Ведь ей поручен слаженный с трудом
Надежда лагеря — аэродром!

Но вот они и в хижине. С крюка
Спускается, как скатерть-самобранка,
Уставленная чашками доска.
Уж Костя Фрязин кокает баранки,
Менашка воет, кипятку хватив,
Свинобобы над свечкой отпотели...
Веселье, шум! Багровые метели
Видны в окно сквозь фотонегатив.

Потом она отряхивает крошки
С пушных колен, прощается, встает
И медленно выходит. Серый лед
Уже синеет. За далекой «кошкой»,
За торосами с вышки на крестах
Волнуется широкошумный стяг,
И девушка, потягиваясь сладко,
Идет к себе. У ней своя палатка.

Улыбка замечталась на лице.
Был день как день. Из серых. Из напрасных.
Но все же, ощутив его как праздник,
Она легла в огарочьем кольце.
Потом раскрыла книжку. Может быть,
Мои стихи? (Вы знаете, бывает!)
Она глядит и тихо засыпает...
Но я прошу ей это извинить:
Она так мило дышит из-под карих
Своих мехов. В палатке полумгла.
Мерцает соль, за золотом огарок
Описывает скулы от угла.

Но снится Ляле нехороший сон:
Все та же ледовитая лагуна,
Раздавленная торосами шхуна,
Безмолвие и Амундсен. Но он
Не разбивает лагеря на льдине.
О нет! Среди остроугольных линий
Проходит гордо соколиный лик,
В метели слышен голос громовержца,
За ним плетутся хмурые норвежцы —
Их великан ведет на материк.
А ветер пуще. За единый мах
Он вьюжит хлопья стаями гагарок,
И Ляля стонет на своих мехах
И слезы льет. И плачет с ней огарок.

А там, вдали, за три-четыре мили,
Рукой седые брови заслоня,
Два глаза ледовитые ловили
Хотя бы отблеск этого огня.
Но нет... Ни зги... И все-таки глаза
Всё смотрят в сторону аэродрома.
Дымится дверь бревенчатого дома,

За дверью молодые голоса,
Скрипичное из Вашингтона скерцо,
Но Королев ото всего далек:
Он ищет сквозь пружинку огонек,
Как ищут в мире аленькое сердце.
И вдруг пошел по голубым холмам.
Туда! К нему!
Зачем?
Не знает сам.
Идет он, даль глазищами лаская...
Сложна, но и проста душа людская.

Стоит, допустим, дерево. Ветла.
Чистейший и древнейший реализм.
Но если лупу мощную приблизим,
То под углом волшебного стекла
Она исчезнет, словно дым усталый,
И превратится дерево в кристаллы.
И это тоже реализм. Так?
Но если кристаллические жилы
Подставить под прожектор, под маяк
Особой ультрамикроскопной силы,
Исчезнет и кристальный монумент,
Ветла предстанет роем электронов,
И это, кроме шуток и уклонов,
Опять реалистический момент.

Не так ли и с душою человека?
Как и ветла в чуть дымном серебре,
Стоит она, ветвистая от века,
Подробная до клея на коре.
Но если лупу мощную приблизим,
Кристаллы засквозятся под корой,
Подробности становятся эскизом,
И все сметает электронный рой.

Как нам понять иначе Королева?
Он сам себя не понимал сейчас.
Обычно очень вдумчивый, толковый,
Неторопливый даже в грозный час,
Привыкший чувства обобщать в идеи,
Идеи же оценке подвергать,
Бежит он, с каждым шагом молодея,
На куцых лыжах в снеговую падь.

Исконное стихийное начало,
Как штормовой, рвало его с причала,
И мчится между торосов Корней!
Душа оленьей песнею звучала,
А он лишь философствовал о ней.

Чукотские похрюкивают лыжи.
Взошла луна,— за месяц в первый раз! —
И торосы придвинулись поближе,
Зеленоватым светом разгорясь.
Курится щель. Промахивает яма.
В ушах то глушь, то громогласный шум.
Но за холмом открылся «Фудзияма»,
А у подножья — Олисавин чум...
Услышать бы ее девичий смех,
Дотронуться до карего до меха!
Он крикнул: — Олиса-ава!

Но эхо
Не отзывалось — шел прозрачный снег.
Но имя произнесено! Оно
Уже витает, вьется среди воя.
И в лыжнике проснулось ретивое,
Как бы вторым дыханьем рождено,
И он меж опушенными холмами,
Доставши нож, подъехал к «Фудзияме»,
И засинели в тщательной резьбе
Пленительные буквы «О» и «Б».

Средь ночи просыпаются от грома,
Но пробуждает и биенье мух...
Кому из нас, товарищ, незнакома
Бессонница от мыслей или мук?
Но девушка проснулась оттого,
Что кто-то где-то думал напряженно
О ней! Не понимая ничего,
Как бы сомнамбулой завороженной,
Она одним движением, как зверь,
Зачем-то встала и открыла дверь.
Безмолвие.
Но кто это стоит?
О, господи! И пот со лба струится.
Тогда Олеся начала сердиться.

Они ведь не уславливались? Стыд!
Ужели их объятья на борту
Тогда, в минуту кораблекрушенья,
Создали между ними отношенья
Такие, что... Да что же он? В бреду?
Такое не считается ничуть.
Там был испуг. Ведь полночью! Спросонок!
Испуг — и никаких особых чувств.
Он должен понимать. Он не ребенок.

Она взглянула на свое плато,
На хижину, стоящую поодаль.
— Никто вас не заметил?
— Нет. А что?
— Войдите.—
Он вошел. Руки не подал,
Но так глядел, так душу поражал,
Что лучше бы ей варежку пожал.

— Вот вам метелка. Ну-ка, отряхнитесь!
Какими-то станухами оброс...
Ведь вы сейчас не то из сказки витязь,
Не то из балагана дед Мороз.
Вы от Андрон Иваныча, конечно?
Я слушаю.—
Но комиссар был нем.
Она нахмурилась. Но это внешне.
Она должна сердиться,— между тем
Он прибежал за три-четыре мили,
Немолодой... Да ночью... Без пути...
А ведь еще назад! Какой он милый!
Простить, пожалуй, а?
(Прости, прости!)
А комиссар чернеет, как железо.
Да скажет ли хоть слово наконец?
И вдруг он тихо говорит: — Олеся...
(Не «Ляля», как зовет ее отец.)
И в страхе чует девушка душою,
Как что-то надвигается большое.
Но нет уж! От признания уволь...
Ей вспомнился кошмар о великане,
И вышла выкормленная веками,
Незатухающая бабья боль:

— Вы как меня назвали? —
Он молчит.
— Чем заслужили вы такое право?
Что в вас пленительного? Осторожность?
О, если б Амундсен меня любил,
Он, верно, уж не стал бы дожидаться,
Чтобы его спасали. Боже мой!
Вы даже не подумали о том,
Что я о вас подумаю. Ведь правда?
Вы — комиссар. Вы приняли решенье.
А девушка? Да ей-то что за дело!
Любимая на то, чтоб целоваться,
Но с ней еще советоваться? Стыд!

Корнеич покраснел, хотел ответить,
Как вдруг они услышали — хрустит!
Чтоб успокоиться, решили — ветер.
Но всё уже встопорщилось вокруг,
Все вещи как бы замерли с оглядкой...
И снова Нечто обошло палатку,
Неведомое вслушалось — и вдруг
Из шалости, что на границе смерти,
Капризной лапой грянуло по жерди.

Олеся закричала, как во сне.
Корней Корнеич, опрокинув печку,
Поплыл снаружи в снеговой возне,
Наставил браунинг, но дал осечку.
Покуда он выбрасывал патрон,
Когда «собачка» у него заела,
Пока затвором занимался он
Буквально в десяти шагах от зверя,
Большой медведь разглядывал его,
И ветерок гулял по меху рыбкой.
(Впервой мишук увидел существо,
Что также подымается на ды́бки.)
То был потомок желтоватой расы,
Седой, золотолапый сибиряк,
И мех его в тяжелых серебрах
Ковром одел бы всю палатку сразу.
А будущий ковер во все глаза
Следил за ним, за сновиденьем неким...
Но вдруг огонь, толкнув его назад,
Вспугнул его, и он вознесся снегом.

Когда Корнеич приподнял палатку,
В ней пахло гарью.
Девушка... Она,
Упавшим пламенем обожжена,
К ноге со стоном ладила заплатку,
И Королев, опять, как прежде, бел,
Но больше не отряхивая льдинок,
Невнятно рассказал про поединок
И перед ней на корточки присел:
— Подвиньтесь-ка. Давайте я подую.
— Нет, нет, не надо!
— Отчего?
— Да так.
— Давайте. Все равно не отойду я:
У вас ожоги в четырех местах.

И, невзирая на девичий нрав,
Ее штанину с треском разодрав,
Он тихо дул на кровяные пятна,
Но в то же время делал строгий вид
И вдруг спросил, как доктор:
— Ну? Приятно? —
Но девушка молчит. Не говорит.

О, как любовь умеет легкий штрих
Преображать в значение границы!
Скажи «во-первых» — и мгновенно мнится
Огромное явление вторых.
Тут вечно сокровенное за явным,
Мечтаемое за бесстрастным тут.
Нет мелочей. Тут все всегда о главном,
И прямо к сердцу все пути ведут.
Здесь пауза и та иносказанье,
Тут что ни слово — символ или знак,
А уж прикосновенье, уж касанье —
Прямое ясновиденье во снах.
Здесь мир загадок, ребусов и басен,
И для того, кто пребывает в них,
Любой вопрос двусмыслен и опасен,
А отзыв откровенен, как дневник.
Вот почему — и это так понятно —
С мгновенным чувством искры изо льда
На обольстительный вопрос: «Приятно?»
Могла ли девушка ответить «да»?

ГЛАВА 4

Поговорим о странностях любви

Корней ушел. Вернее, убежал.
Он видел, как, проваливаясь тяжко,
Коньками о винтовку дребезжа,
Уже спешил на выстрелы Менашка,
А Королев боялся одного —
Чтоб только не увидели его.
И он несется, лыжами скользя,
Еще недавно молодой и пылкий,
Позорно ощущая на затылке
Сердитые Олесины глаза.
Но он ведь перед ней себя не выдал?
Он ей сказал: «Олеся»,— а потом,
Когда ожоги свежие увидел,
Пока возилась девушка с бинтом,
Подул на ранки. Это ведь не грубость.
У каждого лечение свое...
И вообще, однажды сделав глупость,
Совсем не стоит углублять ее,
Поэтому-то с видом похоронным
Списал он свою молодость долой!
Ну что же... Электрон-то электроном,
Кристалл кристаллом, а ветла ветлой.
Придут ребята целою отарой,
Увидят, усмехнутся: «Вот так дед!»
Не мог он уронить авторитет
Непререкаемого комиссара.
Народ наш в комиссарах увидал
Исконный христианский идеал.
Но, разъясняя массам все различье
Меж Октябрем и мифом о богах,
Преступно разбазаривать величье,
Накопленное партией в боях.
И Олисава это поняла,
Но понимать не захотела Ляля.

Пришел матрос, глаза на лыжни пяля,—
Как назло, ночь была светлым-светла!
Но девушка улыбку показала,
Отметила, что он-де молодец,
И, выразив признательность, сказала,
Что это приходил ее отец.

Менашка, успокоенный ответом,
Ушел к себе, досматривать свой сон,
А вдалеке карабкался на склон
Корнеич со своим авторитетом.
Но яростно вопили о себе,
Трагически чернея в лунном свете,
На льдистой грани буквы «О» и «Б»,
Прорубленные с мыслью о столетье
Лишь час назад! А комиссар бежал,
Как бы не видя ледовитой грани,
И ярко слышал в ножнах свой кинжал,
Торчащий в совести, как кость в гортани.

Старик бежал. Что может быть смешней,
Чем этот страх пред мненьем экипажа!
Бежал... Ну что ж, невелика пропажа.
Бежал он, не подумавши о ней,
И Олисава на дохе оленьей
Качается, обняв свои колени.

Ну вот и кончилась ее любовь.
Любезный друг едва успел проститься.
Нет, он не твоего полета птица,
Ты юрких оправданий не готовь:
В его сердчишке вечная простуда —
Чем увлечешь бескрылого орла?
Его любовь — «отсюда» и «досюда»,
Он обижает женщину без зла,
А Ляле это просто надоело.
Пускай уходит. Ей-то что за дело?
Корней Корнеич мчался по холмам,
Срывался, падал, вылезал из ям
И шел одним лишь напряженьем воли.
И хоть никто не гонится за ним,
Он мчался, выдыхая темный дым,
Как бы желая убежать от боли.

Да, он недооценивал любви...
Зачем ты несся в дымке непогоды
К ее палатке? А? В такие годы?
Забывши все регалии свои?
И слезы замерзают на лету...
Ах да, не слезы! Извини: градинки.
О чем ты плачешь? О любви на льду?

О том, что струсил в этом поединке?
Или о том, что, как и прежде, лих,
Но, с болью замораживая ярость,
По возрасту играть ты должен старость,
Хоть и моложе всяких молодых?

Когда б ты был седым, матерым лосем,
То, повстречав соперника-врага,
Рванул бы молодого на рога
И с маху грянул боковиной оземь.
Окрестным сопкам ноздрища твои
Ревели бы о правоте любви,
Четыре эха встали б над долиной,
И ты, лихой седеющий сохач,
С молоденькою важенкою вскачь
Ушел бы, невзирая на седины.

Но ты, увы, не серебристый лось.
А то, что поздно полюбить пришлось,
Что ты, быть может, полюбил впервые,—
Такие драмы людям не впервой.
Так не качай же лысой головой,
Смахни-ка эти капли ветровые.
Довольно, друг! Утри остатки слез:
Подумают — не чувства, а склероз.

А ты его, Олеся, не зови:
Живет он в обществе, а не в природе.
Четыре ранки запеклись в крови,
Ей надо позаботиться о йоде.
Она, конечно, в лагерь не пойдет,—
Придется ведь припомнить всю картину! —
Она пойдет, пожалуй, к Константину,
У Константина заготовлен йод.

И девушка выходит из норы
И видит голубеющие лыжни,
Сходящиеся в точку у горы,
Как линии, как нити ее жизни.
А впрочем, мало ль на снегу полос!
Не проливать же над любою слез!

— Я, Костя, на минуту. Нет ли йода?
— А что?
— Да вот немного обожглась.

Взгляните-ка. Да ну, не жмурьте глаз!
В конце концов вы все одной породы.
Постойте, я булавку отстегну.
Вот так. Смотрите, а? Какие пятна!
Подуйте же. Чуть посильнее. Ну!
Приятно? Отвечайте же: приятно?

— Что с вами, Олисава?
— Ничего.

Она сердито смотрит на него,
Потом глаза смягчились на минуту
И сразу стали женственней,— но вдруг
В них отразился девичий испуг,
И девушка, опомнившись как будто,
Пролепетавши: — Я сегодня зла,—
Скорее за булавку и ушла.

Читатель мой! Поговорим немного
В такой тяжелый для Олеси час.
(Еще пред нами длинная дорога,
И времени достаточно у нас.)
Я вижу твои руки. Как берешь,
Как раскрываешь, как листаешь книгу,
Как, отметая Жаннину интригу,
Ты в сердце Олисаву бережешь,
Как, позабыв о почерке поэта,
Ее, как птицу, слушаешь подчас...
Вот отчего встревожен я сейчас
Девчонкой, словно песенкой воспетой,
Вот почему так озабочен я
Ее последним озорным поступком.
Не ради соловьиного пенья́,
Не тоста ради над заздравным кубком
Я занимаюсь девичьей судьбой,
Ей посвятив немало слов хвалебных:
Ведь я пишу, читатель, не учебник,
Ведь жить-то Ляльке надобно самой,
Характер же у девушек не гибок,
К тому ж обида — родина ошибок.

Но что же я поделать с ней могу,
Когда не этакая, а такая?
Но я тебе, читатель, помогу,

Нисколько озорству не потакая,
И если ты,
как я,
уже влюблен
В наивный образ, облеченный дымом,
То нам с тобою нужно, чтобы он
Прошел сквозь испытанья невредимым.

По-твоему, Олеся поступила
Цинично? Пошло? Хуже нет вины?
А я скажу: зря не расходуй пыла,
Немного больше, друг мой, глубины.
Будь прозорлив — обманчивы поступки,
Суди, но по характерности их,
Не то, брат, честных истолчем мы в ступке,
А возвеличим всяких лжесвятых.
Суди мою Олесю без уступок,
Но взвесь и человека сквозь поступок.

Так поступает даже сам судья,
Ища для санкций точные основы,
А нас ведь занимает не статья,
А чувства, и, конечно, те, что новы.
Однако новому, как ни вертись,
Без старого пока не обойтись,
И мы затем живем в литературе,
Чтоб душу залучить в свою тетрадь,
В ней разобраться, точно в лигатуре,
И золото от олова изъять.

Итак, она была в его шатре,
Вот здесь она стояла, тут сидела,
В его глаза серебряно глядела,
Прекрасная, как вьюга в сентябре.
И все ж, хотя сменил ее буран,
В душе у Константина вешний ливень!
Он, стало быть, ей вовсе не противен?
Ты скажешь — йод ей нужен был для ран.
Но, братцы, обращусь ко всем народам:
Перелиставши в памяти года,
Ответствуйте — слыхали вы когда,
Чтобы ожоги украшали йодом?
Так почему же, из каких причин,
Она пришла, палатку озаряя,

Сердитая такая, озорная?..
Об этом-то и думал Константин.
Худой, осунувшийся, остролицый,
Он слышит ветер ледяных высот,
И щепки из-под лавки достает,
И к углям затухающим садится...
Но с новой силой Костю обожгло
Виденьем Ляли. Милое колено
Так трогательно смугло и круглó
И все в огнях от жаркого полена.
Ах да: ведь у Олеси был ожог!
А он забыл. Он, думая о счастье,
Не принял в ней, голубушке, участья.
Но как он смел забыть? Но как он мог?
Немедля к ней! Просить прощенья! Лыжи...
Но нет! Чтоб наказать себя больней,—
А может быть, чтоб стать ей как-то ближе,—
Он вырвал головешку из огней
И, нервно обнажив свое колено,
Со сладостной гримасой на устах
Поджег его на Лялиных местах
До палины, до черного каленья.

Тем временем Олеся, как зверок,
Забившись в угол, с ужасом глядела
На брезжущий рассвет. Все ее тело
Разбито. Спазматический зевок,
Похожий на заглохшее рыданье,
Как горе, потрясал все существо.
Да что же с ней случилось? Ничего.
Ну просто ничего! И все же втайне
Ей говорило что-то, что теперь
Меж ней и «К» навек закрыта дверь
И что отныне, глупая, она
Своею выходкою одичалой
В своих глазах себя же развенчала
И честью за другим закреплена.

Ведь Ляля никого и никогда
К себе не приближала вот настолько!
Но так была, как женщина, горда,
Что если привлекла кого без толка
И так вот, по добру, а не в борьбе,
Объятая каким-то вдохновеньем,

Позволила приблизиться к себе
Пускай хотя бы только дуновеньем,
Она не отрешится от него,
И, как бы это ни было ей жутко,
Не превратит событье в озорство
И таинство не обесценит шуткой.
Да, доля Олисавы не легка...
Пусть все произошло из пустяка,
Пусть невзначай. Тем хуже. «Невзначаю»
Нельзя любовь преображать в пустяк!
(Я в этом ни-че-го не понимаю,
Но знаю лишь одно — что было так.)

Однако рассвело. Пора идти:
Олеся — комендант аэродрома.
«Снегурочки» свои оставив дома,
Она выходит. За́меть по пути.
Какие-то подснежные ступени...
Тут каждый шаг становится степенней,
Но, обходя квадратный габарит,
Она с собой о Косте говорит:

Ах, если б он не догадался, милый,
О том, что Ляля девушка из тех,
Которые не для пустых утех,
А станет рядом — так уж до могилы!
Ах, если б не подумал бы о том,
Что Ляля не какая-нибудь краля,
Что даже случай для таких, как Ляля,
Не так себе, а колокол, а гром!
Тогда бы он не обратил вниманья
На то, что было. Мелочь. Пустячок.
Пускай уж рассказал бы, дурачок,
Ребятам о несбывшемся романе,
Но только б жил он, как и до сих пор,
Но только бы походкой зверолова
Не подошел и не сказал в упор
Мужское заколдованное слово...
(Ведь это слово — в трепетанье крыл!
А ей никто его не говорил.)
Но вот и «хыжа», вся в пеньке да вате.
И вновь глаза по-прежнему остры.
Она подходит: — Мальчики, вставайте!
— Зачем?

— А как же! Разводить костры!
— Опять костры?
— Но, но! Без разговоров! —
И, проявив начальнический норов,
Басаргина за вешками идет,
Насвистывая тихо «Ases Tod»
И слушая, как вторит Григу вьюга,
Норвежской песни давняя подруга.

Но что это? По линии, где зюйд,
Исчезли два флажка. Да нет, и третий!
Кому их надо?
Но вокруг ползут
Полуследы огромного медведя.
Вот здесь он подошел. Уныло сел.
И три флажка без аппетита съел.

Олеся улыбнулась, но потом
Подумала: не он ли тот зверюга,
Что полночью ее обнюхал дом,
Всех напугал и убежал с испуга?
И слезы навернулись на глаза...
Она с умильной нежностью глядела
На мишкин след, в пороше поседелый,
Такой родной, что и сказать нельзя,
И словно слышит с хрипотцою бас,
Напоминающий ночного гостя...
Но тенорок
звучит
на этот раз.
Она вскочила: перед нею Костя!
Тревожно выдыхая серый пар,
Неясен, из метелицы изваян,
Он спрашивает грубо, как хозяин:
— Зачем к тебе являлся комиссар?

О! Этого б не надо говорить!
Все предрассудки девичьи, с какими
Олеся создавала между ними
Какую-то загадочную нить,
Исчезли, как метель на помеле.
Все, что угодно, только не опека!

Нет ничего сложнее на земле
«Советского простого человека».

ГЛАВА 5

Великий утешитель

Олисава была несчастна. Так несчастна, как только можно быть в двадцать лет! Вот она прошла аэродром, проверила вешки, костры, букву «Т», пропитанную клюквенным соком, но все это проделывала так бездушно, точно ей было все равно — лететь к людям или оставаться с медведями. Как далек сейчас тот день, когда она кружилась по льду и упоенно шептала ветру, небу, всему миру: «Я живу на свете!» А сейчас? Возвратилась Олисава печальная, будто с похорон. Села у огня. Подбросила поленьев. Глядит.

Все в ее жизни сразу как-то обидно упростилось. Во-первых, Костя. Пока она еще тревожно ждала чего-то, страшилась и в то же время тайком от себя на что-то надеялась, он вдруг предъявил к ней права! С какой стати? Как он смел! Это решило его судьбу. Он сразу стал ей безразличен. Он превратился в веху, в дорожный столб, отметивший какой-то этап ее жизни. Нет, даже и этого много. Просто колышек. Но неужели так вот и бывает? Может быть, с другими девушками иначе? Ведь Костя был таким застенчивым... Но когда мужчинам дают повод... Да, конечно, во всем виновата прежде всего она. И все же Костя упал в ее глазах. Все, что угодно, только не эта хозяйская властность! Самое противное, что может быть в отношениях между юношей и девушкой.

Но бог с ним, с Костей! Пожалуй, даже хорошо, что так случилось. Хуже то, что Олисава разочаровалась даже и в Королеве. В самом деле, если что и влекло ее к нему, то это прежде всего тайна, окружавшая личность комиссара. Ей казалось, что натура его — это стихия, которая вся ушла в глубину и только слегка раскуривается дымом, но уж если разъярится — извержение! Оказалось, не то. Совсем не то. У этой «стихии» свои предрассудки. Конечно, она не какая-нибудь романтичная барышня, начитавшаяся Дюма, и понимает, что комиссар поступил правильно, когда принял решение остаться на льдине: одно дело — Амундсен, который не мог бы рассчитывать на помощь своего маленького королевства, и совсем другое Королев —

ведь за ним могущественнейшее государство ста национальностей. Но как он мог не подумать о ней? Разве не страшно ему было показаться в ее глазах трусом? Однажды один писатель сказал ей, будто она похожа на рыцаря и на его даму. Комплимент изысканный, но не лишенный наблюдательности. Сейчас, например, в ней возмущаются оба — и рыцарь и дама! И потом — это его бегство с аэродрома... Да, да, она понимает: тут все дело в разнице их возрастов. Корней Корнеич дó смерти этого стыдится. Но стыд — это всегда страх перед взглядами других, а другим-то как раз и нет до них никакого дела. Возраст Королева касается ее одной. Лысый? Пусть! Ей нравятся лысые! Когда девушка выходит за старика только потому, что старик богат, то это гнусность и безнравственность. Но когда юная Ульрика полюбила престарелого Гете потому, что он гений, то гнусны и безнравственны те, кто требовал выхода ее замуж за другого по той единственной причине, что этот другой молод. Но человека с его чувствами нельзя рассматривать как производителя потомства. У него свои права. Слышите? Свои! И так будет даже при коммунизме! А Королев этого не понимает. Умный, мудрый Королев! А ведь вообще-то Королев человек незаурядный. Все в нем крупно, значительно — это личность! Но вот когда дело касается любви, тут он мелок, робок, попросту ничтожен. Нет, что-то случилось с нашими мужчинами. Исчезла культура поклонения женственности. Женщину сделали равноправной и отняли у нее право быть богиней. Неужели и это «варварство раннего социализма», как любит выражаться отец?

Олисава сидит перед печуркой с коленчатой трубой и как зачарованная глядит на поленья, не видя ни дыма, ни пламени. Душа ее, утратив Королева, стала пустой. Этот человек жил в ее нервах, жилах, клеточках мозга. Он внушил ей, наконец, поэму об Амундсене, единственное, может быть, что она сделала за свои двадцать лет. И вот его не стало. И уже никогда больше не будет.

Поленья торчали стоймя, черные, сырые, пламя вилось понизу, сверху же стлался едкий сизый дым, выбивавшийся в палатку с горечью и удушьем... Надо бы захлопнуть дверцу, но тогда станет темно, а главное — одиноко. Она была несчастна. В несчастье так нужен друг! Но где он?

Кто? Отец? Но разве отцам такое рассказывают? Подруги? Люба, которая «разлюбила любовь»? Ира — Кира?

Но друг явился. О нем забыли, но он пришел без зова, пришел так, как приходит истинный друг, когда почувствует, что необходим... Поэзия! Она вошла тихо, как сестра, и села у чугунка, рядом с Олесей. И печурка сразу преобразилась! Поверху валил сизый дым, снизу трепетали гребешки пламени — все, как было, но гребешки уже стали красными петухами, все зрелище выросло во что-то мрачное и огромное, напоминая чем-то народное восстание с факелами, пожарами, заревами над частоколом усадьбы. Олисаву потянуло к Большой земле! Там, за далью торосов и заструг,— ее Москва. А она так несчастна! В сущности, Королев покинул ее, изменил ей. В конце концов изменил и Костя, потому что тоже оказался другим. Каждый оказывается не тем, кого в нем видишь, все изменяют нам, сами того не желая, когда мы хотим видеть в них что-то большее... Но зато партия... Ей вспоминалась строка Маяковского: «Партия — единственное, что мне не изменит». Как это сказано! Строка эта подымает надо всем личным и в то же время утоляет всякую обиду. Партия! Она будет писать о партии. Поэму или даже эпопею. Впрочем, надо знать свои возможности: она — лирик. Только всего. Эпопею Олисаве не поднять. Ну что ж, тогда она опишет вождя! Это может и лирик. Почему же? Может. Конечно, она не в силах раскрыть образ Ленина с такой силой, как Маяковский. Но у каждого свой Ленин, и, может быть, пять-шесть пронзительных строчек, идущих от самого-самого сердца... Нет, пять-шесть — это ничтожно. К чему себя обманывать? Но в таком случае... А почему бы и нет! Она опишет Королева. Да, он не вождь, зато это один из тех незаметных, но могучих ленинцев, которые выносят на своих плечах основную тяжесть революции. Но ведь ты же в нем разочаровалась? М? Или нет? О, тут совсем другое дело! Переживания девушки Олеси абсолютно не касаются поэта Алисафии Басаргиной. Не застенчивый старик, боящийся любви, но мужественный комиссар полярной экспедиции — вот ее тема. Эту тему Олисава знает нутром. И она у нее получится. Итак, «Комиссар К. Королев». Нет, лучше «Корней Королев». Что? Или просто «Королев». Так грубее. Проще. И это в его духе. *«Королев».*

Милый...

ГЛАВА 6

Как мужик на луне согрелся

В России бредет по дорогам Прокоп,
Святой Прокоп — под снег подкоп.
В России проходит березами Влас,
Идет-подымает коровью власть.
Сазан хвостом разбивает лед,
Ревут бугаи из теплых закут,
Хоть полон рот весенних хлопот,
А сорок жаворонков пекут!
Выходит Марья Зажги Снега,
И слушать гармонь выходит сноха,
И сквозь гармошкин хохот и плач
Почка стреляет с ветлы, как пугач.

А тут? Хоть снеданье, хоть обед —
Одни сполошья из чертовых радуг.
Который месяц солнышка нет!
Нешто это порядок?
Но кто-то в притолоку стучит
И входит, потешно шествуя.
— Вы будете некто Жалейкин Тит?
— Ты что?
— Я над вами шефствую.
Смотри приказ под номером пять.
Так что, Жалейкин, пожалте учиться!
— Постой... Это что жа? Чего ни случится,
А комиссар за свое опять?

Но Петька за локоть его берет,
Дверь открывает и просит вперед.
Идут. Один, насупивши брови,
Другой, напротив, их округлив,
Мимо горы, изменившей профиль,
Не в яму глядящей теперь, а в залив.
Идут. Меж тем крепчает мороз.
Петька. Темпы, темпы учтите!
Жалейкин. А что ты мне за учитель,
Когда ты есть матрос?
Петька. Так надо же ж разбираться!
Вырастешь, дед,— поймешь:
Хоть все матросики вроде как братцы,
Да не всякая щетка — еж.

Однако пошли, пошли...— говорит
И плясом пляшет к чужой палатке.
Здесь, принявши хозяйский вид,
Он гостя сажает на чьи-то полати,
Он угощает чужим табаком,
Шарит на полках, ищет детали,
Строит, ладит — пальцы летали...
Откуда такое в парне таком?
И вот перед «дедушкой» на столе,
После минутного звяка и клепа,
Точно Колумбовый пистолет,
        Ствол и тамбур микроскопа.

И к гостю Петро обращается вновь:
— Холоднокровье в себе призовите!
Сейчас, Агафоныч, увидите кровь
В сильно преувеличенном виде.
Потом булавкой ладонь проколол,
Сказал: — Проклятая! Ишь ты! Не колется! —
И, выжав кровинку свою на стекольце,
Просит глядеть через трубочку в пол.

Все Агафоныч мог понять на свете,
Но чтоб, от личной пользы отступя,
Мужчина в полном совершеннолетье
Зазря кровинку выжал из себя —
Таких поступков он понять не мог.
И кто другой, по совести, одобрит?
Ну что ему, Титу́-то? Невдомек.
Уж не хитрит ли? Эх, нехорошо, брат!
Тит у него, пожалуй что, в руке.
Сейчас он петушится, ровно кочет,
А может, дома, на материке,
За эту каплю черт те что захочет?
А мне на кой? Да я не дам ни ко́пу.
Вишь, целится! Зрачки-то что бурав.
И Агафоныч, жалко поморгав,
Со вздохом приникает к микроскопу.

Сейчас на Большой земле весна.
        Идет соловьиный час.
Чирик. Молчок. Чирик. Возня.
        И снова безмолвие чащ.
И вдруг почин: вот так — чьи-вить!
        Нежно, как пушок.

И тут же ударит, чтоб удивить,
Будто картечью обжег.
Но вот уже круглые пузыри
Плывут один за другим...
Вот так бы и слушал до самой зари,
Окутан в болотный дым.
Словно бы струйка стеклянных пуль
Мягко вонзается в пень.
Пульканье: пуль-пуль-пуль-пуль-пуль.
Пленьканье: плень-плень.
И вдруг, как будто ракету загнал
Ввысь на десяток верст,
Будто взвился́ огневой сигнал,
Звездой опадая на хвост,
Будто певун себя прокатил
На огненном колесе.
И снова стих. И все прекратил.
Лишь гуси гогочут в овсе.
Луна из тумана выходит бочком,
Дымятся и ждут стога.
И вдруг опять! Но теперь... гусачком:
Так и слышишь: га-га...
Вот она, люди, какая Русь!
Не зря колдунами слывем:
Думал, гадал ли ко́гда-либо гусь,
Что просвистит соловьем?

А здесь хоть бы ворон закаркал, что ли...
Спасибо, еще зеленые сны.
Ходи тут с глазами, полными соли
От ихней... тово... белизны.
Да хоть бы это, а то и морозко:
Чуть зазеваешься — он тебя розгой!
И Тит запахивает кожух,
Словно от холода свету невзвидел,
И, тупо топчася, точно мишук,
Ни тютельки в микроскопе не видел.

— Танцуешь, дядя?
— Да уж, попляшешь!
— Эге, ты, я вижу, грустишь?
— Грущу.
— Ладно. Погреемся, милый, на пляже.
Так и быть, угощу.

Крестьянин глядит. Ему стало жутко.
Он пожимает плечом.
Парень сходит с ума не на шутку.
Ну и чудесно! Мы-то при чем?
И он отворачивается, и он
Опять погружается в тину и сон.

Но Петька хватается за треногу,
Зенитку выкатывает на дорогу,
Направил на месяц и крикнул: — Ну!
Гляди, старина, да поглядывай зорко! —
И вот мужик сквозь большую подзорку
На ледовитую смотрит Луну.
Он видит пушки темное жерло́,
Толщенно остекленное у дула.
Налево мрак. Оттуда явно дуло,
Но справа... как июлем обожгло!
Он увидал какой-то южный край,
Облитый желтым зноем, не иначе,
Где рынь-пески под вьюгою горячей
Увалы осыпают через край.
И это вправду было как на пляже:
У океана берег золотой,
И человеку показалось даже,
Что он в песках уселся над плитой.
Ну что тут скажешь? Не хватает слов.
Поистине — согрелся на морозе.
А Петька
к нему
на полном серьезе:
— Туварыш! Ето Козлов?

Мужик не слышит. Он к теплу несется,
Окатываясь золотом вдали...
В Луну, как в зеркало, гляделось Солнце,
Наскучив древней дружбою Земли.
И это было так огромно, так
Пронзало душу в самую, ну, мякоть,
Что человеку захотелось плакать
От зрелища миров на их путях.

— Ох и морозец! Благодарю! —
Петух топтался, ругаясь без счета,

Зажавши пальцем одну поздрю,
Сморкался по принципу Бойль — Мариотта[1],
Но, вспомнив про свой про научный пыл,
Академически завопил:

— Планетка Луна! Водички там нет.
Зелени нет. Ни птицы! Ни рыбы!
Лунатикам тамошним, ну, хоть икры бы
Или яичка... Любишь омлет?
А? Не едал? А глазунью с колбаской?
Но только кружка́ми! И чтоб солоны!
Эй, эй! Белеешь! —
он крикнул с опаской.—
Ладно, хватит! Слезай с Луны!

Он подышал на сизый окуляр
Обросшего грибами объектива,
По колесу проехался ретиво,
Суконкой по станине погулял
И, об штанину оттрепав суконце,
Припал к подзорке, словно бы к окну,
Дабы через посредницу Луну
Почувствовать невидимое Солнце.
Крестьянин молча пребывает рядом,
Заиндевевший, впору бы лупю.
Его слегка обстреливает градом,
Но он не отрываясь на Луну!
Он ее помнит с детства у окна,
Когда еще покачивался в зыбке;
Он видел ее в облачности зыбкой,
Томясь, бывало, в юности без сна;
Она коптилась в дыме над избою,
Она сквозь ветлы серебрила двор
И, обливаясь кровью, как из боя,
Войной грозила в ночь под рождество;
Она бывала сонной и глазастой,
Горела то чадилкой, то светло,
Она вошла в крестьянское хозяйство
С избенкой, с клячей, с тыном и с ветлой...
Родимая! В своем сиянье мирном
Кому землячкой не была она!
И вдруг Луна открылась чуждым миром —
Она как будто вовсе не Луна.

---

[1] Закон сообщающихся сосудов.

Ему Луны по-бабьи было жаль.
Щемило грудь. Он задыхался паром.
Меж тем спокойно топчущийся парень,
Заглядывая в мировую даль,
Лопочет Агафонычу такое,
Как если б душу видел сквозь стекло:
— Я, мужичок, лишил тебя покоя.
Ты жил темно, да помышлял светло.
Ведь ты, чудило, все мечтал о небе?
А неба, оказалося, и нет.
Все россказни попов — пустая небыль.
Мы сами небо для других планет.

Пошел мужик, путей не разбирая,
Чуть опьянев от небывалых дум.
Он видел сам... Выходит, нету рая?
Луна — пустыня. Край, видать, угрюм.
Зато Земля вся в зелени и водах,
Икрой да дичью сытая вполне,
И, может, человечки на Луне
Глядят на Землю как на райский отдых.
«Выходит, мы-то и живем в раю! —
Он засмеялся.— Экая догадка!
А чем же худо в этаком краю?
Вот только ангелов у нас нехватка...»
И вдруг, увидя в поле, меж дорог,
Бабенку и поняв, что это Жанна,
Он ухмыльнулся, взял под козырек
И гаркнул ей: — Здорово, Марь Иванна! —
И то ли голос был мужицки густ,
Виденье ли почудилось в испуге,
Но Жанна опустилась у заструги....
Несчастная! Она лишилась чувств.

ГЛАВА 7

Большая земля

Большая земля далека, далека.
Большая дальше Луны отсюда...
Она из меда и молока,
И все ж не легенда, и все ж не чудо:

Она по радио из темноты
Надеждой лучится в нашем изморе,
Оттуда льются в полярное море
Волны людской теплоты!

Там, на родной земле, что ни день,
Выходит о нашей судьбе бюллетень.
Там, потрясенный северной драмой,
У здания «Правды» толпится народ
И в ожидании радиограммы
Так бы и хлынул на дальний норд!
Уж он бы льдину разнес по сосулькам,
Уж он по щепоткам ее бы, как соль,
Уж он бы... он... И с дрожанием гулким
Ревела в душе обнаженная боль,
Как если б, задвинув железные шторы,
К больным ребятишкам проник злодей...
Такие
дни
превращают
людей
В подлинных граждан истории.
И вот из полярных радиостанций,
И вот из зимовок и стойбищ на пак
По рыхлым увалам белых дистанций
Запели стаи чукотских собак;
И, вымпела́ми, как в праздник, украшен,
В градусы, что темнотой налиты,
Сверхледокол, величавый «Красин»,
Двинулся, подымая льды;
А с дымного неба в градовых пулях
Страшной трассой Москва — Наукан
Семь самолетов, как семь республик,
Пали крылами на океан.
И каждый день судовой радист
Исписывал данными чистый лист.

Сегодня все пробудились рано.
Егор Веденяев, известный пилот,
На льдину радировал из Наукана,
Что завтра сделает пробный полет.
Ура!
Над лагерем пышет сиянье,
Но к дьяволу эту полярную сень!..

Костры возводите, готовьте сани,—
Сегодня самый счастливый день!
И вот бараки, палатки, чумы,
Хыжи, сарайчики да шатры
Страстно хлопочут, чтоб день этот умер
Во имя завтрашней поры.

Но слажены сани, огни наготове,
Проложены доски по талой воде,
Сигнал посадочный цвета крови
На снеге выложен буквою «Т»,
А день все длится, а день не прожит,
И каждый его убивает, как может.

Есть такая игра: ман-джонг —
Слоновые косточки на бамбуке.
В их звоне китайский слышится гонг,
В рисунках — маски театра «Кабуки»,
В названьях — символы Тайной Руки:
Ее глаголы! Ее законы!
«Четыре ветра», «Три дракона»,
«Джунгли», «Характеры» да «Круги».
Но для того, кто играет давно,
Кого к легендарному не приневолишь,
Вся эта штука сведется всего лишь
К разновидности домино.

В эту игру-то, зевая украдкой
И явно забросив всякий азарт,
Вечерней порой в басаргинской палатке
Играет
        с командором
                        комиссар.
Теперь командор опять, как прежде,
   Весел, шумен и лих!
Во-первых, Кремль приветствовал их,
Значит, возникло место надежде,
А главное — вновь ощутил свой рост,
Занявшись проблемой падающих звезд:
Дело в том, что у нас к планетам...
Впрочем, как-нибудь после об этом.
Итак, комиссар ставит на кóн
Косточку с красным мечом самурая.
Андрон напевает: — Красный дракон?..

Красный...— бубнит он, на миг замирая.—
Красный дракошка...—
И вдруг шасть!
Хватает кость в свою красную масть.
Но грустно задумался Королев,
Сдыша с бороды ледяную проседь...
— Опять задумались? Мысли бросить!
До завтра целых восемь часов!

Корнеич очнулся. Его «мышонок»
На́ кон выскакивает спросонок,
Но шеф ухмыляется, словно кит.
— Очень приятно-с! А мы эту крошку...—
И он, выбрасывая «кошку»,
Зверушку бедную когтит.
Но, глядя на этот мелкий зверинец,
Корней Корнеич вдруг говорит:
— А как же этот рачок «Ипполит»?
Как же Photocarinus?

— Поздно вспомнили, комиссар,
Все обшито рогожей да лубом.—
Но изо рта Королева пар
Вылетел явно взволнованным клубом.
В Арктике пар не только дыханье,
Это зрелище вашей души.
Там, на земле, дыши, не дыши —
Будь то в парламенте или в духане,
За речью твоей, за тостом твоим
Душа твоя прячется невидимкой.
А здесь? Ты выдохнул темный дым
Или дохнул легчайшею дымкой,
Но ежели ты при этом солгал,
Выдаст тебя твой дымный сигнал.

Корней Корнеич голосом грубым
Дела касался в конце-то концов!
Но пар предательский из-под усов
Вылетел явно взволнованным клубом...
(Корнеичу вспомнился Болеслав!)
Он встал, от пола свой мех отодрав,
И, шлык надевая, на шлем похожий,
Глухо басил: — Лубок да рогожи...
Лубок да рогожи — худой матерьял.
Схожу исследую упаковку.

Андрон улыбнулся. (Он понял уловку,
Но, будучи лириком, не возражал.)

— Ну что ж, я тоже с вами пойду.
(Шеф смахнул слоновое зданье.)
Ведь у меня почное свиданье:
В двадцать ноль-ноль ожидаю звезду.
Правда, сейчас она где-то в Европе,
Но обещалась быть в телескопе.

Пока очажок еще не потух
И возится Тит над чаем в кубышке,
Сомов, Наташа, Даня, Петух
Дуются в картишки.
Собственно, карт как таковых
У них и не было. В белом дрейфе
Звучали особые пики да трефы,
Борясь без особенных закавык.
Короче, на карты без всякой сатиры
Была нарезана карта мира.
Здесь океаны пошли на тузы,
Острова слывут королями,
Нации отдана дань, как даме,
Валетами стали мысы да носы,
А всякие Нанкины да Сингапуры
Играют в качестве мелкой купюры.
Но если, презрев мировой ореол,
Среди экзотики этой
Вдруг выпадает никем не воспетый
«Воронеж» какой-нибудь или «Орел»,
У самого дошлого краснофлотца
Под ложечкой теплота разольется.

Шеф моментально кинулся к ним,
Слегка оттеснив Даниила.
— Так. Этот остров — король? Очень мило!
А это? Валет? Но это же Крым!
Так обращаться с этаким краем...
Ну-ну, давайте, давайте! Играем!

Он выхватил саму́ голубизну
С названием «Великий, или Тихий»,
Где праздновали снежную весну
На севере уклюжие китихи,

Где осень провожали в те же дни
С подругами на юге кашалоты,
И веером короткой пятерни
Прикрыл богатства сомовской колоды:
Ведь у него значение и масть!
Противнику сейчас придется скверно.
Что бросит он в разверзшуюся пасть?
Какие-нибудь «Сэндвичи», наверно?

А в это время Корней Королев
С какой-то повадкою ве́щей
Глядит на зашитый в тару улов,
Трехтомник Брема и прочие вещи,
Где все говорит ему об одном —
О Болесе, о Кохановском...
Не думая, гладит он бремовский том
И видит не глазом, а мозгом
Тут сквозь рогожку, там сквозь лубок,
Здесь сквозь дюралюминий
Радиоллярий бесцветных клубок,
Рачка, ушедшего в синий,
Рыбку, которой не нужно свах,
Рыбку с одною глоткой,
О двух хвостах, о двух головах,
Как броненосец с лодкой...

Корней Корнеич стоял спиной
К разыгрывающим «талью».
Спина
его
казалась стальной,
Плечи — самою сталью,
Но из груди на белый металл
Толчками короткими пар вылетал.

Никто ничего не заметил пока.
Масти летают споро.
Резким чаечным криком помора
Жучит профессор политрука:

— О чем вы задумались? Нет пути?

— Что?.. Простите. Мечтою занесся.

— Вам бы против Чукотского Носа
С мыса Доброй Надежды пойти,

А вы глушите его не с руки
Целой Бразилией. Неэкономно!

— Ладно. Игра объявляется темной.

— Ох, уж эти политруки,
Просто гусары в гвардейском стиле...
Вот вам за это державу — Чили!
Что? Испугались?
                    — Маленько есть.
А все-таки не посрамлю свою честь.
Ставка удвоена!
                    — Будете биты.

— Риск — благородное дело. Вы пас?

— Нет-с. Отвечу. Что там у вас?

— Господи благослови... Ледовитый!

И сразу Ледовитый океан
Предстал как что-то близкое, родное...
Но, вновь охвачен думою одною,
Уставясь в точку, будто истукан,
Товарищ политрук уже не видит
Летящих на него материков...

— Сомов!! Так ничего не выйдет:
Африку вы отдаете за Псков!

— Но Псков моя родина, командор.

— О! Ну, тогда закончена «талья».

Все засмеялись. И вдруг Наталья
Прислушалась и закричала: — Мотор! —
Андрон Иваныч, Петро, Наташа,
Радист, политрук повскакали с мест.
Тсс!.. Тишина!
Повелительный жест!
Увы, обозналась девушка наша.
И все за игру садятся опять
Разочарованно и уныло.
Но прежней живости не поймать...
Палатка стала казаться могилой.
Бесстрастно спокоен лишь дядя Тит.
    Этому все едино.

Начальство, понятно, тово... улетит,
А их все равно оставят на льдине.
Чего ж волноваться? Сиди да молчи.
Пущай волнуются первачи.

Действительно. Ровно через минуту
Вдруг подымается Басаргин
И, теплую покидая закуту,
Уходит в ночь. Совершенно один.
В коротких пыжиках, полураскрытый,
Он будет шагать часов до пяти.
Но роем серебряным метеориты
Куцый мех осыпают в пути...
Ах, много ли нужно здесь человеку,
Ежели он, человек, астроном?
Вот запахнул он свою кацавейку,
Душа опять проясняется в нем;
Уж он языком не трогает зуба —
Во все и вся он снова влюблен!
Он мог бы сказать Венере: «Голуба»,
«Малыш!» — Плутона окликнул бы он.
Хоть рядом из проруби вылезла нерпа,
Хоть резок ее на морозе лай,
Он так глядит на звездное небо,
Как будто шагнул в галактический край.

А там, в палатке, стоит Королев,
Пальцами так барабаня по Брему,
Будто сейчас вот крикнуть готов!
Будто решил мировую проблему!
Ведь до сих пор он гадал впотьмах...
Но вспомним, товарищи, все подробно:
Он видел рыбку о двух телах,
Дредноуту с лодкой подобную,
Но тут Наташа сказала: «Мотор!» —
И образ, привычный такой до сих пор,
Вдруг сместился всем своим планом,
Вмиг сравнение стало иным:
Двутелая рыбка предстала пред ним
Аэропланцем с аэропланом.
В груди комиссара почти торжество!
Не рыбка теперь занимала его.
    К черту экзотику рыбью!
Мысль обретает новый полет:

Разве
не может
большой
самолет
Нести под крылом... «амфибию»?!
Сбросить ее. Спуститься потом.
Ссадить человека. Снова умчаться.
А та аккуратно разбилась на части.
«Амфибия». Серая. С красным хвостом?!

ГЛАВА 8

Крылья над Арктикой

— Контакт?
— Есть! —
Винт закосил,
И формулой окружностей и линий
Цельнометаллический кольчугалюминий
Стронул тысячу двести сил.
Они заскользили по снежной грязи
Вприпрыжку на торос...
Ближе, ближе!
И вот голенастые фермы шасси
Несут над землею хищные лыжи.
И сразу упала крестатая тень.
День был синий. Мороз за тридцать.
В очки и крылья закованный рыцарь
Проносится через китовый плетень.
Над чумами
вой
пуще ветра и ливня.
Чукчи набожно слушают визг,
И только собака Четыре Бивня
Атеистически лает ввысь.

Вот самолет набрал высоту.
Сейчас он пойдет на Арктику штурмом.
Губы поджав, озирает штурман
Тошнотворную красоту.
Штурман на севере в первый раз,
Впервые на севере летчик.
Он видит — с полюса, грубо курясь,

Туман подымается в клочьях.
Но, может быть, именно оттого,
Что и туман и в первый,
Он сделает «петлю». Не озорство,
Это проверка нерва.

Вниманье! Басы красивы, густы,
Как голос виолончели,
Но вдруг завыли, вдруг заревели!
Сдвинулся руль высоты,
Навстречу метнулась огромная высь,
Ноги явственно кверху выносит...
Губы, щеки да кончик носа
Не поспевают, оторвались.

Ветер, косой и какой-то пологий,
Горло перерезает, как нож.
Ты видишь небо. И в небе ноги.
Твои! Но ими не шевельнешь.
Первое чувство — рвануться вперед,
Не допустить, уравновесить.
Но вот уже льды восходят, как месяц.
Неумолим крутой оборот.
И вас подминает. Вас гнет дугой.
На вас навалились тысяча двести.

И вдруг все кончилось. Тишь да покой.
Вокруг все те же знакомые вещи.
Вы вновь господин своего костяка,
Ожили снова привычные связи.
Кончик носа, губа и щека
Водворяются восвояси.
Под вами крыла гофрированный тент,
Снизу пространство горит синевою.
Именно
в этот
самый
момент
Вы и находитесь вниз головою.
Сверху и вкось полушарием сивым,
По ямам и кряжам пургою пыля,
Как в телескопе, огромным массивом
Сверкает небесное тело — Земля!
На ней обитают воспоминанья,

Судьбы счастливцев и горемык.
Но летчик, в «петле» вися на биплане,
Небожителем стал на миг.
Он позабыл о друзьях, о милой,
О сáмом понятии высоты:
В нем прорастает с космической силой
Чувство падающей звезды.
Но нет, биплан на полном газу
Взмывает из мертвого круга —
И снова льды
                    скалят внизу
    Седые свои заструги,
И снова из космоса четко и метко
Включилась в режим обыденных дней
Самостоятельная планетка
С двумя обитателями на ней.

Теперь уже летчик ложится курсом
    На точку сто сорок пять.
Сейчас вполне ветровым укусам
    Можно противостоять.
Небо сереет. Льдины курят.
Великолепно идет аппарат,
Хотя неизбежный полярный иней
Уже побелил его алюминий.

Но штурман добра от полета не ждет!
(Его пессимизм вошел в анекдот.)
Море безлюдно, море безлюдно,
Близится дикая ночь,— а тут
Ни огонька, ни дымка, ни судна...
Как они здесь человечков найдут?
Если б летели, скажем, на птице,
Она бы сама заприметила их,
Сама бы сумела птаха спуститься
И сесть меж торосов ледяных.
А что авиация? К черту в болото!
Эка, подумаешь, торжество!
Пока
    самолет
            не родит
                        самолета,
Он не поверит в сложность его.
Вот уже кровлю волнистых крыл

Норд ледяными грибами покрыл!
Как старый сыч глядит на орла,
Штурман взглядом пронзает пилота:
Ведь искажается профиль крыла,
Летные принципы самолета!
Но штурман не может поймать его глаз —
Егор, как сердце, слушает газ.

Стрелка трепещет. Эмалевый щит
Смотрит цифрами катастрофы.
Мотор рокочет. Мотор рычит.
Воет мотор. Поднялся до рева.
Голые молнии, сбросив ножны,
Где-то в «сердечниках» бьются без счета.
До предела напряжены
    Органы самолета!
Но летчик жесток, не смягчается он —
И вот уже рев переходит в стон.

Так в Венгерской рапсодии Лист
Дает после forte двойное forte,
Когда же патетика, грохот и свист
Дойдут до небес, до разрыва аорты,—
«Еще одно forte!» — велит артист.

Какое у драмы этой развитие,
Даже штурману невдомек.
Но тут... но тут замечает водитель
    Чуть-чуть мористей дымок!
Правда, вокруг какие-то кочки
Таким же как будто паром курят,
Но ясно виден серый квадрат,
Зеленая капля и красные точки.
Это они!
            Туда!!
                    В темноте
Костры заносятся боком-боком.
Сигнал, окрашенный черным соком,
На снеге выложен буквой «Т».
А кочки уже поднялись до гор!
Машина спускается тихо и чинно.
Егор умиленно глядит на машину.
— Любимая...— шепчет машине Егор,
А та, едва заметно кивая,

Идет на глянцевый шлиф, как живая.
Лязгнули в воздухе элероны,
Но уж под крыльями не было сил,
И неуклюжей посадкой вороны
Летчик орлицу свою посадил.

Но разве дело в посадке спиралью?
С криком люди бегут на шлиф.
Радость душила. Дыханье спирало...
— Ура! Товарищи! Нас нашли!

Какая-то девушка подбежала
И лыжу набожно поцеловала.
Однако штурман, от холода сиз,
Без всякой лирики бросился вниз.
Летчик шепнул ему: — Ах ты, куцый!
Истинно мерзлик-зяблик...—
Взглянул на деваху, решил улыбнуться,
Но щеки с холоду крепче яблок,
И он только щелкнул, как на балах,
Пятками в меховых унтах.
— Егор Веденяев!
— Очень приятно!
Басаргина. (Константин, скорей
Открой консервы и чаю согрей!)
Прошу. Только, чур, обходите пятна —
Тут полынья... Ну, как полет?
А мы уж думали, не найдете:
Это Менашка, а это Котя.
Здесь осторожно, прошу на лед.

Из лагеря уже гремел салют.
Таща с собою лодку для разводий,
Хромали песенники. В первом взводе
Цепочка лыж. За нею всякий люд.
Вот шубка Ольги. Вот камлейка Зины.
При них уже рюкзаки да корзины...
Наташа забежала за сугроб.
Решила — ближе, да об кочку хлоп!
Опять бежит. Да как же не бежать ей!
Народ бежит по льдине, по реке,
Чтобы страны своей рукопожатье
Почувствовать в пилотовой руке.

Королев появился откуда-то справа.
Слонялся, видимо, ночь напролет.
Он ищет глазами: где Олисава?
Сейчас машина ее унесет.
Вокруг нее вся де́вичья стая.
Меж них почему-то и дядя Тит.
Она улетает. Сейчас улетает.
Полчаса — и всё. Улетит.
И вдруг почувствовал — стало тихо.
А гомон-то, гомон! Птичий базар!
Это Олеся глядит за шумихой
В его измученные глаза.
Она взглянула и замерла...
    За ней оглянулся Костя
И сразу увидел — серая мгла,
    А меж ними мостик.
Девичью муку мгновенно смыло:
Он любит ее... Он любит ее...
«Боже! Как он осунулся! Милый!
Как изменился! Сердце мое!»
Она побежала к нему сквозь толпу.
    А шум еще звонче, хлестче.
— Баллоны, Ляля!
                                        — Да, да! К столбу!
— А вещи куда? Куда вещи?

Олеся пробилась сквозь клики да зовы,
Олеся берет его за рукав.
— Прощайте? —
                                        Застенчиво поморгав,
Корнеич промолвил: — Будьте здоровы.

И все? Неужели не видит, не слышит,
Как девушка обмирающе дышит?
Сейчас бы сказать ей, любимой, родной,
О том, что томится по ней одной,
Что жил он, оказывается, бестолково,
И хоть случался в жизни привал,
Но никогда ничего такого
Не чувствовал, не переживал,
Даже не знал, что бывает такое,
И вдруг открылось под старость лет,
Что есть в этом что-то почти мировое,
Пред чем все прочее сходит на нет...

Сейчас бы сказать о весеннем гаме,
Что в сердце, в горле его, голове,
Что вся душа объята огнями,
Как Театральная площадь в Москве!
Сейчас бы...
Но он беспощадно молчит.
Что это? Мрачность? Робость?
Нет, он не смеет. Меж ними пропасть.
Юность ее прикрывает, как щит.
И он безмолвствует беспощадно.
А девушка... Девушка смотрит жадно,
И вдруг произносит не голос, а пар:
— А как мое имя?
— М? Олисава.
— Но это... большое.—
Сказал комиссар:
— На меньшее не имею права.

У Ляли скривился дрожащий рот.
Ну вот еще! Слезы вдобавок...
И все же она его воспоет.
Да! Воспоет и избавится нáвек.

— Эй, друзья! Начинайте прощаться!
— Дочь! До каких это пор?
— Ну что ж, до свиданья.
— Желаю счастья.
— Кто у вас первым летит, командор?
— Женщины. Вот они. У самолета.
— Позвольте, однако, а этот при чем?
— Тит, извини, мужчины потом.
— Так я и знал!
— Ты что?
— А вот то-то!
— Возьмите его,— сказал Королев.
Тит поглядел на него исподлобья.
Но Петька-Петух проворчал: — Еще ба!
Товарищу срочно нужно в Козлов!

— Возьмите его,— повторил комиссар.—
Надо помочь наиболее слабым.
Садись.
— Не сяду. Не так уж я стар,
Чтобы меня примеривать к бабам.

Но Петька юлит: — Не торгуйся, дед!
Ведь это ж тебе абсолютно задаром.—
А Тит свое: — Не так уж я сед.
Я уж вместях... тово... с комиссаром.

Все засмеялись, но дедушка Тит
На самолетину и не глядит.

— Женщин просят подняться в кабину.
Жанна Руссель!
                              Быстрее, быстрей!
— Зина! Где Зина́? Кто видел Зину?
— Она в самолете.
                                   — Вот так пострел!
— Наташа, Люба... Это четыре.
— Не позабудьте об Ире да Кире.
— Скорее целуйтесь! Некогда. Шесть!
Стеша! Нина! Где вы петляли?
— Девятая — Оля, десятая — Ляля.
Все?
      — Все.
                 — Контакт?
                                   — Есть! —
Подняли трап. Захлопнулась дверца,
Мужчин пропеллером занесло,
А девушки с замиранием сердца
Кинулись к окнам — дышать на стекло.

Седые крылья обступила ночь.
Над белой мутью черные наплывы
В пару валились гущей прихотливой
И, отекая, уползали прочь.
Но где твой прежний первобытный страх?
Куда девалось ощущенье драмы?
Как отчий дом, вдали темнеет стяг.
Ты знаешь тут все холмики, все ямы...

Кому из нас не дороги места,
Где душу нам природа окрылила,
Где ты над рифмой изводил чернила,
А вечером под щелканье клеста
У озера, влюбленного в осины,
По звонким жилам чуя колдовство,
Ждал появленья Нины или Зины,

Чтоб не сказать ей ровно ничего?
Кто был настолько скучен и жесток,
Чтоб, день и ночь скитаясь по уездам,
Не завернуть на родину проездом,
Не повидать один особнячок
С крылечком, да терраскою, да пихтой,
Не позвонить и, понижая тон,
Конфузливо не справиться о том,
Куда уехала семья таких-то?

Но в этом снежном мире ты навек
Лишаешься страны воспоминаний:
Вон та стануха, вылезшая вверх,
Тебя не встретит седенькою няней,
Вон тот ропак, столь памятный тебе,
Меняет крен, как этот сизый торос,
И «Фудзияма» с буквами «О. Б.»
Уже не даст прочесть себя еще раз.
Загадочна природа наших чувств:
Ты скоро будешь выпущен на волю,
А между тем грустишь. Седое поле
Уйдет без нас, и север станет пуст.

ГЛАВА 9

Последняя ночь

Последняя арктическая ночь.

Лагерь Басаргина переселился на аэродром, и в Лялиной палатке обосновались последние четыре человека, которых на рассвете должен будет снять последний самолет.

Командор сидит на безногом топчане под неутомимыми ходиками и, освещая ручным фонариком свои записки, делает торжественное сообщение о новой космогонической теории, которую он разработал здесь, на льдине.

Аудитория, поджав ноги, расположилась на оленьих мехах плечом к плечу, чтобы согреться, так как уголь на исходе и подбрасывать его в камелек надо с предельной скупостью. Этим занимается капитан Воронин.

— Теория Канта — Лапласа устарела! — говорит Басаргин. — По их гипотезе наш солнечный мир образовался из огромной вращающейся туманности, от которой под влиянием центробежной силы отрывались кольца, впоследствии конденсировавшиеся в планеты. Но если это так, *то как согласовать медленное вращение Солнца с огромным расстоянием планет от него?*

Капитан снова подбросил уголька, и багровые отсветы озарили темные лица комиссара и Жалейкина, который так и не согласился улететь раньше Корнея Корнеича. Крестьянин сосредоточенно глядит на губы докладчика, боясь упустить словечко. Он ничего не понимает из того, о чем говорит Басаргин, но на душе у него так светло и ясно, как бывало в прежние, далекие годы на пасху, после говения. Знакомство с Луной, а особливо огромные думы Петьки Гаевого о рае перевернули всю его философию. Он, пахарь, проживший сорок четыре года, уставясь лбом в землю, вдруг как бы споткнулся о камень, опрокинулся и увидел небо. И вот с ним опять говорят о небе, но теперь эта беседа уже не вызывала в нем потрясения. Он чувствовал себя причастным к науке. Небесная лазурь больше не была для него голубой тайной, за которой обитали загробные радости и страхи. Миф улетучился. Всем своим нутром Жалейкин чувствовал глубочайшее родство Земли, по которой он ходит, со всеми небесными телами, и хотя он утратил царствие небесное, но восхождение на ту вершину знания, где он сейчас стоял, наполнило его жутью и гордостью. Он глядит в рот Басаргину и, опуская все непонятное, ловит только то, что подтверждает это новое для него открытие, и там, где находит это подтверждение, радостно кивает головой.

— Теория Джинса, пытавшегося сменить гипотезу Канта — Лапласа, обходила это затруднение, полагая, будто материя, образовавшая планеты, была вырвана из Солнца притяжением пролетевшей поблизости звезды. Но в таком случае, — как это доказано математически, — температура вырванной материи была бы столь высока, что она не сконденсировалась бы в планеты, а должна была бы рассеяться в мировом пространстве. Таким образом, вопрос остался открытым. Но вот какая мысль занимает меня, когда я думаю об этой проблеме космогонии. Что такое падающие звезды? Ежегодно Землю осыпает астральная пыль, равняющаяся десяти тоннам вещества в сутки. Анализ этого вещества давно показал его родственность веществу Земли. С другой стороны, элементы, из которых состоит Земля, существенно отличаются от природы Солнца. Естествен вопрос: какой отсюда вывод?

Комиссар вглядывается в черты Андрона Иваныча и видит сквозь них Олисаву. «Это отец Ляли! — думает он.— Отец Ляли».

Странное, удивительное происходило с Королевым последнее время, неслыханное, о чем он никогда не читал в книгах. В самом деле: он влюбился в Олисаву так, как только может любить пожилой, но еще полный сил мужчина, не раз сходившийся с женщинами по сердечному влечению и никогда не подозревавший о существовании любви. Он считал любовь литературой. Но то могучее чувство, которое занялось в нем на пятидесятом году жизни, противоречило его превосходно откованным взглядам. Бездумный эгоизм влюбленности был ему чужд. Он понимал, что не может стать для девушки ее судьбой. Что же оставалось? Тешиться ею? «Соблазнить»? — как несколько старомодно говорил себе Королев. Вся девственная природа комиссарской души бурно негодовала против самих этих вопросов. Значит, уйти? Забыть? Да, уйти необходимо. Но забыть... А не забудешь — трагедия. И тут-то возникло странное, удивительное, неслыханное.

Человек живет не только тем, что можно залучить в руки и запереть в ящик. Нас тянет к океану с неутолимой жадностью, мы тоскуем о нем, мы рвемся к нему. Но ведь не только же для того, чтобы склеить шкатулку из цветных ракушек! Мы растворяемся глазами в океанской синеве, мы вдыхаем возбуждающие запахи водорослей, мы слышим звон голубой волны на золотистом побережье. И когда мы расстаемся с океаном, разве не живет он с нами дальше, разве не уносим мы его кругозор в своих зрачках, разве его краски и шорохи не входят с этих пор в наше ощущение мира?

Таким ощущением мира стала для Королева Олеся. Она осталась в нем синевой своих глаз, белым золотом кос. Ее хрустальный голос отзывался эхом на малейшую мысль его о ней. Воспоминание о ее походке заставляло его закрывать веки от сладкого ужаса.

В каждом культурном человеке живут гениальные симфонии, которые он когда-либо слышал, великие поэмы, которые читал, бессмертные полотна, которые довелось видеть. Мадонна Литта и тициановская Венера — не просто зрелище. Мы проносим их через всю жизнь, не подозревая о том, что их краски расплавились в нашей крови, что их образы, как фосфор, напитали клеточки нашего мозга. Что же сказать о *живой* девушке, которая сродни симфонии, поэме, статуе? И которая *любит* вас?

Королев разлучен с нею навсегда. Он упустил любовницу, может быть — жену, но приобрел образ. И это стало для него сокровищем. Королева не отвергли. Девушка пошла своей дорогой только потому, что путь Королева был для нее закрыт самим Королевым. Поэтому Королев не мог испытывать трагедии. Любовь к Олесе угнездилась в его груди навеки, но рядом со своим чувством он ощущал любовь Олеси к нему. Эти два луча дали скрещение в одной точке, которая зажглась, как звезда, глубоким и тихим светом. Утратив наслаждение, он поднялся до счастья. Он был наполнен стихией Олисавы. А боль? Тоска? Все это осталось, но не могло изуродовать огромного, нового для него переживания, как потрескиванье и хрипотца репродуктора не в силах изменить песню.

А командор продолжал свое:

— Какой же отсюда вывод? А вот какой! Земля не является дочерью Солнца, как думали ученые до сих пор, но она, несомненно, сестра падающей на нее звездной пыли. Следовательно, происхождение Земли и метеоритов иное, нежели происхождение Солнца.

Профессор объявил об этом миру в лице трех своих слушателей так громогласно, что комиссар очнулся и заставил себя слушать его со всем вниманием первого ученика.

Но теперь уже капитан загляделся на командора. Да, это, несомненно, человек великий! В начале плаванья Воронин, правду сказать, недооценивал Басаргина. Маленький, лобастый крепыш с дворянским носом и поморской походкой, Басаргин казался ему слишком легкомысленным. К тому же Андрон Иваныч в течение всего пути ни разу не вмешался в кораблевождение, до чего так падки все начальники экспедиций и что всегда раздражает капитанов, и хотя Воронин должен был оценить тактичность Басаргина, он все же видел в этом слабость его как командора. Но вот Басаргин угадал сложнейшие причины арктического дрейфа, сведя их к простому существованию острова, он предсказал местонахождение этого острова, он, наконец, открыл этот остров! Казалось бы, командор должен возвыситься в сознании капитана, и он действительно на какое-то время вырос в его глазах. Но тут — гибель корабля, сошествие на льдину и, как казалось Воронину, позорное ожидание выручки от Большой земли. И это вместо того, чтобы идти на берег, сэкономить государственные средства, покрыть неувядаемой славой весь экипаж, сделать его равным сподвижникам Седова и, таким образом, причислить всех к лику выдающихся героев Арктики. От всего этого Басаргин отказался! Причем отказался не только за себя, но и за весь экипаж. Какое он имел право? Не легкомыслие ли это? Безусловно! Это понятно каждому. Ведь задания-то правительства Басаргин не выполнил! *«Остров Грумант»* до Берингова не дошел! Стало быть, начальство не может быть им довольно. Стало быть, в следующей экспедиции ему руководства не дадут. И Басаргин это знает, конечно. Так ка́к же он не хочет понять того, что такое разочарование в нем может быть перекрыто только мировой славой, а славу эту ему доставил бы только ледовый поход на берег? Легкомыслие! Бесспорное легкомыслие! Но вот Басаргин очутился на льдине. Никакой трагедии он от этого не переживает, никакого угрызения не чувствует, хотя за все ответствен только он один. Все заботы о своем спасении командор переложил на плечи правительства, а сам, как мальчишка, увлекся метеоритами, которых здесь, у полюса, почему-то особенно много. Легкомыслие? Опять легкомыслие? И вдруг оказывается, что это мальчишество привело Басаргина к открытию какой-то новой теории. То, что для капитана было катастрофой, для командора обернулось великим творчеством. Может быть, Басаргин станет сейчас гордостью советской науки? Да... Вот у кого нужно учиться жить! Но ведь и то сказать — надо иметь его дарования. Загубив корабль, посадивши все его население на льдину, отдав свою славу другим, Басаргин ничуть не впал в ничтожество: гений его проявил себя и здесь.

— Что мы знаем о Галактике? — вопрошает он Тита, глядя на него влюбленными глазами. И так как Тит, повидимому, не собирается удовлетворить его любопытство, Басаргин отвечает на свой вопрос сам.— Галактика, по крайней мере в центре своем,— это огромные облака метеоритной материи. Орбита Солнца несколько наклонена к галактической плоскости, и потому она пересекает ее в своем движении дважды в течение двухсот миллионов лет. Теперь слушайте мою догадку! — обращается он уже исключительно к Корнею Корнеичу.— Почему не предположить, что в один прекрасный миг, при благоприятных астрофизических условиях, полет Солнца увлек за собой вихрь каких-то облаков и наше светило, продолжая свой путь, потянуло за собою целый рой звездной пыли? Совсем как у блоковской Незнакомки: «Шлейф, забрызганный звездáми».

Басаргин улыбнулся, но никто улыбки не поддержал: Тит — потому, что не знал никакого такого Блока, Воронин — потому, что счел цитату неуместной, Королев — потому, что был весь поглощен новизной басаргинской догадки. Андрон Иваныч по-детски нахмурился неудаче и продолжал дальше:

— Под влиянием силы притяжения Солнца ближайшие к нему метеориты падали в его огненное золото и расплавлялись в нем. Поэтому вокруг Солнца образовалась пустота. Но там, где удары лучей ослабевали, то есть на самых отдаленных расстояниях, шла своя жизнь: более крупные метеориты притягивали к себе более мелкие, склеивались с ними, сплавлялись и образовывали планеты. Что это именно так, подтверждается размерами самих планет по сравнению с их расстоянием от Солнца: ближайшие к нему планеты не велики (Меркурий, Венера, Земля, Марс), но чем дальше, тем они массивнее (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун).

Комиссар

У меня вопрос: чем же объяснить в таком случае малые размеры Плутона? Ведь это самая отдаленная планета.

Командор

Вопрос уместный. Думается, однако, что здесь играет роль юношеский возраст Плутона: на внешних частях роя, где и вообще-то плотность метеоритов меньше, самый процесс их склеивания еще не завершен.

Комиссар глядел на командора. Из всех трех слушателей он единственный понимал существо проблемы. Но и он воспаленно думал о своем. Теория Басаргина, несомненно, открытие! Может быть, ученые найдут в ней неточности, ошибки в частностях, больше увлечения, чем обоснованности,— не беда! Теория эта дает совершенно новый и безусловно научный взгляд на происхождение солнечной системы. Это огромный толчок для дальнейшего движения астрономической мысли. Ведь отсюда вытекает целый ряд выводов. Ну, хотя бы совершенно заново решается вопрос о термической истории Земли. Теперь уже нельзя будет говорить, что существование нашей планеты началось с огненно-жидкой стадии. Если Земля действительно сращение метеоритов, то она могла быть сначала более или менее холодной и только впоследствии, когда тепло, выделяемое при радиоактивном распаде атомов, начало уходить в недра образующегося тела, только тогда внутри Земли и могло возникнуть огненное ядро. Нужно будет сказать об этом Андрону Иванычу после его доклада. Как знать? Может быть, эта сторона дела не приходила ему в голову. Да! Все это необычайно! Неслыханно! Все это опрокидывает научные истины, казавшиеся до сих пор незыблемыми. С неосторожностью подлинного открывателя Андрон Иваныч вламывается в астрономию и устанавливает в ней свои порядки, мало заботясь о том, какую бурю негодования вызовет его теория в консервативнейшей среде академиков мира. Но Басаргин не испугался этого. И дело в конце концов не в этом. Черт с ними, с академиками,— Басаргин не испугался истины! Всякая новая истина страшна. Встреча с истиной — это встреча с тигром. И Басаргин пошел на тигра один на один! А вот он, Королев, своего-то тигра испугался. Он тоже наткнулся на неслыханное. Он стал осмысливать проблему личного бессмертия, но... ухватив кусочек правды, тут же сжег ее на свече, ибо она не соответствовала заученным цитатам. Так кто же из нас подлинный марксист: этот ли беспартийный, который мыслит широко и беззаботно, идя за своей логикой до конца, или я, коммунист, оробевший перед мощной работой своего мозга?

Эта мысль так взволновала его, что он встал и в два шага очутился на улице. Здесь его встретили планеты и голубые перья, предвещавшие северное сияние, отчего льды стали зеленоватыми, а тени от них фиолетовыми. Королев поднял к небесам бледное лицо, и ему казалось, будто оно отражает звезды. От этого странного космического ощущения он почему-то начал успокаиваться.

А Жалейкин продолжал блаженно улыбаться. Он уже не думал о небе, забыл и о бычке. Жалейкин размышлял теперь о том, что вот, мол, он, простой мужичок с ноготок, даже не колхозник, сидит среди самых ученых людей на свете и слушает, как ровня, большого профессора, который раз за разом обращается к нему. И это право сидеть и слушать про самые агромадные вещи в мире дороже для него всех сокровищ. А право это дала ему новая жизнь, которая вся для него нынче в Королеве. Это он, Королев, приказал девушке Олисаве обучить его грамоте, это он повелел Петьке-матросу показать ему Луну, как она есть в науке, это он пожелал, чтобы Тит улетел первым. Но куда главнее то, что Королев чисто все может понимать в другом человеке, все для-ради него сделает, и ежели ангелам в нашем государстве отныне вроде отказано — не беда: есть человек Королев! У Жалейкина стало вдруг тепло под ложечкой. Он почувствовал такую преданность к этому бородачу, ему так жарко захотелось чем-нибудь отблагодарить Королева, услужить, пользу какую принесть, что он решил подарить ему самое драгоценное. А такая драгоценность у него есть — это Жанна. Он узнал ее. Узнал, но помалкивал. К чему торопиться? Подождем! Где-то в глубине души он рассчитывал продать эту новость подороже, как когда-то намеревался продать мед. Но теперь? О, теперь дело другое! Жалейкин вскочил с места, согнулся в три погибели и, боясь передумать, мелко-мелко, по-петушиному понесся через палатку на улицу. Здесь он сразу же увидел комиссара.

Арктика... Королева послали в Арктику после боя с Зыкиным, и ничего патетического он к ней не чувствовал. Он шел во льды, как идут в Главлед. Но льды не только не заморозили его души,— напротив, они открыли ему любовь. Они воскресили в нем человека! Он будет мыслить теперь по-новому, чувствовать, действовать — будь что будет, но по-новому! Оказывается, сам того не замечая, он стал жить и думать не так, как ему бы хотелось, а как хотелось этого другим. Он словно дышал чужими легкими. Он будто сдал свою духовную жизнь под расписку, передоверив всего себя силам, которые забыли о нем, а расписка-то затерялась! Но отныне все пойдет иначе. Королев засмеялся тихим, задушевным, воркующим, таким забытым смехом. И вдруг зашептал стишки, которые когда-то попали к нему в рукописном издании, которые он жадно запомнил по секрету от себя самого и которые тогда же попытался забыть:

Бывает такое: живет человек
Не у себя, а все по соседям,
Рыщет, нюхает: тот ли век?
Так ли идем? Туда ли заедем?
Цитатоглотатель! Шпаргалок не ешь,
Не ходи колесом у архивных писем:
Полное
собрание
наших
надежд —
Это и есть коммунизм!

— Корнеич, а Корнеич!
— Тсс... Тихо!
— Слышь! Чего скажу-то...
— Потом, потом!

— Да нет, уж сейчас! Жанна эта самая, американка...

— Ну.

— Марь Иванна оказалась!

— Какая Марь Иванна?

— Ну, какие бывают! Сельцо наше — Заречное, что на Оке, Тульской губернии, а ихнее именьице по суседству. Машенька эта, красавица, дочка Ивана Димитрича, царство ему небесное, а он в предводителях, уездных то ись предводитель.

— Глупости! В ней ничего русского.

— Это как же ничего? А папаня ихний? Иван-то Димитрич? Э, нет! Хоть на духу скажу — она!

— Ладно, обдумаю. Все может быть. А ты ступай в палатку. Ступай, говорю,— простудишься.

Жалейкин удивился, постоял еще малость и, вконец расстроившись, пробормотал:

— А коли не она, так больно похожа. Это те что?

А Королев остался под звездами, бледный, огромный, и слушал себя, упоенно слушал...

Последняя арктическая ночь.

POST SCRIPTUM

Итак, мой труд окончен. Долгий труд.
И все-таки — как трудно с ним расстаться!
Здесь не альбом холодных регистраций,
Тут вся душа, все мысли мои тут.

Так что ж еще сказать вам на прощанье?
Что вот мой дым, и ундервуд, и клей,
Что грустно мне оставить на причале
Три яруса поэмищи моей,

И, обломив сто первое перо,
Которым я писал сию махину,
Звонить по телефону в Прессбюро,
И ждать газет с невозмутимой миной?

И может быть, тот критик-людоед,
Что с Пушкиным еще вошел в бессмертье,
Уже хранит гадючинку в конверте,
Как это водится с древнейших лет...

Все это так. Но вот чего не скрою,—
И здесь сказались *наши* времена! —
Я созидал героев, но герои,
Воинствуя, творили и меня.

Я с каждым человеком восходил
Все выше по путям его сознанья
И вместе с ним как будто возводил
Социализма солнечное зданье.

1934—1956

ПРИМЕЧАНИЯ

Поездки И. Сельвинского по Советскому Союзу, знакомство с его дальними окраинами и особенно участие в походе ледокола «Челюскин» (1933 г.) пробудили у поэта интерес к теме Севера, где в сложнейших условиях выкристаллизовывались героические духовные качества человека социалистического общества.

В данном томе печатаются произведения, объединенные этой темой.

«Путешествие по Камчатке» (стр. 5).— Поэтический путевой очерк, написанный Сельвинским в конце 1932 г. Вступление и первая глава его были опубликованы в журн. «Прожектор» №№ 7—8 за 1933 г. Целиком очерк напечатан в том же году в журн. «Красная новь» № 5, затем в сб. «Тихоокеанские стихи». С некоторыми изменениями в «Лирике», 1934, и «Лирике», 1937.

В начале 30-х годов, после самоликвидации Литературного центра конструктивистов, поэт, стремясь к более тесному участию в социалистическом строительстве, полтора года работал сварщиком на Московском электрозаводе и за это время создал поэму «Электрозаводская газета». Затем он совершает поездку по Дальнему Востоку, которая дала ему большой разнообразный материал, воплотившийся в «Тихоокеанские стихи», пьесу «Умка Белый Медведь», очерк «Путешествие по Камчатке» и другие произведения.

В «Путешествии по Камчатке» поэт открывает для себя и тем самым для читателя еще один самобытный очаг социализма на самом краю нашей страны. Изображенный в очерке географический пейзаж Камчатского края, тогда еще мало обжитого и освоенного, сегодня стал уже далеким прошлым. Но очерк ценен тем, что он сохранил для сегодняшних читателей лирическую «кинопанораму», где наглядная география сочетается с социально-экономическим и психологическим отражением бытия Камчатки 30-х годов. В поэтическом и бытовом общении с тружениками края автор стремится выявить самые сокровенные идейно-политические и нравственные основы их жизни.

Каждая новая встреча с камчадалами убеждает поэта в том, что Камчатка требует самого широкого развертывания культурного строительства. Для этого есть и силы, и средства, и комсомольский задор созидателей. Они заслужили, чтобы «...рабочий класс Камчатки не был «Камчаткой» в рабочем классе».

Печатается по тексту, подготовленному автором для нового издания.

«Умка Белый Медведь» (стр. 23).— Драматическая поэма, являющаяся знаменательной вехой в творческом развитии поэта и драматургии Сельвинского.

Впервые пьеса была опубликована в журн. «Октябрь» за 1934 г. №№ 7, 8, отдельной книгой издана Гослитиздатом в Москве в 1935 г. Через год в значительно переработанном виде с подзаголовком «Трагедия, театральный вариант» вышла в издательстве «Искусство».

Следующее измененное издание с подзаголовком «Драматическая поэма» осуществлено в «Искусстве» в 1959 г. и там же переиздано спустя шесть лет в книге Сельвинского «Театр поэта».

На вопрос, о чем пьеса, поэт отвечал: «Я определил бы ее тему как советизацию Чукотки». Но сказать так — значит дать предмету самое примитивное определение... Тема «Умки Белого Медведя» — это общая всем нам тема о социализме, о том, как люди из «ничего» переходят в «нечто», как видоизменяется атомное строение нашей страны под дыханием революции... Тема эта, конечно, неисчерпаема» [1].

Идея пьесы возникла у Сельвинского в 1932 г., когда поэт был в длительной командировке на Камчатке. «Чукчами я интересовался с детства,— писал он в статье «Биография одной пьесы».— В то время как мои сверстники бредили индейцами и, воткнув в волосы куриные перья, швыряли друг в друга «томагавками», я воображал себя звероловом Арктики и играл только в охоту» [2].

Еще никогда в жизни не видя чукчей, поэт много знал о них по книгам специалистов-этнографов (напр., Тана Богараза) и по рассказам бывавших на Чукотке североморцев, с которыми он встречался. На Камчатке давний интерес к чукчам вспыхнул с новой силой, и Сельвинский начал работу над «Умкой». Пьеса была закончена в 1933 г. на борту ледокола «Челюскин», в знаменитой экспедиции которого поэт участвовал в качестве специального корреспондента «Правды».

---

[1] И. Сельвинский, В мире необычных персонажей.— «Театр и драматургия», 1935, № 10.

[2] Цит. по подлиннику статьи, хранящемуся в архиве поэта.

Сельвинский прочел ее группе челюскинцев, среди которых были: Шмидт, Кренкель, Трояновский и другие. Непосредственному знакомству поэта с чукчами помог и случай, происшедший на «Челюскине». Когда ледокол вмерз в льдину и застрял у необитаемого острова Колючин, к челюскинцам на нескольких собачьих упряжках приехали в гости чукчи. На следующий день, по словам поэта, «О. Ю. Шмидт отправил на Уэлен разведку из восьми человек. В эту разведку был включен и я. Восемь русских и четверо чукчей, мы двинулись в путь на собаках и, пройдя 100 километров по льдам океана и 300 по замерзшей тундре, через 11 дней поднялись на мыс Дежнева. В течение всего этого пути, от Колючинской губы до бухты Лаврентия, не было ни одной яранги, где бы я не побывал, ни одной чукотской семьи, с которой бы я не познакомился. По сути дела, это была проверка жизнью образов моей поэмы» [1].

При некоторых разноречиях пьеса получила весьма широкий положительный отклик в печати. А. Сурков, выступая на поэтическом пленуме правления Союза писателей СССР в Минске (1936 г.), сказал: «Умка Белый Медведь» представляет собой «выход» на новый этап творчества поэта и одно из крупнейших явлений советской поэзии последних лет». «Размах пьесы — эволюция человека от каменного века к социализму — блестящ. Язык сочен и смел, стих упруг»,— писал Вс. Вишневский. А О. Ю. Шмидт в отзыве о спектакле отметил: «Изумительные по мастерству и силе стихи».

Первая постановка пьесы была осуществлена в Московском театре революции в 1935 г., где она прошла свыше ста раз с неизменным успехом, которому способствовала превосходная игра народного артиста РСФСР Д. Н. Орлова, исполнителя роли Умки, создавшего незабываемый образ человека, который, по выражению А. М. Горького, «с четверенек становится на две ноги».

В 1935—1936 гг. пьеса шла также в Красном театре в Ленинграде. Важную роль в раскрытии замысла пьесы, в ее тональности и поэтическом звучании имеет вступление, представляющее законченную лиро-эпическую балладу о судьбе малой, отсталой народности, поднятой Советской властью к вершинам свободы и социализма.

На генеральной репетиции и первых спектаклях в Москве вступление вдохновенно и взволнованно читал сам Сельвинский.

За три последних десятилетия, насыщенных эпохальными событиями и переменами в жизни советского общества, поэт создал немало новых произведений, стремясь максимально приблизиться в них к идеальному образу героя, олицетворяющего революционный народ. Переосмысливая и переоценивая созданное им ранее, Сельвинский сам почувствовал недостаточную масштабность образа Кавалеридзе.

---

[1] «Литературный Ленинград», 14 февраля 1936 г.

«Большевик Арсен Кавалеридзе из драмы «Умка Белый Медведь» (1933),— писал он,— подходил к моему идеалу гораздо ближе (нежели образы коммунистов в предшествующих произведениях.— *О. Р.*), но и он не решал проблемы: волевой и вместе душевный, мудрый и в то же время наивный, он вполне приемлем в прозе, но для поэзии ему не хватало масштаба» [1].

Осознанные им недостатки пьесы поэт в какой-то мере попытался исправить в последующих ее изданиях.

Так, в варианте 1936 г. значительно сокращено число действующих лиц. Отсутствует председатель Главпушнины Мэк, его помощники Саввич и Блакитный, председатель американской акционерной компании Шервуд, его секретарь Эмилия Вайскопф и сын Остин.

Первоначальный идейно-художественный замысел, основные драматические конфликты в известной мере усилены за счет отказа от отдельных, перегружавших сюжет сцен и эпизодов.

Вместо первоначальных пяти актов и десяти картин осталось четыре акта и восемь картин. Целиком снята сцена в московском ресторане (третья картина второго акта), в которой происходит совершенно необязательная для основного конфликта встреча руководителей Главпушнины с Шервудом. В последней картине сделаны небольшие сокращения, внесены изменения в текст «Сибирской песни».

В конце пьесы снята придуманная поэтом заметка из газеты о вывозе Кавалеридзе на Большую землю.

Автор опустил авантюрно-детективные и мелодраматические коллизии, подчиняя все развитие действия пьесы основному замыслу, связанному с советизацией Чукотки, с пробуждением в ее тружениках чувства свободы и человеческого достоинства.

Значительную эволюцию претерпел образ Ольги Боковой. В вариантах 1935 и 1936 гг. она тайный американский агент, выдающая себя за представителя райкома партии.

В варианте 1959 г. Бокова — врач, полюбившая Кавалеридзе и из ревности толкнувшая его на тум-гетум. Ее поведение, психологический и этический облик раскрыты Кавалеридзе. В этом издании, естественно, исчез персонаж «доктор» и эпизод встречи Боковой с Блэком. Сделаны некоторые сокращения и композиционные изменения. Благодаря ряду точных деталей существенное различие получил образ Кавалеридзе. (Напр., сцена его спора с Пешкиным о характере классовой борьбы на Чукотке, о ее особенностях в условиях родового быта.) Добавлен монолог Каменвата о новой жизни на Чукотке. Несколькими новыми выразительными деталями обогащены образы Нины, Маляши, старого большевика, члена обкома партии Мещерского.

---

[1] И. Сельвинский, Черты моей жизни.— Сб. «Советские писатели», т. 2, Гослитиздат, М. 1959, стр. 387.

Издание 1965 г. отличается от редакции 1959 г. лишь незначительными разночтениями.

В последних вариантах поэт умерил налет бытовизма и избавил тексты пьесы от натуралистической образности. Все это усилило не только исторический смысл драматической поэмы, но и потенциал ее современного звучания.

Печатается по тексту сб. «Театр поэта», с небольшими авторскими поправками.

«Арктика» (стр. 165).— Роман-эпопея, написанная стихами и прозой, имеет сложную творческую историю. Об этом свидетельствует и двойная дата, поставленная автором в конце романа: 1934—1956. Роману предшествовала поэтическая эпопея Сельвинского «Челюскиниана». Замысел ее зародился у поэта во время знаменитого похода ледокола «Челюскин». Спустя три года эпопея была завершена и небольшие отрывки из нее были напечатаны в «Литературной газете» от 11 ноября 1936 г.

Первую ее часть опубликовал журн. «Новый мир», 1937, № 1, отрывки из второй части были напечатаны в журн. «Октябрь», 1938, № 9. Часть третья напечатана в «Новом мире» № 5 за 1938 г. Целиком отдельным изданием «Челюскиниана» так и не увидела свет.

В челюскинском походе поэт наглядно ощутил проявление социалистического коллективного героизма и на этом материале решил осветить пути, по которым приходят к социалистической сознательности и самоотверженности самые различные люди. Показать, как в причудливых столкновениях и противоречиях их личные стремления и склонности переплетаются с общими задачами и целями эпохи.

Каждого из персонажей «Челюскинианы» привела в Арктику своя особая причина. В героическом походе, на ледоколе, все вместе они становятся монолитной частью советского народа, строящего социализм.

Самый процесс создания коллектива со всеми его сложностями и столкновениями стал основой сюжета эпопеи, ее идейной осью. Почти каждый из героев эпопеи имел прототип, часть из них была названа именами очень близкими к именам этих прототипов. В центре «Челюскинианы» находилась фигура подлинного начальника экспедиции академика О. Ю. Шмидта.

Острые споры критиков вызвал образ студента Малиновского, которому свойственны были черты интеллигентского эгоизма и своеволия.

Полемика вокруг «Челюскинианы» по тем или иным мотивам тянулась до начала Великой Отечественной войны, которая надолго отвлекла мысли поэта от эпопеи.

Когда спустя двадцать лет, в середине 50-х годов, Сельвинский вернулся к теме «Арктики», его уже не удовлетворял прежний ее замысел. В новых условиях документальная основа эпопеи — поход «Челюскина» — явилась отнюдь не самым существенным в раскрытии главной идеи, изменившей масштабы и очертания.

Идейно-этической основой романа «Арктика» стал пафос социалистического гуманизма. Он сильнее зазвучал в суждениях и действиях героев и в лирических отступлениях поэта.

В «Арктике» сохранились черты родственности с «Челюскинианой». Однако герои ее уже не имеют реальных прототипов. Иным стал комиссар ледокола Королев, чей внутренний облик, направление мыслей и поступков кардинально отличают его от комиссара «Челюскинианы». Студента Малиновского заменил студент Кохановский, при всем сходстве с первым отнюдь не его двойник. Возник совершенно новый, играющий важную роль в сюжете, образ Олисавы — корреспондента «Комсомольской правды» на борту ледокола — и ряд других новых фигур. Образ начальника экспедиции, который назван вымышленным именем, хоть в чем-то и сродни О. Ю. Шмидту, но и биографически и интеллектуально весьма отличен от него.

Даже корабль, на котором развивается действие романа, носит теперь название «Остров Грумант».

Жизнь наша и люди представлялись автору «Арктики» куда более сложными, нежели их иной раз изображали в литературе 50-х годов, поэтому эпиграфом к роману могли бы послужить такие строки из него:

Нет ничего сложнее на земле
«Советского простого человека».

Стремление раскрыть всю глубину, прозорливость, необычность и негладкость живых чувств, мечтаний и раздумий творцов коммунизма — такова душа романа «Арктика».

Печатается по тексту т. I «Избранных произведений в двух томах», 1960.

Список иллюстраций

1. Илья Сельвинский. 1933 г. Москва.
2. Высадка на необитаемый остров Уединение в Ледовитом океане во время похода ледокола «Челюскин». 1933 г.
3. Илья Сельвинский после возвращения из экспедиции на «Челюскине». 1934 г. Киев.
4. Илья Сельвинский. 1967 г. Переделкино,

СОДЕРЖАНИЕ

Путешествие по Камчатке 5
Умка Белый Медведь 23
Арктика 165
Примечания 407
Список иллюстраций 415

Илья Львович Сельвинский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

Редактор *З. Кондратьева.* Художественный редактор *Ю. Боярский*
Технический редактор *В. Савкевич.* Корректоры *Г. Асланянц* и *Н. Гористова*

Сдано в набор 2/III 1972 г. Подписано к печати 13/XII 1972 г. А05932.
Бумага тип. № 1. Формат $84\times108^1/_{32}$. 13 печ. л. 21,84 усл. печ. л.
28,25+1 накид.=20,45 уч.-изд. л. Заказ № 429. Тираж 50 000 экз.
Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии
№ 2 им. Евгении Соколовой «Союзполиграфпрома» при Государственном
комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29,
с матриц ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой
типографии им. А. А. Жданова «Союзполиграфпрома» при Государственном
комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли, Москва, М-54, Валовая, 28

1р. 20к.